НЁМАН

11/2018
НОЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 14.11.2018. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,57. Тираж 1162. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Глеб ГОНЧАРОВ



*Под звездой Хабар**

Повесть

XIV

Пармен Федотович ворочался на скомканной постели, проклиная свое необузданное вакхическое чревоугодие, от которого все его внутренностное устройство в контрадикцию резонансную произвелось, через что претерпевал он муки нравственные с самого младенчества; с того самого дня, когда перед выпускным экзаменом по русской истории, поддавшись на уговоры однокашника, достославного Битюгова, выхлобыстал с ним для храбрости по гарнецу венгерского вина. Однокашник-то здоровенный детина был, пятнадцати вершков росту, и ему тот гарнец во благорастворение для куражу пошел, а пухленький Пармоша, доселе не приятельствовавший с Дионисом, изрыгнул содержимое ливера на директорский стол и, процитировав из «Повести временных лет» «Веселие Руси питие есть», впал в никчемность.

Посему именитый гражданин Федот Сысоевич Кувшинников разорился на шесть возов овса для директорских рысаков, дабы замять сыновнюю конфузию. Выпоротый тятенькой Пармоша все же получил аттестат об окончании народного училища под условием исчезнуть из Твери с глаз долой.

Благодаря тщаниям родителя своего ему удалось прижиться в Санкт-Петербурге, пристроиться на службу в Правительствующий Сенат и получить вскорости вожделенный чин коллежского регистратора, который сенатские остряки за глаза называли «чин не бей меня в рыло».

Однако на дружеской пирушке по этому случаю Пармен Федотович умудрился именно получить в рыло, когда подрядил трех извозчиков катать его с ветерком по городу. После того как ямщики целую ночь возили его туда-сюда от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры и обратно, новоиспеченный регистратор наотрез отказался платить по причине природной бережливости и живости характера. Посему извозчики бляха № 33, бляха № 78 и бляха № 212 изрядно осквернили достоинство чиновничьего сословия, осветив его благородное забрало праздничной иллюминацией наподобие Невского проспекта на Рождество.

И в дальнейшем подобная оргия повторялась всякий раз, когда Кувшинникова производили в следующий чин. На сенатского регистратора к освещению должностного пьяномордия был привлечен бляха № 16 с чугунными кулаками. На губернского секретаря — половые чухонского трактира, что на Петергофском тракте. От них Пармен Федотович крайне неуважительно требовал

---

* Окончание. Начало в № 10 за 2018 г.

английской горчицы к ростбифу. Английской горчицы трактир обеспечить не мог, предлагая вместо нее патриотическую, сарептскую, в коей и был измазан ради величия России.

Производство в чин коллежского секретаря было ознаменовано тем, что Пармен Федотович заказал для всей коллегии крюшону на сто рублей. Истощив все свои запасы, ресторатор Буджардини из Неаполя смог приготовить только на тридцать. Тогда Пармен Федотович по совету злостного Битюгова, дабы не ударить в грязь лицом, добавил в крюшон на семьдесят рублей медных монет. Медных, потому что золотых и серебряных не было.

Вся коллегия во главе с начальником департамента выжрала крюшон и благополучно схватила медное отравление. Почти неделю адъюнкт военно-медицинской академии Длужневский устраивал всем промывание желудка. Когда товарищи выздоровели, Кувшинникову в сенатской раздевалке была устроена темная под шинелями. Он еще с неделю провалялся в постели, поскрипывая всеми боками, и крепко сдружился с Длужневским. Обсуждая крюшонную историю, Длужневский вскользь заметил, что на его родине, в Польше, медь именуется «спиж», и, мол, ни в коем случае нельзя класть в еду спижаные монеты. Кувшинников обиделся и ударился в амуницию, потому что монеты были не спижаные, а самые что ни на есть наследственные, от тятеньки.

Итогом стало сотрясение мозга и окончательный разрыв с подлыми ляхами, за которыми числился должок еще со Смутного времени.

Когда пришло время обмывать титулярного советника, весь Правительствующий Сенат и до кучи Священный Синод шарахались от Пармена Федотовича, как мышь от веника, и Кувшинников долго бродил по пустым коридорам, словно призрак жены Синей Бороды. Отчаявшись найти собутыльников, он от тоски душевной организовал с привратниками в дворницкой каморке изготовление жженки и невзначай обратил в пепел высокопревосходительский гардероб с собольей шубой обер-прокурора стоимостью в половину Нерчинского острога.

И вот теперь, когда он выслужил срок для коллежского асессора, его на повороте обошел все тот же неугомонный Битюгов.

Кувшинников свирепо сплюнул от отвратных воспоминаний щавелевой слюной, напоминавшей зеленую тину, и с тоски решил потешить душу светлыми чувствами.

«Почитать, что ли?» — подумалось ему, потому что при всех своих вывертах был Пармен Федотович душой сентиментален и ангелоподобен, любил сильные страсти и верил в чистую любовь до гроба.

Он восстал из своей берлоги, зажег свечи и отомкнул походный саквояж. Зело нравились господину титулярному советнику нравоучительные романы. В дорогу прихватил он с собой «Прекрасную Татьяну» господина Каменева, «Несчастную Маргариту» его же, «Обманутую Генриетту» господина Свечинского, «Бедную Лизу» господина Карамзина, «Бедную Машу» господина Измайлова, «Бедную Марью» господина Милонова, «Бедную Марью» снова же господина Каменева и «Марьину рощу» господина Жуковского.

Перебрав книги одну за другой, Пармен Федотович остановился на «Марьиной роще». Но только он приготовился воспарить душой в самые глубины любовных грез, как в открытое окно, привлеченный огоньком свечи, влетел огромный, словно нетопырь, бражник, и сослепу ударился о лицо Кувшинникова, полоснув по нему тряпичными крыльями.

Пармена Федотовича передернуло от отвращения. Он панически смахнул бабочку на пол, ощущая на коже прикосновение царапающих ножек, и со всего маху прихлопнул ее самой тяжелой книгой.

Чувствуя в горле перхотливый комок, Кувшинников задул свечу, задернул тюлевую занавеску и снова повалился на кровать. Постепенно дрожь унялась. Спать не хотелось, пан Станислав куда-то уволокся, читать не было никакой возможности, чтобы снова не подвергнуться нападению летающих упырей, и Пармен Федотович, захлебываясь скукой, следил за прихотливой тенью от кружевной занавески, которая таинственно, как паутина, ползла по половицам и шевелилась от мягких прикосновений ветерка.

Внезапно под окном раздалось чье-то несмелое покашливание. Кувшинников не успел ни испугаться, ни возмутиться, как раздался приглушенный шепот:

— Господин советник, вы спите?

— Кто здесь? — подскочил Кувшинников к окну.

— Это я, пан советник, Гурарий.

— Какой еще Гурарий?

— Травник Гурарий, что вчера вам горло лечил...

— А-а-а! И что ты хочешь, Гурарий?

— Зашел спросить, как здоровьечко ваше. Не надо ли чего?

— Нет, не надо. Держусь, Гурарий. Побаливает немного горло, но, думаю, завтра буду в отменном настроении.

Гурарий, лица которого не было видно в тени, потоптался смущенно и, заикаясь, спросил:

— Господин советник, не окажете ли любезность?

— Любезность? Ну, говори, какую любезность. Если смогу, отчего не оказать.

— Господин советник, вот на коленях перед вами стою, чем хотите поклянусь: дочкой своей, всеми сыновьями сразу и каждым в отдельности, — но не смогу я указ Государя Императора выполнить.

— Что ты имеешь в виду? — грозно нахмурился Кувшинников.

— Нет у меня денег на приличную фамилию.

— Я же тебе вчера целый гривенник пожаловал! Или мало тебе?

Гурарий еще сильнее потупился и выдохнул обреченно:

— Мало…

— Однако ты наглец. И сколько же ты хочешь за жизнь титулярного советника?

— Ваше благородие, да не нужно мне никаких денег. Я сам готов приплатить, чтобы к вам никакая болячка не прицепилась. Об одной милости прошу: хоть Портянкой назовите, хоть Горшком, хоть Нищим, но только не Фаулебером и не Штинкенванцем! Мне ж тогда своих детей удавить придется и самому на осине повеситься.

— Любезный, ты что, белены объелся? Ступай проспись и не морочь мне голову!

— Пармен Федотович, хотите, шкуру с меня сдерите и на базаре продайте, если другой возможности нет; хотите, крепостным вашим стану до могилы! Я ж не орнаментальную фамилию прошу, а самую простую. Нежели человеческая жизнь для вас не стоит сорока копеек?

— Ты меня совсем заморочил! Какая еще орнаментальная фамилия за сорок копеек?

— Да знаю я, что она рубль стоит, потому и не заикаюсь.

— Почему рубль? Кто сказал? — чуть не заревел Кувшинников и сдержался только из-за боязни разбудить отца Екзуперанция с супружницей.

— Господин Щур-Пацученя, — еле слышно прошептал Гурарий, глядя на носки башмаков.

Кувшинников подавился щавелевой яростью и замолчал, считая молча до десяти, чтобы усмирить злость.

— Щур-Пацученя, значит… И что же он вам сказал про орнаментальные фамилии? Выкладывай как на духу.

Гурарий нерешительно начал пересказывать речь пана Станислава. Кувшинников слушал молча и чувствовал, как внутри него, ширясь и набухая дурмановым ядом во все стороны, вызревает шальная ненависть к жадному, прожорливому и пройдошливому чернильному хорьку.

— Значит, Государь Император такие подати соизволил установить? Однако… Чудны дела твои, Господи, и много в них неизведанного.

Обнадеженный Гурарий замолчал и, боясь поверить своему счастью, преданным взглядом смотрел на Кувшинникова.

— Хорошо, Гурарий. Очень хорошо, что ты мне это рассказал. Это ж надо — рубль за орнаментальную фамилию! Я разберусь. Я очень сильно разберусь! Спасибо тебе. Иди с чистой совестью, божий человек, и не волнуйся. Все будет по справедливости.

Гурарий скрылся за углом, там же, куда повернула и луна. Пармен Федотович еще немного постоял возле окна, прислушиваясь к его шаркающей походке, к шороху загребаемого песка. И ему казалось, что шарканье теперь было каким-то легким, возвышенным, словно у Гурария выросли крылья.

Он сел на кровать, оперся на стенку, которую украшал самотканый ковер работы матушки Вевеи, и задумался о непреходящей человеческой подлости.

XV

Пан Станислав до одури насиделся в кустах, слушая варакушек. А может быть, и не варакушек, потому что, как поют те варакушки, какие коленца завертывают, призывая подругу, он понятия не имел. Просто слово было красивое. Он поглядывал через густые стебли на хату Гурария, в проемах окон которой не было ни одного проблеска. Оно и понятно: спит нежная Рахиль на прогнившей лавке голубиным сном, раскинувшись под шелковыми покрывалами, и игреневые завитки кольцами покрывают облачную подушку. И пащенки сопливые на закопченной печке вповалку лежат.

Когда через пару часов на востоке кто-то плеснул каплю розовой воды в черно-фиолетовую, чернильную густоту ночи, пан Станислав потянулся сладостно, обругал мелкотравчатых варакушек за гармоническую бессмыслицу и обреченно поплелся в плебанию, чтобы соснуть немного перед трудами праведными.

Проходя мимо шатра Гурарьева, узрел он, как мелькнул за окном короткий проблеск ночника, освещая своды парчового приюта. Чертовы петухи, прочистив луженые глотки, разорались, как бабы на базаре, и разбудили мадонну боттичеллиевскую, прекрасную в жемчужной наготе своей. Бошки бы им посворачивать! Восстала Рахиль, подобная утренней заре, и принялась на очаге готовить завтрак из козьего сыра, парного буйволиного молока, померанцев, адамовых смокв и плодов гуннового[1] дерева.

[1] Гунновое дерево *(библ.)* — банан.

Щур-Пацученя послал мысленный поцелуй соблазнительнице и отскочил в заросли бирючины, потому что с Гурарьева подворья перескакивал через плетень донельзя довольный Барнук.

Огорчившийся пан Станислав понес бремя своей страсти домой.

Кувшинников, по-турецки скрестив ноги и завернувшись в одеяло, сидел на кровати. На лице его блуждала латунная гримаса. По хозяйской половине дома бродила полусонная матушка Вевея и бурчала, что от Яркиных прегрешений дом пропах адским дымом. Адский дым действительно был. Он шел из черешневого чубука, который Пармен Федотович держал в зубах.

— Доброго здравьица, ваше благородие, — поздоровался Щур-Пацученя, стараясь, чтобы голос его звучал нежнее клавесина, в меду ополоснутого. — Как спалось? Что во сне видеть изволили?

Кувшинников, не вынимая трубки изо рта, жестом показал пану Станиславу, чтобы тот стал перед ним на расстоянии вытянутой руки.

— Расскажи-ка мне, пан, как иудеев описывать будем?

Щур-Пацученя сарказма в голосе Пармена Федотовича не уловил и начал докладывать, что драгуны натянут походную палаточку в саду, столик раскладной поставят, стульчик для пана Станислава и будут запускать посетителей по одному. Тот назовет фамилию, которую хочет получить. Пан Станислав каллиграфической манерой впишет ту фамилию в метрическую книгу, выдаст бумагу соответствующую; вот, собственно, и все. А для Пармена Федотовича он уже приготовил пару фляжек пейсаховки, потому что горлышко надо лечить, и чтобы член мыслительный из тумана дурманного постепенно к жизни возвращался, а то на дворе жара ожидается. Чего доброго, голову напечет. Кстати, лекарство уже сейчас принять надо.

— Ах ты, прыщ елейный! — не стерпел господин Кувшинников и со всего маху зарядил сенатским кулаком по лживому благообразию, да еще опустил сверху на яринину шишку целый гарем из Маши, Марьи, Марьи и Марьиной рощи. Ровно как батарея Раевского по Бонапартию шмальнула!

— За что, батюшка?! — рухнул на колени Щур-Пацученя.

— За что? Под суд захотел, букля пшецкая? Ты какие такие цены за фамилии назначил?

После такой прямой философической контроверзы пан Станислав выбросил белый флаг, поняв, что его искреннее стремление исправить ошибку Государя Императора не нашло понимания в столичном высшем обществе и светит ему пожизненная каторга. Он зафонтанировал угрызениями совести и начал каяться в мятежном лихоимстве.

— Простите, Пармен Федотович! Ваше высокопревосходительство! Бес попутал. Не выдайте! Жизнь тяжелая, с хлеба на воду перебиваюсь. Дюжина яиц на базаре две копейки стоит, а иудеи — они ж богатые, они Христа продали, у них деньги есть. А я голодаю: жалованье — всего двенадцать целковиков в год.

Кувшинников подскочил к нему, взял за грудки и затряс, как торбу нищего на таможне:

— Голодает он? Недоедает? А ты обо мне подумал? Что в Петербурге скажут, когда узнают, что я фамилии за такие деньги раздавал. Меня ж на смех подымут, проходу не дадут, ни в один солидный дом не пригласят! Двенадцать рублей жалованье у него! Да тебе в этой дыре и шести много! А что мне делать с моими семьюдесятью пятью? Мразь…

Он презрительно оттолкнул пана Станислава в красный угол. На шум заглянула из коридора матушка Вевея и пытливо поинтересовалась:

— Что за грохоты у вас?

— Молимся, матушка, — елейно перекрестился Кувшинников. — Земные поклоны бьем, о предательстве Иуды рассуждаем.

— Это хорошо, — вздохнула попадья. — Ну, молитесь. Не буду вам мешать.

Кувшинников перевел дух, презрительно посмотрел на утирающего кровь с лица Щур-Пацученю и спросил:

— Все деньги, небось, хотел себе заграбастать? Даже с любимым своим городничим бы не поделился?

Писарь мелко закивал головой.

— Значит, так! Сегодня же поднимешь цену в два раза. Объяснишь, что новая бумага из Петербурга пришла, о которой ты не знал. Скажешь, что срок уплаты — пять дней. Дольше я здесь прозябать не намерен. Кто не выплатит, получит такую фамилию, что Фаулебера в самых светлых снах не увидит. Дебет буду проверять ежедневно, и если хоть полушки недосчитаюсь…

Он приложил к носу пана Станислава пахнущий смертью кулак.

— А теперь пошел вон! Ночевать отныне будешь в конюшне. Мне на тебя смотреть противно, взяточник!

XVI

Следующий день начался так, как и должен был начаться. И палаточку походную в саду натянули, и столик раскладной поставили, и стульчик для пана Станислава. И синагогальные книги с перечнем членов общины от Менахем-Мендла передали. И ребята Хрисанфа любовно помахали плетивами, чтобы проверить, не затекли ли руки от двухдневного безделья. И посетители неохотно слетелись к палисаду плебании с глазами, подернутыми матовой поволокой, подобно тому, как медный грош купоросным гнильем затуманивается. И Пармен Федотович своевременно лечиться начал. И Бог вроде бы поверил, что под солнцем его нет ни эллина, ни иудея…

А потом явил библейскому народу свой радужный лик пан Станислав, сияя разноцветными фингалами, и звезданул наотмашь по вере в торжество справедливости, и даже упоминать не стал про новое предписание из Санкт-Петербурга.

Два рубля за орнаментальную фамилию — это было уже слишком, но никто не удивился. Почему-то вспомнилось, как доктор Стжыга в свое время рассказывал, что Государь Император именуется не просто Романовым. Он еще и Гольштейн-Готторп. Так если русский царь был нашим человеком и не побрезговал стать Гольштейном всего за два рубля, нам ли скупиться и проклинать Всевышнего?

То, что заплатить придется, даже не обсуждалось. Но прежде всего надо было вдоволь наплакаться, волосы на себе порвать, посыпая головы пеплом и заламывая руки. Причем одновременно.

Аристократия вздохнула и пошла возносить молитвы, чтобы Господь укрепил их сердца, когда придется опять открывать сундук с деньгами. Беднота вздохнула и пошла возносить молитвы, чтобы Господь укрепил их сердца, когда придется опять выслушивать женины поношения.

Шаткой походкой в палатку вошел Кувшинников, шлепая разрезанными сапогами.

— Ну?

— Разбежаться изволили, — пожаловался пан Станислав.

— Ух, крохоборы! — озлобился Пармен Федотович — И как с такими людьми в Царство Божие идти? Хрисанф! Ступай к ихнему раввину и втемяшь в его упрямую голову, что если через полчаса здесь никого не будет, то я лично его Эзелькопфом запишу.

— Ослиная Голова! Гы-гы… Смешно, — подобострастно захихикал Щур-Пацученя.

Хрисанф ушел. Пармен Федотович развалился в резном высокоспинном кресле с золочеными накладками. На голове петушком сидела форменная фетровая треуголка, из правой руки скипетром торчала бутыль пейсаховки зеленого стекла, в левой возлежало надкушенное моченое яблоко.

В это время в палатку вошла матушка Вевея. Она вела за собой худого, скуластого паренька лет шестнадцати в мятом касторовом картузе и холщовых штанах.

— Иди, иди, не бойся — тянула она губошлепа за руку.

Кувшинников вопросительно уставился на нее.

— Пармен Федотович, — умоляюще сказала попадья, — не в службу, а в дружбу: не могли бы вы Венечке хорошую фамилию подобрать?

— За чем же дело стало? — улыбнулся Кувшинников — Для того нас Государь Император и направил сюда. Сколько Венечка вложить думает в свою фамилию?

— Видите ли, Венечка — с двух лет сиротка, попечением всего села кормится. Ну, и помогает людям. Кому травы накосит, кому дров нарубит, у кого за ребенком присмотрит. Мальчик он хороший, вежливый, только денег у него даже ломаного гроша не будет. Разве это справедливо, если из-за бедности ему придется Штинкенванцем становиться? Христа ради, запишите его так, чтобы перед людьми стыдно не было.

— Ну, не знаю, — надул щеки Кувшинников, — мне лично не жалко, я ему готов все ангельские титулы записать, только что ж мы будем делать с податью. Ведь с нас в столице спросят, если хоть копеечки недосчитаются. Пан Станислав, а что вы думаете?

— Да что вы, Пармен Федотович! — округлил, да еще и обспиралил честные глаза Щур-Пацученя. — Нас же под суд отдадут. Неужели у Венечки даже сорока копеек не найдется на первозрительную фамилию? Мы бы его с радостью, Вевея Ивановна, по вашему родству пустили, ибо вы первая в палатку зашли и некоторым образом его крестной матерью являетесь. Но ведь не будем же мы себе в убыток всякую шваль регистрировать!

— Господь с вами! — обиделась за Венечку матушка Вевея. — Когда вы позавчера всем казацким гамузом провианта на полтинник сожрали, водочку кушали, как верблюды аравийские, Ярину портили солдатским манером, тогда вы про деньги не вспоминали! А вот напишу-ка я начальству вашему, что в православном доме непотребства языческие устраиваете, и посмотрим, кого Христос швалью посчитает.

— Тихо, тихо, — испугался Кувшинников. — Это пан Станислав, не подумав, неловкость сказал. Он вообще с детства умом слабый был. Конечно же, мальчика мы не обидим. Не звери ж, в конце концов. Венечка, ты какую фамилию хочешь выбрать?

Венечка, почувствовав перемену настроения, расправил плечи, дерзко зыркнул на Пармена Федотовича, подбоченился и выдал:

— Уж очень мне, ваше благородие, нравится название Майнекайзермаестат. Всю жизнь мечтал им быть.

— Ты, братец, от берегов-то не отплывай, а то захлебнешься! — разозлился титулярный советник. — Где это видано, чтоб еврея Императорским Величеством звали? Вот, матушка, что ваше заступничество делает: не успели палец предложить, а он уже всю руку заглотал! Нет уж! Как сказал пан Станислав, так и запишем по вашей с отцом Екзуперанцием фамилии.

Попадья рассыпалась в благодарностях, а Щур-Пацученя быстренько выдал Венечке драгоценную бумагу. Безграмотный сиротка схватил ее и побежал хвастаться перед друзьями, что отныне он не какой-то безродный Венечка, а Бенцион, сын Бецалеля, Крестовоздвиженский.

Тут и Хрисанф воротился.

— Ну, как сходил? — насел на него Кувшинников.

— Да как сходил… — промямлил Хрисанф, почесывая мотню между ног. — Ох, и разбосячились казачки от безделья! Хорошо сходил.

— Мне не интересно знать, хорошо или плохо! Где раввин?

— Будет раввин. Сказал, что разведку боем проведет и будет.

Кувшинников и Щур-Пацученя переглянулись. Не к добру что-то Менахем-Мендл о воинском артикуле вспомнил. Это какую ж такую разведку он производить хочет? С одной стороны, евреи — народ мирный, но с другой… Филистимлян и хананеев они знатно резали. Как знать, может, завалялась у них в амбарах парочка осадных бомбард времен Ливонской войны. Подгонит сейчас Менахем-Мендл к палаточке парусиновой батарею единорогов и прямой наводкой ка-а-ак крякнет утешительно по Российской империи «Гром победы раздавайся! Веселися, храбрый росс!».

Но Менахем-Мендл до непосредственного душегубства опускаться не стал. Он взошел на Голгофу во главе четырех дюжих амбалов, которые на плечах несли носилки. А к носилкам была примотана свивальниками параличная Ента. Сзади робко ютились двое мальчишек лет четырнадцати в кипах и стеганых безрукавках.

Менахем-Мендл по-хозяйски сел напротив Кувшинникова.

Кувшинников крепче приосанился в кресле.

Они посмотрели друг на друга, упершись в соперника взглядами, словно осиновыми кольями, и долго молчали. Первым не выдержал Пармен Федотович.

— Что скажешь, реб?

— Указ Государя Императора выполнить пришел, пан советник.

— Хорошее дело, реб. Богоугодное.

— И законопослушное, пан советник.

— Так выполняй, реб.

— И выполню, пан советник.

— Какую фамилию надумал брать, реб?

— Не о моей фамилии сейчас речь, пан советник. Вот скажите, фамилия, которую получает глава семьи, сразу за те же деньги присваивается и жене его, и детям малым?

— Истинно так, реб.

— А если, пан советник, одинокая женщина ни мужа, ни детей, ни даже кошки не имеет, ей фамилия полагается?

— Гм! — смутился Кувшинников оттого, что не предусмотрел такого экивока фигли-миглистого, и неуверенно зыркнул на пана Станислава: «Выручай, мол».

Благо, тот не растерялся:

— Конечно, господин законоучитель. Не может же государство одинокую женщину без свидетельства оставить.

— Очень хорошо, — поклонился Менахем-Мендл. — Вот несчастная Ента, дочь Фишеля. Немая, расслабленная, одинокая. Так дайте ж ей фамилию соответствующую.

Но тут что-то щелкнуло в перегруженной невзгодами памяти Пармена Федотовича, какие-то сведения из древней истории всплыли на поверхность, и он поспешил вмешаться:

— Но должен заметить, насколько я помню уроки Закона Божия, женщина платила подать в два раза большую. Мы не можем законами государства нарушать Божью волю.

— Святые слова, пан советник. И за чем же задержка?

— Пусть ваша Ента внесет в казну двойную лепту и получает самую прекрасную фамилию из всех, что существовали на свете.

— Истину глаголете, пан советник. Только дело в том, что Ента — человек неприхотливый, и ей сгодится любая, даже самая грязная фамилия. Хоть Фаулебер. Выпишите мне бумагу на ее имя, посчитайте, сколько она должна заплатить, и утешьтесь в мечтах о двойной лепте.

Щур-Пацученя подумал, что Пармена Федотовича сейчас падучая схватит, так он покраснел. А и правильно: нечего было благородное лицо пана украшать синяками!

— Ну ты и жук, реб! Думаешь, я на попятную пойду? Стась, впиши-ка этой нищебродке в метрику что-нибудь погаже, поомерзительней. Пусть будет Ентой Лаузебетлер — Вшивой Нищенкой.

— Премного благодарен, пан советник. Ента все равно не сегодня-завтра к Богу отойдет, поэтому этой кличке недолго на земле быть.

Он повернулся к амбалам и сказал:

— Несите ее домой и передайте людям, пусть готовят деньги, да не забывают, что не в красоте имени счастье. Бог каждого по красоте дел его примет.

Господин Кувшинников и пан Станислав кисло переглянулись. Двух клиентов отдокументили по самое не балуй, а в кубышке — блоха на аркане веселится.

Но не успели здоровяки вынести Енту, как Менахем-Мендл снова подарил им надежду.

Он достал из-за пазухи расшитый золотой гладью вздутый кошель и высыпал на стол гору медной мелочи: две тысячи восемьдесят шелегов.

— Можете не пересчитывать, — презрительно сказал он. — Менахем-Мендл слово держит. Здесь ровно пять рублей двадцать копеек.

— Ба! — расплылся в мародерской улыбке Пармен Федотович. — За что ж такая неожиданная милость?

— Не будем тянуть за хвост Ентиного кота, которого у нее все равно нет, — Менахем-Мендл опытными прыткими движениями разложил монеты на три стопки: две одинаковых — побольше, и третью — чуть ли не вполовину меньше. Маленькую стопку он придвинул к Кувшинникову:

— Здесь рубль двадцать за профессиональную фамилию. Мне пышности не надо. Предки мои спокон веков были коганами[1], и я буду очень счастлив остаться Коганом.

— Ну что вы, реб! — подобострастно завибрировал Щур-Пацученя, споро выписывая документ, чтобы Менахем-Мендл не передумал. — С вашей честностью, с вашим умом вы б и орнаментальную фамилию с честью носили.

— Не все то золото, что блестит, — отрезал Менахем-Мендл.

---

[1] Коган — священник *(ивр.)*.

Пармен Федотович впился взглядом в большие стопки, как цирюльник клещами в больной зуб — конем не оттянуть, и поинтересовался:

— А это подать за кого?

Реб кивком подозвал к себе мальчишек. Те неуклюже подошли и поклонились Кувшинникову.

— За них.

— Зачем? — отхлебнул глоток пейсаховки Кувшинников. — Мы же договорились, что сыновья будут носить твою фамилию.

— Это не сыновья, — пояснил Менахем-Мендл. — Это балбесы.

— Странно даже, что вы таких славных мальчиков прилюдно так оскорбительно ругаете, — вмешался пан Станислав.

— Кого я ругаю? — обиделся раввин. — Самые настоящие балбесы. Вот этот, который слева, — старший. Довидом зовут. А второй, что в носу ковыряется (Прекрати немедленно! Ты бы еще в субботу поковырялся, охламон!) — младший, Иссахар.

— Это понятно, что балбесы. А от нас вы чего хотите? Чтоб мы справку выдали, что они болваны?

— Почему вы их болванами обзываете? Они не болваны. Они очень умные мальчики. Довид уже всю Тору наизусть знает, а Иссахар… Если б вы слышали, как Иссахар псалмы поет! Чистый ангел.

— Реб, — расстегнул Щур-Пацученя ворот форменного доломана, словно ему не хватало воздуха. — Ты сам только что несколько раз назвали их болванами, а теперь обижаешься, что мы согласны с тобой?

— Когда я их болванами называл? — вскочил со стула Менахем-Мендл, позабыв про выдержку. — Не смейте говорить так! Они исключительные балбесы, великолепные балбесы! Любой тесть гордился бы такими балбесами!

— Так пусть тесть и гордится! Ты-то при чем? — привстал с кресла Кувшинников.

— А я и горжусь!

Кувшинников ойкнул и снова повалился на трон.

— Что? Ты хочешь сказать, что выдал их за своих дочерей?

— Да, и горжусь этим.

— Реб, ты понимаешь, что сейчас в государственном преступлении сознался, как последний балбес? В богопротивном деянии?

— Какое богопротивное деяние? Что вы мне голову дурите? Я балбесом был тридцать лет назад.

— Кто кому дурит? Ты заявляешь, что поженил своих сыновей с дочерями, и не видишь в этом мерзости?

— Кто сказал «сыновья»? Я хоть словом о сыновьях заикнулся? Это балбесы. Они мне дороже сыновей. Если бы у меня были такие сыновья, я бы их с радостью балбесами сделал!

Пока взрослые собачились, мальчишки стояли, склонив головы, причем Иссахар не переставал ковырять в носу. Пармен Федотович схватился за голову и взвыл, как волк на полную луну. Пан Станислав тоненько подпевал ему. На этот барочный романс распахнулась завесь палатки, и в щель заглянула пытливая рожа Ярины.

— Что здесь у вас?

— Ярина, — с надеждой повернулся к ней Пармен Федотович, — скажи мне: кто это такие?

— Это? — удивилась Ярина. — Известно кто: балбесы. Про то все знают.

— Как? Все село знает и молчит. Да вас в кандалы надо!

— За что в кандалы? — подпустила в голос чуть-чуть истерики Ярина. — Это хорошие, вежливые балбесы. Хотя, как по мне, они болваны, а не балбесы.

— Точно болваны, а не охламоны? — уточнил Кувшинников.

— Да, — подтвердила Ярина. — Как есть болваны охламонистые. День-деньской сидят за своими книгами, на гулянки не ходят, на девок не смотрят. Только и знают, что жен да учебу.

Щур-Пацученя почувствовал, что его миропонимание плавно стронулось с места и под веселый свист нагаек помчалось куда-то в края, где жили очень умные тайные советники.

— Балбесами евреи зятьев называют, — пояснила Ярина.

— Не абы каких зятьев, — весомо поправил Менахем-Мендл. — По правилам Талмуда ученик ешибота, если хочет стать настоящим раввином, должен жениться в тринадцать лет. А родители жены обязаны содержать и кормить его до наступления тридцатилетия. И такие зятья называются перед Богом балбесами.

— До тридцати лет? — не поверил Щур-Пацученя — Какой ужас!

— Почему же ужас? Это великая честь для родителей невесты, и я с радостью исполняю свой долг. Хотя жрут они и вправду много.

Кувшинников не смог больше переносить стилистические зятьевские контаминации, замахал руками, мол, выбирай фамилии для балбесов и ступай куда глаза глядят. Менахем-Мендл не стал ломаться и заказал для Довида фамилию Перельман, а для Иссахара — Бриллиант.

Балбесы дрожащими потными ладонями комкали драгоценные метрики, не веря своему счастью.

— А скажи мне, реб, — с напускным безразличием поинтересовался Щур-Пацученя, — почему я сегодня Гурария не вижу?

— Гурария ни свет ни заря к леснику на тот берег забрали. Сын у него крупом заболел. Так что ждем дня через три.

— Вот как?.. Интересно. А ответь мне, реб: ведь ваша вера запрещает к свиньям прикасаться. Почему же Гурарий нарушает закон, и ты его за это не наказываешь?

— Божий закон две стороны имеет, тем и хорош. Во Второзаконии запрещено есть мясо свиней и прикасаться к трупам их. Но Бог не запрещал прикасаться к щетине. А Гурарий поросят только за щетину трогает. Так что нет в нем мерзости перед лицом Господа.

— Вот же вы прохиндеи! И как, Пармен Федотович, с ними сражаться? Ну, иди, реб, не мешай работать.

Менахем-Мендл с балбесами вышел за полог, и через плотную парусину до господ чиновников донеслись две категорические оплеухи и укоряющее нравоучение:

— Вечно мне с вами краснеть приходится, охламоны!

XVII

В таких непосильных трудах прошел почти целый день. Люди появлялись через час по чайной ложке, выкладывали медяки и скучно приобретали первозрительные, характерные или профессиональные фамилии. Но каждый не мог обойтись без того, чтобы изложить на этот вопрос собственные взгляды

и запутать господ чиновников в петлях извилистой местечковой философии. Кувшинникову только и оставалось, что материться и страшными карами грозить, чтоб до следующего шабата это безымение чертово окончилось.

К вечеру пан Станислав сложил свои письменные принадлежности, вытер затупившееся перышко об изнанку скатерти и подобострастно спросил Пармена Федотовича:

— Сколько нам сегодня в клюве принесли?

Кувшинников завязал деньги в узелок и неохотно пробурчал в ответ:

— Тридцати копеек до империала не хватает.

— И когда я, Пармен Федотович, смогу свои четыре рубля восемьдесят пять копеечек получить?

— Знаешь, пан Стась, почему я — титулярный советник, а ты писарь, приравненный к эстандарт-юнкеру, и никогда даже коллежским регистратором не будешь? Потому что верить начальнику не приучен. Слово начальника — закон! Если сказал я, что поделим поровну, значит поделим. Мало ли какие непредвиденные расходы нас ожидают? Уезжать будем в пятницу вечером, и получишь ты свою половину в лучшем виде.

Скривился недоверчивой пан Станислав, но вынужден был смириться пока. Пармен Федотович отправился благоденствовать в плебанию, а Щур-Пацученя, вкусив от Яркиных щедрот, прикорнул здесь же, в углу палатки, и задремал.

А как ночь настала, снова повело его в элегичные заросли певчими птицами восторгаться. Сидел он настырно и одиноко, словно Моисей в тростниках, только что крокодилов в реке не было. Зато гулко хлестали по воде около плавня жирные сомы, приманенные подрубовским свиным навозом. Кормушка для них тут знатная была.

Хамоватые же варакушки завалились на боковую и не думали потешить слух пением. Сидел пан Станислав, вслушивался в глухую ночь и, наконец, уловил у хаты Гурария еле слышный разговор. Тут-то и его время настало!

Он тихо, по-пластунски подполз ближе и застыл между придорожных дуплистых деревьев раскоряченным саксаулом. Кто сидел на завалинке, не видать было, потому что луна светила с другого конца хаты, но голос Рахили он бы не спутал ни с чем.

— Нет. Ты знаешь, что это невозможно. И давай прекратим эти пустые пересуды.

— Ты же знаешь, что отец мой тебя как дочку любит! Да и я жить не могу без тебя.

Ба-а-арнук! Хлыщ мужицкий! Вот кого засечь нагайками надо!

— Милый, да знаю я это. Лучше, чем ты представить можешь, знаю. Но ты же гиюр не примешь?

Аж было слышно, как Барнук отрицательно закивал головой.

— И я не смогу в христианство перейти. Отец такого позора не переживет.

— Что ты так за обычай свой держишься? Что вам эта община? Часто ли она вас хлебом кормила? А ведь скольких человек твой отец из гроба вытащил? Даже Менахем-Мендлу грыжу вправил. И сколько получил? Благословение да две мацы на пасху! А ведь мы к твоему отцу как к родному относимся. А будем еще лучше. Одно дело, когда он — простой травник, а другое — когда кум Подрубы. Да и о братьях подумай: их поднимать надо. Они ж вечно голодные — посмотришь, так солнце на просвет видно. Не могу же я каждый день вам хлеб носить!

— Стыдишься?

— Да как ты можешь! Не стыжусь, а просто неправильно это, не по-человечески! Я сейчас домой приду, а у меня там лакомств — ешь — не хочу. А как подумаю, что ты в этот миг у черной печки возишься, полбу братьям варишь, так удавиться хочется, кусок в горло не лезет! Рахиль, ласточка моя, ну, хочешь: уедем в Слоним, в Вильню, в Варшаву, где нас никто и знать не будет. Отец меня в Варшаве во главе торгового ряда поставить хочет. Жить будем всем людям на загляденье!

Тут лунный свет перекатился через венец крыши, и стало видно, как Рахиль крепко поцеловала Барнука в щеку, а потом сказала:

— Нет, хороший мой! Все понимаю, но не могу — веру отцов не меняют.

У Щур-Пацучени от ревности аж живот свело. Он покачнулся и зацепился за развесистую липу. Липа пронзительно вскрикнула: «Чи-ир!» — и в лицо пану Станиславу ударила горячая вонючая струя. Господи, что за беспардонное село! Он отшатнулся, зацепился за ветки и выпал из зарослей на дорогу, а там сжался в комок и затаился под огромным валуном

— Что это? — испуганно вскрикнула Рахиль.

Барнук вскочил с завалинки, кинулся к липе, осмотрелся в неверном свете луны и захохотал.

— Тише! — прикрикнула на него Рахиль. — Братьев разбудишь.

— Ничего, ничего. Это футкала чего-то испугалась и выстрелила струей. Воняет, как от писаря полицейского!

Оскорбился пан Станислав и поклялся отомстить неблагодарному плебсу. Хотелось, конечно, послушать, о чем дальше будут разговаривать сиволапый Барнук с царевной-лебедь, но надо было срочно омыть морду в живительных водах Щары. Только подальше от Подрубового дома отползти придется. И слово-то какое гнусное изобрели: «футкала»! В высшем свете эту похабную птицу высокородные господа не иначе как удодом прозывают.

XVIII

То ли воздух был в Збышове целительный, на открытия вдохновляющий, то ли окрестности волшебные, философским камнем ударенные, только на следующий день все повально в изобретения и теории энциклопедические подались.

Сперва пан Станислав, пошевелив головой победной, разработал безупречный план, как влюбить в себя Рахиль и отторгнуть от нее Барнука. А затем к научному прогрессу и иудеи подключились. На улицах появились зазывалы, предлагающие деньги в долг на орнаментальную фамилию под такие проценты, «какие вашей маме и не снились». Конкуренция была столь велика, что резник Барак даже систему скидок разработал.

Пармен Федотович всячески приветствовал это полезное начинание. Но заемщики не спешили лезть в кабалу, выжидая, чтобы кредиторы снизили цены. А потому коммерция по первости не задалась. Но чтобы проверить, как отнесется Государь Император к тому, что бедный человек попытается застолбить свой маленький дивиденд с финансовых потоков, к Кувшинникову был направлен соглядатай.

В палатку с хитрым прищуром вошел Велвл, муж Шифры, огляделся по сторонам, пригладил аккуратную бородку и прямиком направился к Кувшинникову.

— Доброго здоровьичка, пан титулярный советник.

— И тебе не хворать.

— Пан советник, а скажите, установлены ли Указом какие-нибудь ограничения по длине фамилий?

Кувшинников смерил взглядом Велвла с головы до ног, проверяя, не смеется ли тот, но Велвл был траурен и серьезен, как дальний родственник на читке завещания.

— Какие ж тебе ограничения нужны? Слава богу, страна у нас христианнейшая. Плати и бери фамилию хоть с версту.

— Это очень хорошо, пан советник. Значит, фамилию Энгельгланц я могу принять всего за два рубля?

— Всенепременно!

— А если мне нужна двойная фамилия? Допустим, Энгельгланц-Фогельзанг?

— О чем разговор? Четыре рубля — и катись на все четыре стороны: по рублю за каждую.

— А как насчет тройной фамилии? Она ж еще красивей будет. Например, Энгельгланц-Фогельзанг-Гольдштейн?

— Не волнуйся. Захочешь, и Гольдштейна припишем.

— А четверную?

— Что ты ко мне подходцы ищешь? Ты только плати, а я тебе хоть десять фамилий нарисую!

— Я, пан советник, вот о чем подумал: ведь если Государь Император только тройной фамилией ограничился, то можно ли простому еврею его в этой гордости обогнать?

Кувшинников запнулся. А и в самом деле, не будет ли четверная фамилия расценена как бунт против священной особы Александра Павловича?! Он поежился, словно к нему уже прикоснулся топор палача, и немного сдал назад:

— Пожалуй. А тебя, братец, не пальцем на кухне делали. Ограничимся тройной фамилией. Гони шесть рублей на бочку!

— Да бог с вами, пан титулярный советник! Откуда у меня такое богатство? Я вам хочу вкусный гешефт предложить.

Поскольку Кувшинников уже начал наливаться кровью, приближаясь к апоплексическому удару, Велвл затараторил, стараясь обогнать бешеную волну:

— Пан советник, я получаю от вас тройную фамилию в рассрочку под дюжину процентов годовых с обязательством ежемесячной уплаты. Посмотрите, какая выгода: в фамилии Энгельгланцъ-Фогельзангъ-Гольдштейнъ — тридцать четыре буквы. Значит, через тридцать четыре месяца вы получите от меня восемь рублей четыре копейки. Если я просрочу платеж, то вы каждый месяц будете вычеркивать из моей фамилии по одной букве до полного погашения кредита. Это выгодная сделка, пан советник, от такой даже царь Соломон не отказался бы.

— Пошел вон! — запустил в Велвла моченым яблоком Пармен Федотович. — Если есть два рубля — плати! А нет — сгинь с глаз моих долой! Стась, запиши-ка его Эзелькопфом, чтоб голову мне не дурил!

— Что вы, что вы! — струхнул Велвл. — Как есть плачу: вот восемьдесят копеек за характерную фамилию.

— Пиши, пан Стась, ему характерную! Мошенник он, и дети его будут Мошенниками!

После расправы над Велвлом, больше никто не осмелился предложить Пармену Федотовичу вкусный гешефт, и община покорно развязала кошели со слезами.

XIX

Едва стало смеркаться, с тополевым корытом, в котором лежали какие-то детские тряпки, на улице появилась Рахиль, чтобы быстро прополоснуть их в реке, — легче серны быстроногой, нежнее капли росы, гибче ветки под ветром. Слаще меда, пряней мускуса была она вся, как вино: вино гранатовое, венисовое[1]. Пану Станиславу допьяна им напиться суждено; выкуп, вено[2] тем вином взять.

Стояла Рахиль на дороге в шелковой белой симмаре[3], окутавшей ее, как невесту, с головы до ног. По подолу платья бежала витиеватая кайма-зизит[4] с кистями из овечьей тонкопряденной шерсти. Плечи невесты покрывал пелериной ефод[5], вытканный поровну изо льна и серебра. Льняную основу переплетал серебряный уток. Много денег отдал Станислав за столь драгоценный плащ, потому что не только льняную пряжу надо было привезти из земли Гиперборейской, — надо было найти искусного канительщика, который бы вытянул из серебра проволоку не толще льна; надо было найти ювелира, что крушинил серебряную нить, и мастера-ткача, покорившего бы неведомую, неподатливую материю.

Голову Рахиль Ярка покрыла длинным платком, закрепив на лбу и по вискам золотым обручем с красной травленной гравировкой лучших дамасских булатчиков. На руки надела запястья, изукрашенные шумерскими лалами[6] под цвет кудрей, и кольца с самоцветами. Завершила же одеяние невесты Дарка, обув ноги в бархатные сандалии на золотых застежках. Звезда Хабар на небе померкла, но взошла новая звезда влюбленных.

Щур-Пацученя выпрыгнул из-за удодовой липы, как Давид на Вирсавию:

— Рахиль, что ж ты не здороваешься? Или старых друзей не узнаешь?

Рахиль остановилась, с трудом перехватила тяжелое корыто на живот и еле заметно улыбнулась в ответ:

— Как не узнать? Такого старого друга вовек не забудешь.

— А где Гурарий пропадает? Уже два дня его не видно.

— Отец у лесника сына лечит. К завтрашнему вечеру должен вернуться.

— То-то я смотрю, что он за фамилией не спешит. Смотри, разберут все красивые имена. Что тогда делать будете?

— Авось не разберут. Что-нибудь да останется.

Вроде и вежливо отвечала Рахиль, но душа ее оставалась закрытой на все замки, как лабаз лавочника.

— Хе-хе, а вдруг не останется! Это только от меня зависит, чтобы придержать для вас что-то живописное. Хочешь живописное прозвание?

---

[1] Вениса *(библ.)* — гранат.
[2] Вено *(библ.)* — выкуп.
[3] Симмара *(библ.)* — длинное платье со шлейфом.
[4] Зизит *(библ.)* — декоративный орнамент в виде прямых углов, составленных в непрерывную линию; меандр.
[5] Ефод *(библ.)* — женский плащ.
[6] Лал *(старинн.)* — рубин.

— С прозвания воды не пить, пан писарь. И без красивостей люди живут.

— Не скажи. А вдруг действительно получит Гурарий мерзкое прозвище? Ну, он-то ладно: он — человек старый, проживет и в хлеву у Подрубы, а что тебе делать? Всю жизнь будешь побираться, сначала братьев обстирывать, потом чужих людей, а потом или, как Ента, умом тронешься, или по рукам пойдешь и помрешь молодой от французской болезни. Ты такой судьбы себе хочешь?

— Что вы мне душу рвете, пан писарь! — вспыхнула Рахиль, попытавшись оттолкнуть собеседника с дороги корытом, но тот ловко увернулся. — Вы прямо говорите: что вам надо?

— Думай, красавица, — ласково улыбнулся Щур-Пацученя. — Двух рублей, да даже несчастных восьмидесяти копеек, Гурарию взять негде: больно гордый он. Полвека прожил, а так и не понял, что гордым только богатый человек может быть. Бедный для гордости рылом не вышел! Так чем же он расплатится, если не деньгами?

Рахиль была так ошарашена этой напористой тирадой, что окончание ее пропустила мимо ушей.

— Как два рубля? — прошептала она. — Господин Кувшинников ведь самолично обещал отцу, что все будет по-честному, бесплатно…

— Кувшинников... — в свою очередь разинул рот Щур-Пацученя. — И когда же он это обещал?

— Да позавчера ночью отец сходил к нему и все рассказал про подать казенную. Вернулся счастливый, мол, Пармен Федотович вошел в положение и сказал, что во всем разберется.

Так, значит, через Гурария титулярный советник до правды дорылся! Боже, ну можно ли быть таким наивным дураком! Уже две тысячи лет учат этих евреев разумные люди, кожу под батогами спускают, головы рубят, на кострах жарят, и все равно хоть один юродивый, да найдется, чтобы справедливости искать!

Это благодаря Гурарию Кувшинников морду пану Станиславу Марьями расквасил. За это пощады ему не будет!

— В общем, так, радость очей моих, хорошенько подумай, чем отцу можешь помочь. Времени у тебя не так и много: до вечера пятницы. Пока звезда Хабар не взошла.

Внезапно он увидел, как раскрылась калитка усадьбы, и оттуда вышел расфранченный Барнук. Увидел на дороге Рахиль, заулыбался и побежал к ней. Пану Станиславу с этим хохлатым удодом встречаться не с руки было, поэтому он послал Рахили воздушный поцелуй и отважно ретировался в камыши.

Барнук взял у Рахили корыто, и они пошли на мостки, где обычно прачки стирали одежду.

XX

Среда задалась с самого утра. Смиренные местечковцы дисциплинированно плотной стаей ждали своей очереди на перепись и бунтовать не пытались. Конечно, разговорчики такие-сякие проскакивали в толпе, иногда даже сдобренные ядреным словцом, о чем бдительно доносил Хрисанф. Нравилось поганцу говорить в лицо господам чиновникам всякие гадости под соусом того, что он верой и правдой блюдет государственные интересы.

Но в целом особых буйств не наблюдалось. Как из рога изобилия сыпались в метрическую книгу Абрамовичи, Позолотники, Фурманы и всякие прочие Вильнеры. Случилось только одно мелкое происшествие ближе к концу дня.

Бортник Меир выложил на стол один рубль девяносто пять копеек, потупился и клятвенно заявил, что больше у него на орнаментальную фамилию — хоть убей — денег нет, и предложил доплатить медом, тем более что и фамилию он вообще-то хотел почти отеческую и трудовую: Бинфлейш — Пчелиное Трудолюбие. С его точки зрения, безмен[1] меда — достойное возмещение за мелкое отступление от начертанных правил. Но Пармен Федотович, который с недавних пор слышать спокойно не мог ни о чем связанном с пчеловодством, быстро и доходчиво разъяснил Меиру, куда тот может засунуть свой мед.

Тогда Меир погрустнел и вынужденно согласился на патронимическую фамилию. Это его желание было уважено. Пан Станислав записал его Пинхасевичем. Казалось бы, на том дело и закончено, но Меир нагло потребовал сдачу: тридцать пять копеек. Такого циничного деяния земля не знала со времен разрушения Второго Иерусалимского храма. Можно подумать, что сам он часто на базаре сдачу покупателям давал!

По таким причинам Хрисанф быстренько выволок Пинхасевича на площадь, и еще долго збышовские горизонты оглашал горестный плач Иеремии.

Под вечер принесло откуда-то легкий и быстрый дождь. Так и хотелось назвать этот дождь грибным, но весной, как известно, грибами не очень богаты надщарские леса. Гурарий, возвращаясь от лесника, только парочку сморчков насчитал. Настроение у него было умиленное, потому что догадался-таки после бессонной ночи проколоть мальчишке крупозную пробку острой тростинкой, и малец, выхаркнув плесневидные сгустки, задышал легко и свободно.

Дождь омыл траву и деревья, разбросав по ним щедрой рукой жемчужины капель, которые светились повсюду, словно бусины рассыпанного ожерелья. Гурарий перешел бревенчатый мостик на подходе к Збышову, и тут его окликнул сам пан Подруба, который со Степаном на подводе ехал из Рыгалей.

— Дружище! Садись ко мне.

Похмельный Степан спал, зарывшись в сено, а пан Мартын правил за кучера. Ну, как правил? Караковый жеребец и сам прекрасно знал дорогу. От пана Мартына греховно пахло на-посошковой самогонкой. Соломенная шляпа была лихо заломлена на затылок.

Гурарий вскарабкался на подводу. Запах самогона разбудил в нем аппетит. За все время он удосужился съесть только крылышко глухаря и выпить туесок березового сока. Ничего! Рахиль уже, наверно, чугунок с кашей устала греть!

— Ну что, Гурарий, все блуждаешь? Когда за твою фамилию пить будем?

— Пока не получил, пан Мартын. Как в понедельник с вами распрощались, я же дома еще не был.

— Спас мальца?

— Божьим промыслом жить будет.

— Заплатил лесник?

— Очень хорошо заплатил. Грех жаловаться, — со всей серьезностью сказал Гурарий. — Фунт масла дал.

---

[1] Безмен — старинная мера веса, равная 1,022 кг.

— Ох, Гурушка, божья ты душа, не доведет тебя скромность до добра.

Гурарий только мечтательно пожал плечами: «Поживем — увидим».

— Ты, вот что, Гурарий, сегодня я тебя дергать не буду, а уж завтра не сочти за труд заглянуть ко мне. Княгиня пороситься должна, твой взгляд нужен. А то сердце у меня не на месте. Барнук в последнее время какой-то пришибленный — думает о своем, улыбка, как у тихопомешанного. Кабы не запустил свиней.

— Как есть загляну, пан Мартын. И матку, и деток в лучшем виде примем.

Караковый не торопясь доплелся до середины села и остановился у подворья Подрубы. Гурарий сполз с телеги, помогая себе всем телом.

— Баба с возу — кобыле легче, — пошутил он.

Караковый всхрапнул, и тут из-за угла Гурарьевой хаты появились в обнимку Барнук и Рахиль. Увидев отцов, они неуклюже отскочили друг от друга на сажень. Гурарий в ужасе закрыл испуганное лицо. Подруба окаменел, посидел недвижимо секунд пять, играя желваками, потом спрыгнул с подводы и решительным шагом пошел навстречу беспутникам, выломав из живой изгороди аршинный дубец.

— Пан Мартын, — попытался остановить его Гурарий. — Ты меня лучше засеки. Рахиль не трогай! Она дура малолетняя, ни любви, ни ласки в жизни не видела!

— Батька, — прошептал непослушными губами Барнук.

Яростный Подруба в два прыжка преодолел расстояние до сына и огрел его гибким дубцом. Дубец разрезал рубаху и оставил на коже багровую полосу.

— Сволочь! Блудник ненасытный! Пол-Збышова перепортил, а теперь меня перед людьми позоришь! Пся крев, как я людям в глаза смотреть буду? На сироту одинокую позарился, вурдалак! Я его на хозяйстве оставил, а он… На! На! На!

— Батюшка, пан Мартын, не бейте его! Это я виновата! Я его с пути истинного сбила! Меня и лупите до смерти! — ворвалась между палкой и Барнуком Рахиль.

— Батька, Христом-богом клянусь: пальцем не прикоснулся! Люблю я ее! Жить без нее не могу!

— Не бей Рахиль! — кинулся на Подрубу, подхватив наперевес деревянного коня, Есель, а за ним и остальные братья.

Подруба непроизвольно еще несколько раз вытянул Барнука наискосок и отступил перед натиском мстительной оравы.

— Ну, вы, полегче-то, полегче, — пробормотал он, опуская дубец. — Гурарий, уйми своих Маккавеев. Ого! Обидчивые какие — слова лишнего не скажи.

Из шрамов Барнука масляными каплями выступала кровь. Рахиль, стоя на коленях, просительно глядела снизу вверх на Подрубу, как затравленная лань на охотника. Пан Мартын смутился, отбросил свою лозовую саблю и трясущимися руками поднял Рахиль.

— Ты, девочка, того… Я ж думал, он тебя обидеть хочет, обрюхатить… Между мной и твоим отцом встать… Дружбу нашу порушить. Ты прости меня, ради бога.

— Батька! — повалился на землю Барнук. — Заставь ее за меня выйти!

Подруба непонимающе посмотрел на плачущую Рахиль, которая бешено мотала головой, на полумертвого от ужаса Гурария, на сбежавшихся от всех окрестных хат зевак и пробормотал:

— Да как же я ее заставлю, если она не любит тебя?

— Люблю! — издала отчаянный вопль Рахиль, словно подстреленная птица. — Люблю, но не могу! Бог Израиля — это мой Бог! Не предам я его.

— Гурарий, что делать? — развел руками купец. — Ты ж знаешь, что я никогда против не был, даже наоборот: прямую выгоду в том видел. Женщины деньги считать умеют, а где еврей прошел — иезуиту делать нечего, — неловко пошутил он.

Но Гурарий выглядел так, словно для него не было места на земле.

— Ох, пан Мартын, зачем вы так? Хотите, чтобы каждый ей в глаза плевал, что она за деньги замуж вышла, наймичкой в богатый дом влезла, родительскую веру за свинину продала? Всяк сверчок знай свой шесток! Засмеют же нас, грязью забросают: голозадый Гурарий — кум Подрубы! Не буду я ее неволить, потому что вот бог, а вот порог. Кто мы, а кто вы? Да и реб детей моих проклянет на веки вечные.

— Ой, держите меня — сейчас сдохну! — всплеснул руками Подруба. Без женских слез он снова почувствовал себя в привычной тарелке. — Когда короля Станислава отсюда погнали, а русская власть еще не пришла, помнится мне, тут лихие людишки погромы устраивали, так твой реб распрекрасненько две недели у меня со всей семьей в подполе под свиным навозом сидел и не жаловался. Я про это никому не говорил, но ведь и вспомнить могу ненароком.

Ах, зря он это сболтнул! Никто из зевак ни на волос не пошевелился, а весточка с пылу с жару уже успела долететь аж до Мителера Ребе из Любавичей!

И вдруг Рахиль снова зарыдала.

— Папочка, — шепнула она на ухо Гурарию так, чтобы никто не слышал, особенно Барнук. — Все плохо, папочка, позор нас ждет!

Гурарий поглядел на ее побледневшее лицо и понял, что его ожидает еще какая-то страшная новость. Он повернулся к Подрубе:

— Не сердитесь, пан Мартын. Я Рахилюшку домой доведу, горицвету с тимьяном ей заварю для успокоения нервов, и потом навещу вас.

Подруба понимающе кивнул и, чтобы скрыть смущение, пихнул Барнука в сторону усадьбы:

— А ну, марш домой! Давно я тебе родительских суббот не устраивал, так могу и среди недели повторить. Степан, хватит дрыхнуть, пьяное ты чучело! Заводи коня во двор!

XXI

Бурли, кипяток, бурли! Плюйся жгучими каплями, как раскаленный порох! Высасывай соки из лекарственных трав!

Возьми в себя медоносный тысячелистник, чтобы растворить нервный срыв Рахили! Прими рожденный молнией зверобой, чтобы ушли тревога и страх! Бери цветки кипрея лилового, дабы унять головную боль! Выхвати из луговой ромашки солнечную силу для успокоения страстей! Займи у душистой валерианы силу, побеждающую волнение! Одолжи у горицвета радость жизни! Спроси с тимьяна снотворного колдовства, чтобы успокоилась Рахл младенческим сном, пока мужчины будут решать ее судьбу!

Рахиль рассказала ему о том, что случилось в Збышове за эти дни. Гурарий напоил дочь целебным отваром, уложил на лавку, выгнал из хаты сыно-

вей, наказав им, чтобы не показывались в доме хотя бы часа два, и, сидя у изголовья, гладя дочь по голове, как встарь, размеренно рассказывал ей сказки про царя из Амстердама, и про индюка-камня, и про благочестивую разбойницу, и про жабу-оборотня.

А когда заснула Рахл, Гурарий задумчиво развязал свою лекарскую сумку, достал тряпицу, в которую были завернуты все его медяки, их было числом столько же, сколько песчинок на паркете у короля, и пересчитал их. О, великое богатство, и без тебя не жить человеку, и с тобой хоть повесься от тоски! Так и петля побрезгует тебя за такие деньги душить! Набралось песку аж на семнадцать с половиной копеек.

Гурарий вышел из своей хибары, посмотрел тоскливо на дом Подрубы, вздохнул и побрел, загребая мертвой ногой, в сторону плебании. Страшно ему было входить в царство отца Екзуперанция, и потому он долго переминался перед воротами. Но, к счастью, проходила мимо Ярина с тюком купленной у мельника Агапа крупки и, завидев Гурария, помогла ему. Гурарий когда-то научил ее вытравливать плод и свято хранил ее постыдную тайну.

Ярина провела его к заднему забору, кавалерийским ударом пятки выломала дюймовую доску и помогла пробраться Гурарию сквозь щель, да еще осталась следить, чтобы в случае чего подать ему тревожный сигнал.

Кувшинников читал «Обманутую Генриетту» и попивал пейсаховку из шампанского бокала.

— Пан советник, — несмело позвал его Гурарий.

Пармен Федотович обернулся.

— А, травник пожаловал! Рад тебя видеть. Что нос повесил?

— Пан советник, вы же обещали мне…

— Что я тебе обещал? — сразу же пошел в атаку Кувшинников, потому что, сколько себя помнил, любые обещания прекратил сразу же после пресловутого побоища в гардеробе под шинелями.

— Обещали, что деньги с меня брать не будете за фамилию.

— Братец, ты, видно, совсем своими травами объелся. Я обещал, что все будет по справедливости, а про бесплатную фамилию я ничего не говорил. Ты на меня обижаться не моги. Все платят. Даже Менахем-Мендл за балбесов придурочных раскошелился, а ты на чужом горбу бесплатно в рай хочешь въехать! Стыдно тебе должно быть.

Гурарий непонимающе покрутил головой:

— Это за что же мне, пан советник, должно быть стыдно?

— За то, что ты своих единоверцев обмануть хочешь. Вот же вы, подлое племя! Не хотите жить по-честному, не хотите государству деньги платить. Государство вас защищает, работать дозволяет, только что носы не вытирает. Ступай-ка ты прочь, Гурарий — нос гитарой: мне на тебя, крохобор, смотреть противно!

Он оттолкнул Гурария от окна и с треском захлопнул двойные рамы.

Ярина слышала весь разговор, потому что Кувшинников, горя лучезарным пафосом, не сдерживал голос. Она дождалась, когда Гурарий подойдет к ней, и зашептала:

— Ты не плачь, Гурушка. Мы придумаем что-нибудь. У меня гривна есть. Сейчас по бабам побегаю, одолжу денег, наскребем мы тебе эту чертову подать. У Хрисанфа чуток возьму, у ребят его: нечего им по мне задаром ползать.

— Не надо, Ярочка. Я ж всех твоих баб лечил, они сами в долгах как в шелках, и что сейчас скажут? Что Гурарий совесть потерял, за лечение деньги требует.

— Ой, дурень ты, Гурарий, ой, дурень! Все доктора берут. Доктор Стжыга не стеснялся. Чем ты хуже?

— Спасибо, радость моя, но обождем. Я в синагогу пойду, там одолжусь. Мы же раз в месяц по копеечке жертвуем для таких случаев, вот я и попрошу у них.

XXII

Закончилась вечерняя молитва. Реб Менахем-Мендл закрыл свиток Торы и бережно спрятал его в ковчег. Молитвенный зал синагоги был переполнен. Такое количество людей здесь бывало только по большим праздникам: на Песах — это уж так Бог повелел; на Шавуот, когда был Моисею дарован закон на горе Синай; и на веселый, легкомысленный Суккот.

Но чтоб в обычный рабочий четверг собралось столько народу, такого збышовская община не помнила. А косноязычный, кривобокий землекоп, который приютился в дальнем, самом темном уголке, говорил соседу, что даже в Вене, где иудеев больше, чем зерен в фараоновых амбарах после семи тучных лет, по четвергам стольких людей на молитве не бывает.

Истово молился казначей Барак, который получил фамилию Либерлихт — Свет Любви; возносили хвалу и Велвл Мошенник, и Меир Пинхасевич, и Бенцион Крестовоздвиженский; благодарили Создателя за доброту Абрамовичи, Позолотники, Фурманы. Вильнеры — и те благодарили. И балбес Довид Перельман искренне раскрывал сердце для молитвы, а балбес Иссахар Бриллиант не менее искренно проковыривал нос. И даже те немногие, кто еще не успел получить фамилию и оставил это муторное дело на завтра, тоже молились из последних сил.

А на галерее второго этажа сидели их жены в черных вороньих перьях и усердно повторяли в душе все, что читал Менахем-Мендл.

Молитва закончилась, но никто не расходился, будто и не было ни у кого дел дома. Все чего-то ждали. Менахем-Мендл благословил людей и сошел с возвышения. Из-за суконной занавески, которая прикрывала дверь, ведущую в личный дом реба, худой, облачной тенью выхромал Гурарий и, стараясь казаться еще меньше, робко подошел к раввину.

— Долгих вам лет жизни, адойни — господин мой, — прошептал он.

— Здравствуй, Гур-Арье, сын Эльякима. К несчастью, фамилию твою позабыл. — Менахем-Мендл замолчал и стал беззвучно шевелить губами, вспоминая, как же зовут Гурария в соответствии с государственным свидетельством. — Эх, стар стал совсем, в голове ничего не держится.

Гурарий поднял голову на раввина и еле слышно сказал:

— Просьба у меня к вам, адойни.

— Конечно, Гур-Арье, в молитвенном доме я готов исполнить любую твою просьбу, если это в моих силах. Что хочешь ты?

Гурарий помялся смущенно:

— Ребе, это очень личная просьба.

— Какая же может быть у правоверного иудея просьба, чтобы он не мог ее открыто высказать перед всеми. А может быть, ты не иудей?

— Иудей…

— Так зачем скрываешься от братьев своих по вере? У нас — общая судьба. Не стесняйся, говори открыто, что тебе нужно от общины?

— Ребе, адойни, не могли бы вы одолжить мне немного денег?

— И сколько же тебе надо?

— Хотя бы двадцать две с половиной копейки… на самую нищую фамилию.

— Но самая нищая фамилия ничего не стоит. Значит, деньги тебе нужны не для этого. Зачем ты обманываешь нас?

Гурарий молчал. Он уже все понял и только не знал, как правильно уйти, но Менахем-Мендл еще не закончил.

— Барак, сын Иегуды, Либерлихт, ты — казначей нашей общины. Скажи, есть ли у нас деньги для Гур-Арье, сына Эльякима?

— Нет, реб, — смиренно отвечал Барак. — С того дня, когда Государь Император вдвое поднял налог, мы все деньги отдали людям, чтобы помочь им получить достойные фамилии, чтобы никто не бросал им в лицо, что они гнусные Фаулеберы и вшивые Штинкенванцы.

— Правда, Барак, сын Иегуды? А как же так получилось, что налог внезапно поднялся вдвое?

— Никто этого точно не знает. Говорят, что какой-то предатель народа своего под покровом ночи пришел к господину чиновнику Правительствующего Сената и потребовал справедливости.

— Как? — ужаснулся Менахем-Мендл. — Но разве он не знал, что, когда сильным мира сего напоминают о справедливости, страдают слабые? И как же зовут этого лживого доносчика, этого Каина, этого приятеля свинарей, которые торгуют безбожным мясом за золото, да еще распускают нелепые слухи, будто служители нашего единого Бога могут прятаться от врагов в толще свиного навоза? Как его зовут? Ты не знаешь, Гур-Арье, сын Эльякима?

В молитвенной зале стояла такая тишина, что было слышно, как пять с половиной тысяч лет назад Бог отделяет свет от тьмы.

— Но подожди, Гур-Арье, сын Эльякима, ты же богатый человек! Ты же лечишь людей, а ремесло лекаря — очень доходное. Лекарь за визит к больному берет не меньше полтинника, так ведь?

— Я… Я не знаю…

— Как же ты не знаешь? Доктор Стжыга так и делал. А ведь ты многих лечил. Люди! Поднимите руки, кого хоть раз вылечил Гурарий?

Триста рук — не меньше — поднялось в ответ на призыв Менахем-Мендла.

— А теперь поднимите руки, у кого Гурарий хоть раз вылечил жену?

И снова триста рук вознеслось над рядами, словно хотело выложить последний ярус Вавилонской башни.

— А кому он вылечил сына или дочь, брата или сестру, отца и мать? А скотину у кого вылечил?

Руки теперь не успевали опускаться.

— Видишь, Гур-Арье, ты же очень богатый человек — у тебя сундуки ломятся от червонцев. И при таком богатстве у тебя хватило совести, чтобы прийти в Божий дом и рядом со свитком священной Торы приставить нам к горлу нож, нагло требуя какие-то деньги?! Ну, возьми! Возьми у нас последнее!

Менахем-Мендл порылся в парадном лапсердаке и швырнул под ноги Гурарию полустертую полушку.

— Возьми, возьми у нас! — закричали все, и в Гурария полетел град медяков. Они били его, словно пули, попадая в лицо, шею, руки. Один шелег с острым срезанным краем угодил ребром прямо в глаз.

Гурарий трехногой черепахой поковылял к дверям, закрываясь от летевших в него со всех сторон денег, которые почернели от времени. Он вывалился во двор и с трудом допрыгал до улицы, отворил непослушными пальцами калитку и припустил в сторону дома.

Что творилось у него на душе, он не смог бы объяснить и сам. Это не было ни пустотой, ни тьмой, ни обидой — это было ничем, потому что душа была пуста, Дух Божий покинул ее. Он вбежал во двор. Навстречу ему внезапно бросилась зареванная Ярина и повалилась в ноги.

— Ох, Гурушка, прости ты меня, слабоумную! Прав ты был: никто гроша ломаного не дал! Отец Екзуперанций всему селу запретил. А Хрисанфу — пан Чур-Бесюченя. Возьми мою гривну. Нет у меня, мерзавки, больше ничего.

Гурарий ничего не понял. Это было какое-то наваждение! А Екзуперанцию где же он на мозоль наступил?

Ярина всхлипывала, бормотала о чем-то, и постепенно его слух вычленил одну фразу из ее бессвязного бреда:

— Отец Екзуперанций пригрозил всем, что, кто поможет тебе, тот навек без водки останется.

— Подожди, я не понял, а при чем здесь ваш священник?

— Господи! Какой же ты блаженный! Неужели ничего не видишь? Менахем-Мендл ему пейсаховку оптом поставляет, а отец Екзуперанций с матушкой христианам уже в розницу продают!

Гурарий стиснул голову руками, словно пытался защититься от этой новости. Вдоль по чешуйчатой Щаре луна прочертила рваную рыжую полосу, как кайму по ночной мантии.

— Гурарий, ну не сиди же сиднем, делай что-нибудь! Все село знает, что писарь на Рахиль глаз положил! Он не отступится; он жадный, как козодой — вцепится в вымя и до крови сосать будет. Ах, что ж я его бадьей вместо миски не огрела!

— Рахл? — удивленно посмотрел на Ярину Гурарий. — Все село? А почему мне никто ничего не сказал?

— Да что ты как дите малое? Скажешь тебе, как же! Ты ж только травки свои знаешь, примочки, присыпки; по полю идешь — и смотришь, как бы червячка не раздавить. Гурарий, сожми свои разумелки, иди к пану Мартыну! Кроме Подрубы, тебе никто не поможет. Все предали тебя!

— К пану Мартыну? Да, да… А что я ему скажу?

— Ой, ты и дурак набитый! Денег попросишь! Два целковика! И швырнешь им в рожи щур-пацучиные!

— Так деньги ж отдать нужно будет, а я с чего отдам?

Ярина не выдержала и вывернула на Гурария такой многопудовый псалом, что лейб-гвардии Виленский Его Императорского Величества кавалергардский полк ушел бы в монастырь замаливать человеческие грехи. Знать, от Хрисанфа нахваталась.

— Ты Подрубе на тысячу рублей наработал! Он места себе не находит, чтобы тебя отблагодарить.

— Ох, Яриночка, не знаю я…

Рассерженная Ярина вскочила с чурбака, на котором сидела, и хотела сама волоком поволочь Гурария к пану Мартыну, как бурлаки волокут баржи по Двине, но он сказал:

— Нет, ты лучше здесь побудь, возле деток. Плохо спят они, когда меня нет. Вдруг их испугает кто… Если со мной что-нибудь случится, скажи, чтобы Рахиль не упрямилась и за Барнука выходила. Больше ей никто не поможет.

— Да иди ты, чумовой! Что с тобой может случиться? Если только Подруба свининой ненароком накормит.

Гурарий с трудом поднялся и пошел через дорогу к воротам Подрубового дома. Ярина пристально следила за ним, чтоб в последний момент он не передумал и не свернул в сторону. Но Гурарий честно доплелся до ворот и постучал в них.

XXIII

— Доигрался со своей скромностью! — сердито сказал Подруба, выслушав Гурария, и осекся, потому что понял, что вымолви он еще хоть слово, и Гурарий уйдет.

Гурарий сидел в середине гостевой комнаты под несущей балкой на колченогой, как и он сам, табуретке, и видно было, насколько тяжело ему дался откровенный рассказ о своих бедах. Он закончил исповедь и потупил глаза, уставившись на мокрицу, которая тщетно пыталась найти щель меж плотно подогнанных друг к другу половиц.

— Я его убью! — хлопнул огромным, что кувалда, кулаком по столу Барнук, вскочив с лавки.

— Сядь ты, убивака! Кого ты убивать собрался? — осек его Подруба. — Я тебя еще за сегодняшнее не допорол.

— Да заморыша этого чернильного.

— Ага! И на виселицу пойдешь. Я к губернаторам хоть и вхож, да не дальше кухни.

— Ты, батька, почему ему раньше не платил?

— Да ты что, Барнук, с дуба навернулся? Он гордый, а я не ксендз, чтобы ко всем с поучениями лезть. В общем, что теперь говорить?

Подруба достал кошель, в котором по весу серебра было рублей на двадцать, и протянул Гурарию:

— Держи.

— Нет, нет! — отшатнулся Гурарий. — Пан Мартын, это много. Мне б только два рубля. Ненадолго. Я отработаю.

— Мыло-мочало, начинай сначала! Нет, Ярина все-таки права, ты дубина стоеросовая. Бери. Что не понадобится, в синагогу на бедных… Ах да, я и забыл, что тебя теперь туда и калачом не заманишь. Ну, справишь Рахили приданое, что ли.

Гурарий взял кошель с такой осторожностью, словно боялся ошпариться, развязал его, достал бережно два рубля, а остальное положил на край стола.

— Пускай пока у вас полежит, пан Мартын. Я к таким деньгам непривычный, чего доброго — потеряю.

Подруба только глаза закатил, словно искал взглядом тот крюк, на котором можно повеситься, чтобы не видеть этого шута горохового.

— Спасибо вам, пан Мартын, Рахл клянусь, Ёселем, всеми детьми своими, праотцом Авраамом, век этого не забуду! Пойду я отдам их побыстрей, а то деньги эти мне карман жгут.

— Батька, я с ним, — снова встрял Барнук, — а то обманут его.

— Ну куда вы сейчас пойдете? Ночь на дворе: и писарчук, и этот пчеложор уже седьмой сон видят.

— Нет, быстрей надо — убежденно возразил Гурарий, — а вы, пан Барнард, за меня не волнуйтесь: там во дворе Ярина дожидается, она меня не бросит.

— Хорошая девка Ярина, хоть и шлендра, — хмыкнул Подруба. — Я б ее с удовольствием к себе переманил только ради того, чтоб на кислую рожу Екзуперанция полюбоваться, да боюсь за целомудрие хряков своих. Они ж вдвоем с Даркой тут такое светопреставление устроят, мама не горюй!

Гурарий поднялся с табурета и, поминутно кланяясь Подрубе, вышел из усадьбы. Пан Мартын замкнул за ним ворота, навесил на них дубовый брус и, возвратившись в дом, сказал:

— Знаешь, Барнук, завтра с самого утра пойдешь к этому Щур-Пацучене и проследишь, чтобы он свою хориную натуру в узде держал. Что-то у меня душа не на месте.

XXIV

Гурарий стоял на перекрестке главной збышовской улицы и старого слонимского шляха. Ведущая к плебании длинная улица вся насквозь, на всю свою версту с лишком, просвечивалась лунным светом. Месяц налился соком и торчал на шпиле колокольни, как лимонный леденец на палочке, который Гурарий когда-то купил для Рахили в стольном Гродно.

— Ярина, — тихо, чтобы никто другой не услышал, позвал он.

На дворе не было ни души. Не дождалась Ярка, убежала, метя подолом. Делать нечего: придется идти к господам чиновникам одному. Хоть бы никакая собака по пути не привязалась! Опасался Гурарий чужих собак, недолюбливал. Особенно сторожевых. Сидит такая на цепи перед костью с хозяйского стола, зубы скалит, рычит на тебя, охраняя какой-нибудь сарай; и такая у нее в глазах значимость, такое уважение к себе поднимается, что мимо не проходи, а то загрызет, чтоб по улице, где они с хозяином жить изволят, не ползали всякие козявки мелкие!

— Яринка!

Тишина. Нет людей.

Гурарий сделал два шага, но вдруг всполошились в липах удоды, что-то зашуршало, и из темноты на дорогу вышел пан писарь. Что он здесь делает? Щур-Пацученя плотоядно смотрел на Гурария и улыбался.

— Гурарий? Явился — не запылился. Как раз вовремя. Сегодня-то последний день будет.

— Знаю, пан писарь. Хорошо знаю. Вот и деньги для вас достал.

— Деньги? — в голосе Щур-Пацучени заиграла строевая флейта. — Значит, дал-таки Подруба. Вот неуемный старик!

— Деньги, деньги! — радостно подтвердил Гурарий. — Целых два рубля.

Он суетливо сунул руку за пазуху, вытащил тряпицу и, развернув ее, показал Щур-Пацучене две еще не стертых, тяжелых серебряных монеты, которые блеснули в его испачканной руке, как два солнечных зайчика.

— Возьмите, пан писарь. Теперь у меня будет фамилия. Хорошая фамилия. Детей моих никто Фаулеберами не назовет! С такой фамилией их даже в Воложинскую иешиву примут! Я уже придумал — буду называться Гербалист! Правда, красиво?

Щур-Пацученя вопросительно наклонил голову:

— Гербалист? Что-то я такого слова не припомню…

— Гербалист — это значит «травник», по профессии моей. А что, некрасиво? Тогда можно, например, вместо Гербалиста записать «Нерд». Это тоже

«травник». Нет, я знаю, что за ремесленную фамилию надо меньше налога, но ведь это очень красиво звучит.

Пан Станислав взял у него солнечные зайчики, задумчиво подбросил их на ладони, вернул Гурарию и сказал даже с некоторым сожалением:

— Ярина все-таки права. Ты исключительный дурак набитый. Таких больше нет. Даже жаль тебя почему-то немного.

Гурарий удивился.

— А откуда вы знаете, что она меня так называла?

— Полиции все известно. Только дело в том, Гур-Арье, сын Эльякима, что я передумал. Не нужны нам эти деньги. Я сам заплачу за тебя налог, а ты мне в порядке благодарности отдашь Рахиль.

Гурарию показалось, что он ослышался.

— Рахиль? Пан писарь, да вы что? Побойтесь Бога! Как это живым человеком, молодой девочкой оброк платить?

— Да, Рахиль. Я в Слониме — личность не из последних, годовой доход двенадцать рублей имею, с господином городничим на дружеской ноге. Я сниму для нее угол, буду платить за него, ей на расходы буду давать по шесть рублей, устрою горничной или поварихой в хороший дом, а годика через два, глядишь, если она со мной характером сойдется, женюсь. К тому времени она про тебя и думать позабудет.

— Пан писарь, пан писарь, что вы делаете?! Да я до губернатора... до Государя Императора... до казенного раввина в Петербурге дойду!

— Иди, — зевнул Щур-Пацученя, — только избавь меня от необходимости слушать твои бредни. Нет человека — нет фамилии! Все очень просто. Собирай дочку, завтра уезжаем. Хе, а Екзуперанций-то с Менахем-Мендлом — жуки! Как грамотно все село на деньги развели! Надо будет и в Слониме такую коммерцию попробовать.

Он повернулся, чтобы уйти, но в этот момент из-за плетня показалась какая-то темная фигура. Она вышла на свет из тени деревьев, и собеседники узнали Ярину.

Кухарка, поигрывая телесами, приблизилась к ним и сказала Гурарию:

— Гурушка, я в хате была, а то Ёсель заплакал, я ему сказку рассказывала, чтобы успокоился. Иди тоже отдыхать, утро вечера мудренее. А с тобой, сморчок похотливый, у нас долгая любовь сейчас будет.

Она схватила Щур-Пацученю в охапку так, что он потерялся в ее объятиях, и поволокла его во тьму на берег Щары.

XXV

На следующее утро из пенного, запутавшегося за камыши надщаровского тумана, словно богатырская Афродита из пены, вышла довольная Ярина и за воротник вытянула за собой неживого пана Станислава. С первого взгляда можно было подумать, что господин писарь изволит воинскую службу проходить в героическом Ольвиопольском гусарском полку, который покрыл себя неувядаемой славой при штурме Очакова, потому что у него были зеленый доломан, зеленый ментик, зеленый кушак, зеленая ташка и зеленый чепрак. Морда была тоже зеленая, покойницкая, а взгляд окаменел так, словно он по-пластунски полз до Збышова аж от самого прекрасного голубого Дуная.

Ярина же, напротив, была умиротворена и полна сил, как истинная барыня, что ведет на поводке издыхающего мопса. На улице им с мопсом встретил-

ся Барнук, который поправлял голенища сапог, подбитых на носках коваными подковками.

— Привет, Барнучок, — всем телом потянулась навстречу солнцу Ярина. — Куда так рано спешишь?

— Да вот батька в плебанию отправил, иду посмотреть, чтобы этот хлыщ чего-нибудь не вытворил, — ответил Барнук, разминая кулаки, каждый из которых напоминал колодезное ведро. — А чего это он вроде как и неживой?

— Да понимаешь, жениться захотел барин. Вот и попросил меня научить его уму-разуму.

— Научила? Сейчас и я поучу!

— Да где там научила! Совсем дохлый шляхтич нынче пошел, не чета прежним временам. На втором разе свечку погасил и в гроб лег. Я уж его и так, и эдак… Только лежит, хнычет и просит отпустить его подобру-поздорову. Выбила война настоящих мужиков! Э, Барнучок, ты его не пугай, а то он прямо здесь концы отдаст, помоги лучше его до места довести. Гурарий спит еще?

— Спит, наверно, — пожал плечами Барнук и щелкнул крышкой отцовских часов. — Почти час здесь стою и никого не видел.

Он подошел к пану Станиславу, поставил его в положение, максимально приближенное к вертикальному, и угостил пинком железного сапога, так что пан Станислав за одно напутствие преодолел почти треть улицы.

За заборами стояли ранние зеваки и прохаживались по адресу очаковского героя, но увидев бешеные, медвежьи глаза Барнука, сразу замолкали и спешили разбежаться по хатам.

Щур-Пацученя, безголосо подвывая, ввалился в шатер и упал плашмя в угол, раскорячив ноги — не сходились они воедино почему-то. Он провалился в неустойчивый сон, но как назло всем сразу понадобилось его участие.

Сперва Хрисанф с ребятами, гремя казацкими остротами, интересовались, когда можно будет сворачивать палатку и запрягать тарантас. Затем отец Екзуперанций долго и муторно читал над ним из Екклесиаста о вреде внебрачного блуда. Матушка Вевея притащила горшок какой-то чудодейственной мази и уговаривала помазать чресла, «пока люэс не загноился». Чуть позже потянулась сельская общественность, которой до упаду потребовалось узнать, где в Слониме располагается полицейское благочиние, и правда ли, что к Наполеону на помощь с несметной дружиной крымский хан.

Ярина, причитая над его горькой долей, поинтересовалось, будет ли пан Станислав на завтрак кушать яичницу из двух битых яиц. И в довершение всего казарменными шутками отметился Кувшинников.

— Вставай, Станиславе! — гремел он, укладывая в саквояж сверток с пофамильным налогом. — Рога трубят!

Щур-Пацученя насилу поднялся, очинил новое перо и, отклячив зад, стал подсчитывать, сколько же налога заработали они с Парменом Федотовичем. Он кремзал корявые цифры на листе, вырванном из метрической книги, сбивался поминутно, перечеркивал, но в итоге пришел к выводу, что собрали они на круг почти триста двенадцать рублей! Разделим на два… Отнимем накладные расходы… Да за такие деньги в управе пану Станиславу полтора года корячиться надо!

Из членов общины неохваченным остался только Гурарий. Но оказалось, что — не только!..

Несмело покашливая и опираясь на лопату, в шатер вошел тот скособоченный, шепелявый землекоп-переводчик, который говорил со всеми известными акцентами. Он подслеповато поклонился Кувшинникову и сказал:

— Я фамилию хочу получичь ешть.

— Как зовут? Станислав, проверь.

— Йожеф, сын Нетанэля.

Щур-Пацученя пробежался по списку членов общины — и не нашел Йожефа. Просмотрел внимательнее — и опять не нашел. Еще раз с перышком сверил матрикул сверху вниз — не было Йожефа!

— Что-то тебя Менахем-Мендл не зарегистрировал.

— Меня в этом шпишке не будет. Я не ждешний ешть.

— А какой ты ешть? — передразнил его Кувшинников.

— Я подданный Его Императоршкого Величества Франча ешть.

— Императора Австрии Франца? — непроизвольно начал вытягиваться в струнку Пармен Федотович.

— Ну, так ешть!

— Да как же тебя в наши пенаты занесло, любезный? — расплылся в улыбке Кувшинников, чувствуя искренний решпект к представителю просвещенной Европы.

Йожеф, сын Нетанэля, запнулся, подбирая слова, и медленно проговорил:

— Я в обоже княжя Шварценберга возчиком был. Фураж возил ешть. Меня ждесь ошколком в шпину ранило ешть. Княжь Шварценберг отштупачь ш Наполеоном, а я тут ошталшя выждоравливачь.

— Значит, ты француз? Масон? Оккупант?

— Найн франчуж! — рьяно замахал руками Йожеф, словно призрак свободы, равенства и братства. — Найн оккупант! Я авштриец ешть, подданный императора Франча ешть! Наполеон капут! Я в город Браунау родилшя. Меня в обож мобилижовачь, за лошаджьми ухаживачь. Я мирный человек ешть.

— Понятно, понятно, — отмахнулся от него Кувшинников, — тебя заставили.

— Так, так! Заштавили ешть!

— А фамилии вам разве император Франц не выдавал?

— Никак нет, пан, не дал фамилий, не ушпел. Я фамилию хочу.

Кувшинников довольно откинулся на спинку стула и потер руки:

— Видишь, Стась, до чего докатилась, с позволения сказать, просвещенная Европа? Человека, божью тварь, в безымении подлом оставляют. Конечно, любезный, дадим мы тебе фамилию, утрем нос антихристам! Ты как прозываться хочешь?

— Пармен Федотович, — зашептал Щур-Пацученя, — да что вы делаете? Как можно такой афронт допустить, поперек батьки в пекло лезть? У нас на него и документов никаких нет. Вдруг он иезуитский шпион, специально сюда посредством ранения коварного заброшен, чтобы прижениться, хозяйством обзавестись, а потом врагов народа усердно плодить?

— Остынь, Фома неверующий, — брюзгливо скривился Кувшинников, — видишь, рабочий человек в поте лица своего хлеб зарабатывает. Выпишем ему документы, помощь союзнику окажем. Скажи, Йожеф, сын Нетанэля, какую фамилию ты выбираешь?

Землекоп выложил на стол перед Щур-Пацученей горстку монет. Пан Станислав пересчитал их.

— Рубль восемьдесят пять.

— Я фамилию трудовую хочу, но крашивую хочу. Чтобы все видели, как труд прекрашен ешть. Я домой вернушь, женитьчя буду, жене и детям крашивую фамилию дам.

— Пармен Федотович, здесь еще пятиалтынного не хватает.

— Подожди, пан Станислав. Что ты за хомяк такой: все за щеки запихнуть готов! Трудовую, значит…

— Так, так! Трудовую.

— Хм, задал ты нам задачку, землекоп. О! Может, тебя так и назвать: землекопом, по-немецки — Грубером?

— Грубер — то очень хорошая фамилия ешть, только короткая. Надо крашивее, длиннее.

— Ну, дорогой, — подпустил в голос отеческой серьезности Кувшинников, — ты же знаешь, что очень красивая фамилия дороже стоит. При всем моем искреннем уважении к тебе лично и к императору Францу в особенности я закон нарушать не могу.

Йожеф вздохнул горько, подумал несколько секунд и полез в потайной карман. Он вытащил оттуда маленькую серебряную монетку, с сожалением посмотрел на нее, поцеловал прощально и решительно бросил на стол.

Кувшинников и Щур-Пацученя склонились над белым кругляшом, игриво сверкавшим под солнцем.

— Это я в жемле нашел, когда ребу яму для отхожего места копал. На шчастье вжял. Это правда ешть. Штолько хватит?

Господа чиновники вперились в монету. Перед ними лежал настоящий виленский чворак[1] короля Жигимонта Августа — звонкий, упругий, яркий и ничуть не подернутый патиной!

— Пармен Федотович, — прошептал одними губами так, чтобы Йожеф не слышал, Щур-Пацученя, — это ж раз в десять подороже пятиалтынного будет! Я таких и не видал никогда, только от батюшки о них слышал. В наших краях его сиклем называют в честь библейских денег.

— Так, так! — улыбнулся проситель, расслышав заветное слово. — Настоящий шикль ешть.

Пармен Федотович не мудрствуя лукаво пригреб землекопские деньги и, зарумянившись от удовольствия, что масленичный блин, постановил:

— Молодец, Йожеф, сын Нетанэля, порадовал душу! Черт, смешно ты шепелявишь! Ну, пан Станислав, раз такое дело, запиши его, например... Шикльгрубером. Тут тебе и сикль, тут тебе и ямы. Езжай, Йожеф, в родную Австрию, и пусть у тебя много детей будет!

Шикльгрубер возрадовался до самой селезенки и, поминутно кланяясь и благодаря за понимание, вышел из шатра. А напоследок даже пообещал когда-нибудь потом со всеми соотечественниками наведаться в гости.

XXVI

Пан Подруба чуть ли не полночи не спал. В четыре часа его разбудил свинарь и сказал, что супоросая Княгиня волнуется. Пан Мартын вскочил и в чем был — в ночной сорочке и в исподниках — побежал в свинарник. Красно-пестрая датская Княгиня была отселена в дальний закут и встревоженно похрюкивала, громоздясь сальными телесами на охапку сена. Степан сидел рядом и бдительно следил, чтобы Княгиня ненароком не проглотила ничего, кроме свекольного жома, который уже был приготовлен для нее в ушате.

---

[1]Чворак — редкая серебряная монета чеканки 1565—1569 гг.

Вот тут бы Гурарий и пригодился, потому что Степан при всех своих достоинствах был нетерпелив и мог даже разозлиться и обругать матку, которая слишком долго ни мычит ни телится. А свинья, по местному поверью, в таких случаях кровно обижалась и могла в отместку сожрать весь приплод.

Товарки Княгини хоть и были отделены от роженицы глухой дубовой дверью, все же чуяли ее состояние и встревоженно точили лясы, словно подвыпившие матроны на крестинах. Отец Дюк по обыкновению храпел после сытного ужина, который в свое время плавно перетек из питательного обеда, а тот, в свою очередь, из не менее обильного завтрака.

Пан Мартын, просидев вместе со Степаном два часа возле Княгини, убедился, что пороситься она начнет ближе к полудню. Он вернулся в дом и растолкал Барнука, отправив его в плебанию приглядеть, чтобы Щур-Пацученя на закуску не выкинул какой-нибудь крючкотворский фортель.

Он занимался своими купеческими делами, подсчитывая торговую цифирь, и изредка поглядывал в окно на Барнука, который в свою очередь наблюдал за хатой Гурария. Барнук ходил по перекрестку взад-вперед, как кот около сметаны, и не решался зайти на гурарьевский двор. То ли чтобы не разбудить никого, то ли чтобы не показать Гурарию, что Подруба решил за ним присматривать.

Потом пан Мартын увидел, как откуда-то со стороны к Барнуку подошла Ярина. Пообочь с Яриной сам пан Станислав — в гроб краше кладут.

Подруба злорадно оскалился: зная склонности Ярины, он не сомневался, что кухарка преподала полицианту практический урок оголтелой женитьбы. Барнук от всей души угостил Щур-Пацученю пинком, и все трое скрылись из глаз.

Пан Мартын еще с часик поработал, прикидывая, за сколько и куда он продаст очередной выводок, распределил деньги по надобностям, вспомнил, что не мешало бы закупить у мельника Агапа еще полдюжины возов жмыха. Потом он наскоро позавтракал всухомятку, съев кусок ячменного хлеба, надел рабочие штаны и вышел во двор. Дарка выгоняла коров на пастбище, выговаривая пастуху Лейзеру, который отныне был не просто Лейзером, а Лейзером Анучкесом, что он вчера не уследил за стадом и пустил его в заросли дикой чины. А теперь у светло-серой швицкой Ласушки от этого зловонная отрыжка и тоска в глазах.

Подруба потянулся сладостно, наклонился, чтобы поправить завязки на лаптях — в свинарник он в сапогах не заходил из-за цены их немаленькой, — и вдруг увидел, что в уголочке крыльца, у самого косяка двери что-то блеснуло. Он присмотрелся и с недоумением понял, что это блестят те самые два рубля, которые он вчера насильно всучил Гурарию.

Что за черт! Откуда они здесь взялись? Гурария за ворота он провожал лично и готов был святым Василием поклясться, что тогда денег на этом месте не было. Неужто?.. Собака ночью не лаяла, ну так она и не стала бы лаять, потому что Гурария знала и ласкалась к нему, как к лучшему другу.

Подруба побежал в будку, где спал ночной сторож. Ворвался туда, шваркнув наотмашь дверью о стену, и схватил сторожа за грудки.

— Павка, просыпайся, лодырь! Кто здесь чужой ночью был?

— Господь с вами, пан Мартын, никого не было. Тихо ночь прошла. Как вы ворота заперли, так никто чужой и не приходил.

— А Гурарий? Гурарий был?

— Гурарий был. Приковылял, как первые петухи пропели, сказал, что хочет на Княгиню посмотреть. Так ведь Гурарий не чужой.

— А как он выходил, ты видел?

Павка потер сонные глаза, наморщил лоб и ответил:

— Нет, как выходил — не видел. А чего мне смотреть? Гурарий же не то что чужого не возьмет, а еще и своего добавит.

— Ах ты... — взбеленился Подруба, оттолкнув бестолкового Павку обратно на лежанку. — Вот он и добавил! Вот и добавил, холера!

Он выбежал на двор, смяв всем своим весом замешкавшуюся в воротах Дарку, и побежал к Гурарьевой хате. Рахиль в это время выходила из курятника, где черная, как ворона, и старая, как осень, единственная курица соизволила наконец-то расщедриться яйцом.

Подруба налетел на нее, как коршун:

— Рахиль, девочка, где отец?

Рахиль непонимающе посмотрела на него.

— Не знаю, пан Мартын, с вечера его не видела. Я думала, что у вас роды принимает.

— Да не было его у меня! Как в полночь ушел, так и с концами.

Рахиль побледнела:

— Может, его кто-нибудь на помощь позвал? Но почему Ярина не предупредила?

— Кто? Кто его мог на помощь позвать? Этому селу уже ничем не поможешь! Ой, чует мое сердце, плохо дело! Рахл, бросай это чертово яйцо — надо батьку искать. Слышь, вы, — рявкнул он на сыновей Гурария, которые уже навострили ноги, готовясь бежать по команде Подрубы в разные стороны, — сидеть дома и за плетень не выходить!

Он собрал свою дворню, оставив на хозяйстве только Степана и Дарку, и отправил всех прочесывать мелким гребнем окрестности. И сам с Рахилью пошел.

Почти час они ползали по кустам, заглядывали на крестьянские отрубы, спрашивали всех встречных, но Гурария никто не видел.

— Ох, ушел он! — стонал Подруба, и в голосе его трубило отчаяние погибающего в трясине лося. — Ох, ушел! Понимаешь, девочка, понял, что не даст ему этот крысеныш жизни: или на весь свет гадкой фамилией опозорит, или высмокчет, как паук муху! Ушел, чтобы спасти вас. Без него-то тебе и детям малолетним фамилию никто навязывать не будет!

— Пан Мартын! — взмолилась задыхающаяся Рахиль. — Если ушел, то не найдем мы его. Он уже, поди, далеко. За ночь мог аж за Рыгали уйти, а если лодку взял, то уже к Слониму подплывает.

Подруба обругал себя бранным словом. Они побежали к мосткам, пересчитали челны, но все до единого были на месте. Тогда пан Мартын вернулся в усадьбу, взял собаку и пустил ее по следу.

Пес рвался с поводка и тянул их за бревенчатый мост на ту сторону реки. Подруба и Рахиль еле поспевали за ним. Неуемный кобель гавкнул на старого лиса, который высунул ехидную морду из еловых лап, но Подруба так цыкнул на него, что пес прижал уши.

Они выбежали на маленькую полянку, на которую сквозь густую листву, как сквозь сито, брызгали солнечные лучи, и здесь внезапно увидели Гурария. Он висел на сломанном суку и упирался носом в заскорузлый осиновый ствол.

Негнущаяся нога была неестественно отставлена и, казалось, хотела обнять дерево, чтобы еще немного подержаться за жизнь.

Рахиль вскрикнула и без чувств повалилась на землю. Пан Мартын отправил пса за подмогой, а сам достал перочинный ножик и перерезал конопляную веревку. Тело Гурария медленно сползло по стволу на траву.

Подруба трясущимися руками уложил Гурария у комля, попытался выровнять откляченную ногу, но культя не поддавалась и упорно отползала в сторону. Пан Мартын закрывал ему веки, но и мертвые веки никак не хотели принять данное им от Бога положение, как и подобает у порядочного покойника.

— Ах ты, дурень! — плакал пан Мартын. — Вот ты ж дурень! Даже повеситься не сумел. На осину полез! Теперь же вся эта хевра слух пустит, что Гурарий на Иудином дереве удавился! Что ж ты гордый такой был, сволочь?

Прибежала дворня, подняла Гурария и понесла. Две служанки вели под руки распотрошенную Рахиль. Труп унесли в хату.

Пан Мартын вошел в свою гостиную, свалился на лавку и долго сидел, не обращая внимания на радостный визг свиней, которые приветствовали прибавление у Княгини. Потом вдруг резко поднялся, схватил обеими дюжими руками дубовый стол и со всего размаху запустил им в стену. Стол грохотнул пушечно и расколотил вдрызг почерневший, закопченный временем и лампадным чадом образ.

Этот батарейный залп разозлил Подрубу. Он выбежал на двор, вырвал из рук Павки тяжелый топор и быстро пошел по улице, в конце которой еле виднелась из-под кипящих лип плебания.

— Ой, батюшки, держите его! Он же господ чиновников зарубит! — истошно завизжал женский голос.

В шатре Пармен Федотович приказал драгунам приторочить его сундук к тарантасу и довольно потянулся:

— Ну что, пан Станислав, не пришел твой травник? Денег не нашел и не захотел позориться? Ладно, вписывай ему какую-нибудь чушь, да погаже, и поехали. Надоело мне тут столичное просвещение распространять.

— Подождем еще немного, Пармен Федотович, — просительно согнулся Щур-Пацученя. — Придет он, непременно. Уж я-то знаю.

И вдруг по селу, словно далекий ураганный ветер, поднялась суховейная молва — сначала далеко, потом все ближе, ближе, мощнее, жарче:

— Гурарий повесился!.. Подруба с топором идет!.. Столичного чиновника убивать!.. Полицейского хорька на куски резать!..

— Что такое? — нахмурился Кувшинников.

А ветер нарастал, шумел, бурлил, и вот уже было видно, как плеснули вдоль улицы зеваки, и обильная, потная Ярина довольно вбежала в шатер, плюнула в лицо Щур-Пацучене и выкрикнула:

— Доигрался, крысеныш! Сейчас Подруба тебе гиюр устроит!

— Хрисанф! — взвизгнул Щур-Пацученя. — Остановить его! Арестовать! В кандалы!

— Ага, как же, останови! — вызверился в ответ Хрисанф. — Сам под топор лезь, если такой умный, а я против этого воевать не приучен. Нас в полковом строю шашками махать учили. Нечего было с девкой любострастничать!

Кувшинников выскочил в сад, увидел, как приближается огромная толпа, и побледнел. То, что в этой толпе только один Подруба шел с топором и

Барнук с дубиной, а все остальные бежали, чтобы занять первые ряды, как в цирке, он не знал, поэтому скомандовал:

— Хрисанф, запрягай, едем!

Драгуны в два приема оседлали лошадей, запрягли тарантас. Кувшинников ввалился в него, как медведь в берлогу, бросил за шиворот пана Станислава на козлы и завопил:

— Трогай!

Пан Станислав безграничным размахом огрел тройку. Застоявшиеся жеребцы охнули и рванули с места, бросив Кувшинникова в спасительную глубь под попоны. Щур-Пацученя наяривал упряжку кнутом, выворачивая ее подальше от площади на боковой проулок. Следом скакали казаки, то и дело оглядываясь назад.

Тройка вырвалась из Збышова, сделала еще два поворота и домчала до Щары. На том самом мосту Станислав притормозил, чтобы перевести дух, и посмотрел на дорогу.

— Не видно их? Отстали? — пролепетал он.

— Да вроде не видно, — пробурчал взволнованный Хрисанф.

Щур-Пацученя заулыбался:

— Вот мерзавцы! Все-таки взбунтовались. А помните, Пармен Федотович, я вас предупреждал, что подлый народ, с ними построже надо. Когда мы деньги делить будем по-честному? Пора бы уж.

— Предупреждал, предупреждал, — согласился Кувшинников. — Скажи-ка мне лучше, о какой это девке Хрисанф говорил?

— Да ничего особенного, — заюлил Щур-Пацученя, — мало ли девок в деревнях.

— Ага! Ничего особенного! — благородно и громко возмутился Хрисанф, потому что опасность осталась позади. — Он, ваше благородие, глаз на дочку травника положил, хотел ее своей полюбовницей сделать, а потом в варшавский бордель продать. Травник, наверно, от этого на себя руки и наложил.

Кувшинников оттянул форменный воротник, словно тот душил его, и покрутил одутловатой шеей.

— Это правда?

— Да что вы, Пармен Федотович! Как на духу! Господином городничим клянусь!

— Значит, правда, — покачал головой Кувшинников. — Ну что ж, пан Станислав, вот тебе твои деньги!

И он с силой, которую невозможно было предугадать в таком жирном, дебелом теле, ударом сапога сбросил кучера в реку.

— Что вы, Пар… — пискнул Щур-Пацученя, уходя под воду.

— Хрисанф, на козлы! — скомандовал Кувшинников. — Трогай!

Кавалькада гикнула и, глухо стуча копытами по пыльному проселку, понеслась прочь.

— Пармен Федотович! Ваше благородие! А деньги? — попытался дернуться вслед спасительному тарантасу Щур-Пацученя, но с ужасом обнаружил, что сапоги его почти по колено намертво завязли в густом и клейком речном иле. Он захотел вытащить ноги, но ил уже перетек в голенища и еще крепче замуровал его в этом липком, неотцепном растворе.

Пан Станислав осмотрелся по сторонам, стараясь найти какую-нибудь палку, чтобы опереться на нее и выбраться из речного плена, но ничего подходящего не увидел. Он посмотрел на левый берег и вдруг заметил на песке

стайку удодов. Такую немаленькую стайку: клювов на двадцать! Удоды сидели на берегу и с интересом наблюдали за паном Станиславом, приподнимая хвосты.

Из зарослей краснотала огненной стрелой выскочил старый лис, в два прыжка перемахнул через мостик и попытался напасть на удодов. Птицы по-гадючьи зашипели навстречь ему, защищаясь, грозно взъерошили гребни, и лис сбился с аллюра, неуверенно закрутился на месте с полуоскаленной пастью, потом тявкнул неуверенно и отступил. Зыркнул на Щур-Пацученю, который глядел на него с отчаянным подвыванием, и несолоно хлебавши скрылся в подлеске.

Справа раздалось заинтересованное мычание. Щур-Пацученя скосил глаза туда и обомлел: на правом берегу — в каких-нибудь двух саженях от него — стоял кучерявый бык Болеслав и пил воду. Его глаза были уставлены на пана Станислава и стремительно багровели.

Щур-Пацученя обернулся назад, где прачки на мостках стирали белье, чтобы позвать их, как вдруг бабы всполошились, загомонили, подхватили свои тряпки и наперегонки побежали от воды. Щур-Пацученя взвыл от отчаяния и забил руками, непроизвольно привлекая к себе внимание удодов и быка: по реке до него донесся гулкий деревянный стук. Это в усадьбе Подрубы открыли люк.

Перевод с белорусского автора.





Георгий КИСЕЛЕВ

И жаждой душа томится

Портреты

Я с детства не любил овал,
Я в детстве угол рисовал.

Павел КОГАН

Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.

Наум КОРЖАВИН

Вижу лица, одни только лица,
Остальное, ей-богу, не в счет.

Из моих ранних стихов

Я признаюсь вам в слабости этой:
С постоянством, достойным глупца,
С детских лет я рисую портреты,
И влечет меня тайна лица.

И влеченье все длится и длится,
Хоть и стал я и стар, и устал.
Я не в женщин влюблялся — в их лица,
И под взглядами их трепетал.

Проступали из быта, бывало,
Эти лица, как свечи из мглы.
Ну а кто-то рисует овалы
С детских лет или чертит углы.

И влекли меня тонкие грани
В том лице, где жила красота:
Сочетанье овалов с углами —
Носа, глаз, подбородка и рта.

От иных просто не было мочи
Оторваться — уж так хороши!
И казались прекрасные очи
Выраженьем красивой души.

И настолько же непогрешимой,
Что казалось — святою была.
Сколько ж было их — маской и ширмой
Бессердечья и тайного зла!

А теперь в переполненной церкви
Над поклонами сгорбленных плеч
Наблюдаю в глазах пересверки —
Блики верой затепленных свеч.

И во всех, покаянно бредущих
За прощеньем и в будние дни,
Вижу души, одни только души
И глаза, где мерцают они.

* * *

Нет, жизнь, ты мне не надоела,
Хоть иссякает интерес
К желаниям и чувствам тела,
Чем так прельщает мелкий бес.

А крупный бес на душу ставит
И мечет славу, ордена.
Душа гордынею сыта ведь,
А Духом Божьим голодна.

Не в состоянии насытить
Ее, как ты бы ни радел,
Ни черный хлеб молитв, ни ситный
Таких случайных добрых дел.

И скудость дел мне душу ранит.
Чем отчитаюсь пред Творцом?
И крупный бес сует мне пряник,
А мелкий манит леденцом.

Что ж, я порвал со злом и ложью,
С обманом сердца и ума.
Но благодать святая Божья
Ужель дается задарма?

* * *

Я что-то там скребу пером,
Бренчу, пиликаю.
И вдруг — как в ясном небе гром:
Живу с великою.

О нет, она — не из премьерш,
Простая, ладная.
Но утром говорит «поешь!»,
Еще подкладывая.

Не из речистых депутатш,
Что там дурачатся.
При ней с меня весь эпатаж
Слетает начисто.

Мне с ней прохладно и в жару,
Сыто без ужина.
С великой женщиной живу,
И незаслуженно.

Легко ей душу обнажить
Мою, взгляд суживая.
И мне б не просто с нею жить,
А жить прислуживая.

Хлопочет целый день, снует
По хате, бедная.
И я на жалости ее
Держусь над бездною.

* * *

Мы перекрыли солнце шторой,
И рядом с тенью, взаперти,
Подремывает та, с которой
Я грезил счастье обрести.

А счастье — что? Оно химера
Или развеялось, как дым.
Она проснется, скажет: «Гера,
Присядь ко мне, поговорим!»

И я пойду на лучик взгляда
На голос, милый мне давно,
И улыбнусь, и рядом сяду.
А счастье — где? Да вот оно!

* * *

Я многих людей прозевал,
Профукал я их биографии.
Но те, кого в жизни знавал,
Открытостью все мне потрафили.

Крутился я в братстве мужском,
Обласкан был женщиной нежною,
И кто-то, как хлеба куском,
Со мною делился надеждою.

Страдает душа или плоть,
А все пред людьми хорохоришься.
И кто-то, как черствый ломоть,
Мне в руку совал свое горюшко.

И я машинально жевал
Чужие ломти откровения,
Прожевывал и проживал,
Как свыше мне было то велено.

Спасибо, родные, за хлеб
Насущный, далекие, ближние.
Я жил подаяньем судеб,
Таких непохожих на книжные.

Не знаю, я стал ли мудрей,
Всех слушая, трезвых и пьяненьких,
Но черных чужих сухарей
Досталось мне больше, чем пряников.

Мне жизнь и своя не люба,
И что мне событиям счет вести?
Близка к завершенью судьба,
А сушит мне душу от черствости.

* * *

Голуби и воробьи,
Вкруг скамьи моей озорничая,
Знают все о Божией любви,
И меня в ее завет включая.

А смогу ль один я есть,
Хлебушко бесстыдно уплетая?
И откуда у скамьи, Бог весть,
Собралась внушительная стая.

Неужель — кто, не печась
Сердцем, хлеба птицам не кидает,
Из любви всеобщей выпадает,
Как и я подчас?

Без ретуши

Живешь, уже не нужный никому —
Отделам кадров и военкомату,
На улицах всегда готовый к мату
И бывший тридцать лет назад в Крыму.

И вряд ли нужен, честно говоря,
Совету ветеранов и собесу.
Пожалуй, нужен лишь пройдохе-бесу,
Чтобы отбить от Бога втихаря.

Ну что же ты стараешься, чудак?
Твоя стара метода и кустарна.
Грехов за мной — как на земле каштанов,
И мал для них походный мой рюкзак.

Поэзия мне причинила вред!
Стихи строгая, я без Бога прожил
И осознал, что человек я — Божий
На стыке зрелых и преклонных лет.

Вперед не грудью, а одним бочком
Вхожу в автобус я, уже не витязь.
И слышу нежно: «Дедушка, садитесь!» —
От юной Беатриче с рюкзачком.

* * *

Господь, Ты — огненный столп
В житейской моей пустыне.
Мой стыд пред Тобой растет,
В раскаянье сердце стынет.

Я совестью посрамлен,
Раскаяньем словно выпит.
А плоть моя, как фараон,
Вернуть меня хочет в Египет.

И сушит лицо мне зной,
И жаждой душа томится.
Гремят за моей спиной
Былых страстей колесницы.

Нет, это не сонный бред,
А боль от камней и рытвин.
Води меня сорок лет
В пустыне моей молитвы!



Ирина ШАТЫРЁНОК

Жить будем потом

Повесть

Дикий пляж был раем для местных рыбаков. Сюда издавна приходили городские жители с окраин. Город разделяла небольшая река, она петляла среди полей, заливных лугов, одиноких заброшенных хуторов, заросших старыми садами, ближних лесков. На подходе к городу ее глубокое, мутное течение зажимали крутые берега. В их теснине река гудела, бурно вырывалась на окраины. За многие годы тяжелой работы в безлюдный уголок за железнодорожным мостом трудолюбивая река наволокла песка, земли, камней, образовалась отмель, отделенная от основного русла пологим пустынным островком.

Мелкий кустарник, заросли ивняка, седой ольхи, густая стена из камыша с бархатными стрелками — вся здешняя растительность вцепилась в дно сильными корнями, держала островок, как бы не сплыл он в один тихий денек вслед за рекой.

Зимой на Дикий пляж захаживали рыбаки-одиночки, люди страстные и нелюдимые, готовые сиднем сидеть на льду у берега, застывшие от холода, только бы не делить ни с кем свой малый улов. Летом на Дикий пляж забредали разные люди, гуляки, сбежавшие от сварливых жен, их друзья-холостяки. Счастливое место, есть где сообразить костерок, шашлычок, распить пару бутылок водки, места укромные, тихие, каждый найдет свой интерес.

Первыми порыбачить ранним утром примчалась троица старшеклассников, кинули велосипеды у раскидистой ивы, что росла прямо из воды, сбросили с себя одежды, решили попытать рыбацкого счастья, вдруг повезет с раками, поплыли наперегонки на другую сторону нависшего берега, снизу безжалостно изъеденного и подмытого точильной водой.

В тени кустарника пряталась молодая семейная пара с маленькой девочкой, на ветках висели два легких покрывала. Самодельная ширма раскачивалась на ветру, как мачта кораблика, приоткрыв их обгорелые плечи, соломенную шляпу с красной ленточкой в белый горошек, полотенце в синюю полоску и детскую белую панамку. Ветер доносил обрывки разговора, воркующий женский голосок и приглушенный мужской смех. Поодаль на берегу виднелась еще чья-то сгорбившаяся фигура, на перевернутом ведре сидел сонный рыбак, он дремал, в его солдатском мятом котелке плавало несколько мелких плотвиц.

В будний летний день беззаботным ветерком приключений сюда занесло двух пацанов — один светловолосый, конопатый, другой черноглазый, с вихрастым чубчиком, ловкий. Они слонялись вдоль берега, не раздевались, не плавали, их перемещение на первый взгляд казалось бесцельным, без мальчишечьего интереса и азарта. Черненький держал в руках новенький

складной ножик, все время им забавлялся, подбрасывал, ловко ловил. Его белобрысый дружок с облупленным носом, щуплый, ниже ростом, тащился за приятелем на расстоянии одного шага. Они долго кружили по дикому пляжу, то приближаясь к реке, то уходя от нее, пока не присели неподалеку от брошенной одежды. Черноглазый сразу нашел себе дело — старательно строгал мягкую кору ветки ивы, хмуро высматривая что-то из-под насупленных бровей.

Щуплый беспокойно крутил круглой головой на тонкой шее, то вправо посмотрит, то влево, снял с ноги летнюю сандалию, из нее посыпались мелкие камешки. Дружок его подвинулся ближе к чужой одежде, закинул ветку к крайним джинсам, подцепил, как на крючок, подтащил к себе, пошарил в карманах, достал наручные часы, потертый кошелек на замочке, одним движением открыл его, вынул бумажные деньги и всю мелочь. От напряжения на лбу выступили мелкие капли пота.

— Тикаем, — нервно выдохнул щуплый, он уже стоял обутый, готовый бежать через кусты.

Воришка помедлил, но не поднялся, а подкатился ближе к чужой одежде, и все повторилось, ловко вывернул карманы других джинсов. Улов был слабый, в штанах лежали ключи.

— Двигай, шпанюк, к велосипедам, может, там бабки, проверь в сумках под седлом, — приглушенным голосом отдал команду.

Напарник шмыгнул носом, опустил голову и шагнул к велосипедам.

Выскочила Нинка замуж рано — в неполных восемнадцать лет. Приехала из деревни в небольшой районный городок, устроилась на швейную фабрику. Из бракованных отходов выкроила себе первое платье, стыковала на спине, на груди простенький ситчик в мелкий лиловый цветочек, воротник отделала кружевом, купила лаковую сумку. Превратилась в хорошенькую девушку, немного жеманную, на лбу челочка, круглые глаза, как спелые вишни, стреляют во все стороны, все замечают. На вид девушка легкомысленная, а сама себе на уме, как бы парня толкового, работящего встретить — и замуж. Замужество дело надежное, за мужем как за стеной. На первое время можно снять комнату и семейно зажить — ох, как заживем!

По субботам Нинка с подружками ходила в кинотеатр на вечерний сеанс, народ валом валил на индийские фильмы. Кино про любовь — мечта, девушки в темноте зала всхлипывают, платочками слезы утирают. В кафетерии кинотеатра на втором этаже застекленная арка, парни пиво пьют, девушек угощают мороженым. Покупают сливочный пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках, реже шоколадное эскимо на палочке. Нинка пять раз смотрела фильм «Бродяга», сегодня согласилась пойти за компанию. Как раз хватит денег на чай и маленькую шоколадку.

В кафе пусто, Нинка допивала остывший чай и встрепенулась, когда к столику подошел военный, сапоги скрипят, молодцеватая выправка.

— Можно к вам?

«Вежливый и сам из себя ничего такой — бравый».

Нинка кивнула, шелковый подол ее широкого платья зашуршал под столиком, глаза загорелись любопытством.

— Геннадий Ярошко, — представился незнакомец.

Нинка чуть не подпрыгнула от радости, нечаянно задела локтем стакан, чай плеснулся на брюки Геннадия. Девушка зарделась, бросилась помогать, общая неловкость сменилась смущенным смехом. На фильм опоздали. Ген-

надий оживился, принес два хрустящих вафельных стаканчика мороженого. Вышли из кинотеатра вместе.

В звездочках на погонах она не разбиралась, думала, перед ней офицер. Геннадий оказался сверхсрочником, остался по контракту служить в комендатуре, вырос до прапорщика по тылу, кроме хозяйственных забот были у него караульные дежурства, патрулировал с солдатами улицы.

По ночам Нина бегала к жениху в караулку, в сумочке для настроения и душевной беседы бутылка водки. Друг оказался немногословным, любил хорошую закуску, наблюдал, как девушка тает от его неуклюжих комплиментов. Румяная и счастливая, под самый рассвет она крадучись уходила, днем в цеху клевала носом.

Через месяц молодые подали заявление, через три Нина поставила в ЗАГСе роспись в регистрационной книге, с двумя сумками переехала в семейное общежитие к мужу, уволилась с фабрики.

— Я свою жизнь, Генек, тебе отдам, всю — без остатка, бери меня, слова упрека не услышишь, обещаю чистые рубашки с накрахмаленными воротничками, борщ и котлеты, пироги, а ты мне — кино и мороженое, — крепко прижималась к плечу мужа молодая жена.

— Будет тебе и кино, и мороженое, и еще много чего.

Вскоре Нина обзавелась швейной машинкой, пошла на курсы кройки и шитья, в комнате выгородила для себя уголок и давай строчить обновки. Появилась клиентура. Сначала не очень требовательные, мамаши по общежитию, той подшей, тому прострочи, за ними потянулись офицерские жены, те были более требовательными, капризными и фасонистыми.

С утра Нина бежала на рынок за мясом, деревенскими яйцами, творогом, затем обед готовила для Генека, вечером обшивала клиентуру.

— С детьми подождем, надо на кооператив накопить, на ноги встать, вот построим квартиру, рожу тебе деточку, — вечером нашептывала Нина мужу, подливая в рюмку из толстого стекла его заветные семьдесят граммов.

От рюмки, всего-то смешные семьдесят граммов, не пол-литра, Генек быстро пьянел, глаза стыли, наливаясь недоброй оловянной мутью. Что-то с ним происходило, какая-то дрянь вылезала из его нутра, язык с трудом ворочал слова, они превращались в несвязную кашу. Нина отводила мужа к кровати, он тяжело оседал и долго еще что-то бормотал себе под нос. Она не обращала внимания на его мычание, садилась за швейную машинку и строчила очередной дамский заказ.

Как-то на рынке ее окликнула землячка, вместе ходили в школу, ее тезка, так и оставшаяся в деревне.

— Эй, Нинка, ты ли, не узнать! Хозяйка, купи моего творожка, сметанки, молока, все свеженькое! — веселым голосом зазывала школьная подруга.

— Какая я тебе Нинка, я теперь… — женщина замешкалась, над карими глазами сошлись темные брови, ответила твердым голосом: — Инна Ивановна я, слышишь, мужняя жена, считай, офицера… а ты в Нинках и помрешь. Почем с утра головка домашнего сыра?

Нинка давно сменила деревенское простое имя на красивое городское, всем говорила — Инна.

Прошло восемь лет, семья Ярошко переехала в кооперативную квартиру в новом доме. Окна выходили на юго-восточную сторону, по утрам яркое солнце пробивалось сквозь полосатые шторы. Инна Ивановна раздобрела, пошила модный атласный халат, по розовой ткани рассыпались крупные изумрудные розы, они немного напоминали зеленых лягушек, шевельнет хозяйка плечом — лягушки оживают.

В новом районе появилась не бог весть какая клиентура, люди непритязательные, и портниха не особенно заморачивалась сложными фасонами, продолжала строчить срочные заказы: выпускные платья дочерям своих соседок, костюмы, юбки, брюки подругам подруг.

Заработали на новую мебель, обставили комнаты зеркалами, креслами, под потолком играла острым блеском хрустальная люстра, символ богатства и успеха.

— Нам бы теперь шкаф для книг, — мечтательно запела Инна.

— Брось, Инночка, какие книги, ты их не читаешь, зря выброшенные деньги.

— Генек, так модно, все сейчас за книгами гоняются, как за хлебом, клиентки приходят, фыркают, дом наш неинтеллигентный, что ж мне, со стыда провалиться?

— Не провалишься, лучше ковер на стенку достану, согласна?

Инна для видимости согласилась, но книги не давали ей покоя. Выпросила у продавщицы книжного магазина — шила ей вечернее платье в кружевах и рюшечках — талоны на подписку: трехтомник С. Маршака, Г. Сенкевича, избранное И. Шамякина, детективы Ж. Сименона. В комоде освободила полку от фигурок слоников, вазочек, книги поставила в ряд, конечно, жиденько, но лучше, чем ничего.

Муж книг не заметил, у него появилась новая мечта — купить машину.

— Генуся, к машине неплохо бы прикупить… а что прикупить, угадай! Ну, что? Правильно, дачный домик, мне нужен свежий воздух, не век же горбатиться, строчить и кроить, кроить и строчить!

— И дети… как-то будут некстати расходы, то да се. Ты у меня не жена прапора, генерал.

Через год Генек уже рулил оранжевым «Москвичком», начальник продал ему подержанное авто, а сам пересел на новенькую «Волгу».

К машине полагался гараж.

— Жена, давай покумекаем, продадим нашу двушку, добавим и купим домик в пригороде, тебе и садик, и огород, и погреб будет. Ты не против?— сообщил Генек жене свои планы.

Так и поступили. В пригороде за мостом купили деревянный дом на двадцати сотках. Первым делом хозяин поставил высокий глухой забор.

— Нечего любопытным глазам здесь искать, пусть знают, люди тут живут хозяйственные, себя уважают, а другим не дадут спуску.

За забором шла напряженная жизнь. Началась стройка, слышалось глухое уханье, треск, стук топоров, визг электропилы, подъезжали машины со стройматериалом, командовал бригадой молодой прораб. Деревянный дом укрепили, подняли венцы, над забором выросла новая крыша с мансардой, летнюю кухню, баню перенесли от улицы в сад. Закончили благоустройство во дворе, уложили последнюю плитку дорожки, как неожиданно для Генека его должность сократили. Было ему за сорок, получил в комендатуре полный расчет.

— Не пропадем, мать! Кое-что я налево сообразил, не буду вдаваться в подробности, на старость проценты капают, сберкнижка на твое имя… Все устроится, к осени пойду в охрану, сутки через двое.

Все лето Генек возился за домом, расчищал от старого хлама сарай, подвел воду, прорубил два окна.

— Для мастерской. Буду по мелочи клепать, ладить, лудить, руки у меня из правильного места растут.

В «мастерской» бывший прапор поставил небольшой самогонный аппарат, дружок из мастерских сладил. Сам заводил на дрожжах бражку из гнилой ягоды, яблок, Инну к своим делам не подпускал. Дело у него пошло, выгнанную самогонку проверял на крепость, разливал по бутылкам и складывал на полках в погребе.

— Стратегический запас, — по-военному коротко докладывал жене. — Слабую на градус водку бери, можешь настойки делать на свои хозяйские дела, зимой от простуды самое то.

— Сделаю настойки из черной смородины, клюковку, хороша моя клюковка, ядреная, на вкус легкая, а с ног валит, — согласилась жена.

Любил Генек приложиться на пару с Инной.

— Мы же не пьем, а выпиваем — за здоровье! — щебетала Инна, подкладывая на тарелку мужа маринованные огурчики.

«Как бы мой Генек от безделья и самогонки умом не повредился, — переживала. — Чем бы его полезным занять, книгами — нет, кроме футбола, ничем не интересуется».

Душными июньскими ночами перешли спать на летнюю веранду. Инна не могла долго уснуть, шлепала босыми ногами по некрашеному полу, мучилась бессонницей, пила холодный чай прямо из заварочника, обтиралась влажным полотенцем, стонала, ходила в прозрачной рубашке, под тонкой белой тканью раскачивалась горячая спелая грудь.

— Не распаляй, — предупреждал Генек и охотно мял ее податливые груди, живот, словно вымешивая пружинистое готовое тесто.

К осени Инна стала мучиться тошнотой, отвернуло ее от маринованных огурцов, от клюковки, за машинкой уставала сидеть, ломило спину, отекали ноги. Пошла в поликлинику к терапевту, но опытная врачиха отправила ее к гинекологу.

— Не ко мне, не девочка уже, тут все ясно — беременность, — удивила терапевт «больную».

Опытная гинеколог приходила в кабинет в хрустящем от домашнего крахмаления подсиненном халате. Профессионально ледяные руки, ледяной холодный голос, сняла резиновые перчатки, подтвердила беременность.

— Скоро шевеление, не пора ли вам, девушка… — врач сделала многозначительную паузу, — рожать? Еще год-другой и все, приехали, вы и так по всем нормам — старородящая.

Инна задумчиво ответила:

— Подумаем… с мужем.

— Они подумают, — не сдержалась врач. — Устала я с вами, дурехами, пока вы будете думать — ставлю на учет.

Мальчик родился в марте, за окнами еще было по-зимнему снежно, голо, но весеннее солнце уже набирало силу, высвечивая мутные разводы на давно немытых оконных стеклах. Ребенок появился недоношенным, слабеньким, у него не хватало сил тянуть из тугого соска матери жизненно важное для него молоко, он старательно тыкался красным носом в ее теплую грудь, но кричал сильным голосом, поджимая под материнской рукой ножки.

— Молочная ферма, еще одного прокормлю, — смущенно делилась с товарками по палате женщина, — девочка у меня уже третья, старшие дочки в школу ходят. Куда девать молоко, ума не приложу, одна грудь лишняя, руки болят, доюсь, как корова.

— Приложи моего, — попросила Инна и передала свой сверток соседке.

Та спокойно взяла чужого беспокойного ребенка.

— Мой Миша не успокоится, ему сына подавай, — тихо шептала соседка Инны, привычно сунув мягкий сосок в жадный рот младенца. — Ой, у твоего темное пятнышко за левым ухом, немаленькое, отметина.

— Знаю, это я на третьем месяце смотрела на пожар, со страху за ухо схватилась, потом целый день то место горело. Мальчик — не девочка, переживем, — бойко ответила Инна, но тошно стало на душе.

Вспомнила. До этой минуты никакой тревоги, все забылось, выпало из памяти, у беременных такое бывает, а тут вспомнила. Увидела вдруг картинку, вроде и не с ней все было, как подхватилась она сентябрьским утром, соседка постучала в окно, позвала на пожар. И чего побежала — поглазеть, как чужое добро догорает.

В конце улицы на краю оврага доживал свой век домишко-сараюшко, а в нем немая старуха с сыном, был он тихим запойным пьяницей. Ночью от окурка задымилось одеяло, тлела дерюжка, а старуха еще затемно ушла по своим делам в лес, любимое занятие — собирать с весны до осени лекарственные травы, корешки, цветы, грибы, ягоды разные.

Ходили к ней люди за советом, за помощью, за заговоренной водой, приводили посмотреть золотушных детей. Старуха была непростая, от своей бабки переняла знахарские знания, могла приворотное зелье сообразить, кого из женихов присушить, а кого наоборот — отвадить. Делала лекарственные настойки, отвары, порошки, сухие смеси, понюхает, пошепчет что-то свое, смотрит вроде в сторону, а глаз острый, меткий, человека читает, как книгу.

Старуха знала свои привычки и мерки, не по книгам училась, сверяла с приметами, утренней росой, ветром, травами, по своему ей одной ведомому календарю. Особые отношения у нее были с луной, когда шла на рост, на прибыль. Все на зуб пробовала, не боялась ядовитых грибов, мухоморы уважала, из них у нее выходили крепкие черные настойки, сама натирала больные места, делала компрессы. А вот своего сынка вылечить не могла, что-то мычал, руками махал, а сила ее не действовала.

Инна уже засобиралась с пепелища домой, как кто-то легонько тронул ее за локоть. Обернулась — перед ней стоит старуха, лицо в серой саже, перебирает передник на животе, на цветастой лоскутной ткани пришит большой карман, достает из него какую-то траву, показывает на красное ухо, дескать, приложи, но беременная женщина испуганно ойкнула, оттолкнула ее руку и пошла быстрым ходом прочь. Не видела, как старуха озлилась, потемнела лицом, плюнула ей вслед, рассыпая грязной от черной копоти рукой мелкую травку. Сухая как порох трава полетела следом, завиваясь черно-золотистой струйкой.

Инна хотела остановиться, но ноги не слушались, подкосились, испугалась спутанных, косматых старушечьих волос, животной силы ее неласковых глаз, будто смотрела на нее зияющая чернота, готовая заживо проглотить. Внизу живота все напряглось, потянуло первобытным суеверным страхом. На миг, на один миг глаза Инны ослепила пронзительная вспышка, как на белом киноэкране, фотовспышка проела черные буквы. Прочитала одно страшное слово и тут же забыла. Но страх остался, от затылка ушел в пятки.

Приехав с младенцем домой, Инна заставила Генека ездить за чужим материнским молоком на оранжевом «Москвиче». Из пригорода на другой конец города муж добирался быстро, мамаша за молоко суеверно денег не брала, молочный сыночек, пусть растет здоровеньким.

Так Инна продержалась в тревогах первые три месяца, потом перешла на искусственное детское питание. Мальчик два дня помучился животом, надрывно кричал, не спал, но потом все наладилось. К году Сережа окреп.

— Вылюдился, — радовалась Инна, но ножки у сына оставались еще слабыми, рахитичными, сильно выгнутыми.

— Будущий велосипедист, — грубовато шутил Генек, отхлебывая домашнее проверенное лекарство, самогонку свежей выгонки.

Домой мальчику не хотелось идти. Для матери существует один отец, он для нее все: крепкий хозяин, авторитет, на нем все в доме держится. Как же — офицер в отставке. От «офицерства» отца осталось слабое напоминание, командный голос да чернильного цвета наколка в виде якоря на левом предплечье. Почему якорь, все хотел спросить отца, забывал. Мать с отцом или собачатся, или у них одни разговоры о деньгах, все мало, а собачатся опять же из-за денег, у отца на мороженое не выпросить... Скукота.

Серега Ярошко в свои двенадцать лет хорошо усвоил: люди делятся на плохих и хороших, богатых и бедных, злых и добрых. Плохих и злых больше. Доброй к нему в первом классе была учительница Елена Антоновна, пришла в школу после педучилища, молоденькая совсем, смешливая и стеснительная, ей хотелось выглядеть среди коллег посолиднее, взрослой и опытной. Свои пепельно-русые волосы гладко зачесывала вверх, соорудила на голове что-то вроде кукиша, никого из детей не ругала за плохой почерк, объясняла задания звонким голосом, глаза веселые, улыбку прячет, комкает пухлыми губами. Записала черноглазого мальчика в школьный хор.

— Быть тебе, Сережа, запевалой, а может, и солистом, слух у тебя отличный.

— Не жалуюсь, издалека слышу, калитка скрипит — батя идет, — согласился с ней школьник.

— Я про другой слух — музыкальный, у тебя чистый слух, абсолютный, это от природы, тебя надо в музыкальную школу определить, на аккордеон или даже на пианино.

— А сколько стоит пианино? — неожиданно по-взрослому поинтересовался мальчик.

— Новое дорого… но продают в комиссионке подержанные… И в хорошем состоянии.

Дома Сережка радостно поделился, училка ему посоветовала ходить в музыкальную школу.

— У нас сроду не было музыкантов, чего удумал, все музыканты — пьянь да рвань,— кисло отреагировала Инна.

— Не все, есть некоторые, те в ресторанах хорошо лабают, клиенты любимую музычку заказывают, чаевые, то да се, — возразил Генек.

— Иди учи уроки, стоишь, уши развесив, — прикрикнула мать.

Мальчик понуро вышел, Инна продолжила:

— За музыкальную школу надо платить, вон Таисы дочка ходит со скрыпочкой, сколько тех скрыпочек купила, о! Не одну, а к скрыпочке надо еще футляр, каждый месяц плати живые деньги. Таиса говорит — из последних денег выучу ребенка, будет у Верки потом легкий хлеб, тренькай на скрыпке, прямая дорога Верке дальше учиться…

— Пусть идет твоя Таиса куда хочет, а нашему нечего ерундой голову занимать, — закончил разговор Генек.

Сережа стоял за дверью, все слышал. Хотел с ревом выскочить, закричать на отца, но какая-то сила сдержала его, замер, помрачнел, насупился. Проглотил горький ком в горле, очнулся, как в игре «Замри-отомри», взъерошил на голове волосы и выбежал во двор. У крыльца под ноги ему весело выкатился смешной соседский песик, он часто играл с мальчиком, пролезая через дырку в заборе.

— Пошел прочь! — крикнул мальчик.

Лицо его нахмурилось, но песик не понял, почему его давний друг не хочет с ним играть, склонил голову, весело запрыгал, готовый бежать наперегонки.

— Получай, скотина!

Мальчик пнул ботинком собачку в живот, схватил палку с земли, угрожающе замахнулся, но песик увернулся, заскулил от боли и опрометью выскочил за калитку. Из глаз Сережки брызнули горячие, злые слезы, он тер их кулаком, размазывая по щекам, жалел Шарика, не понимал, почему ему так противно, сам себе неприятен, и все люди кругом чужие, даже училка Елена Антоновна, она, она-то и заварила всю кашу.

— Что сопли развесил, тоже мне музыкант нашелся, марш домой, весь дом выстудишь, — позевывая, прикрикнула на сына Инна, кутаясь в вязаную шаль. — Ревел, что ли? Идем, оставила твои любимые котлетки. Стоишь, как побитая собака.

— Не, — засопел Сережка, — не буду, ничего от тебя не хочу, корми своего Генека…

Мальчик впервые назвал отца отстраненно, как чужого человека, гневно посмотрел на мать и выбежал со двора. Услышал за спиной визгливый голос матери, но не обернулся, она еще долго звала его и ругалась. Сережа вдруг представил себе побитую собаку, соседского цуцика, несчастного песика, горячая волна жалости подступила к горлу, хотелось бежать, бежать, спрятаться от всех, чтобы никто его не нашел. Остановился, никто за ним не бежал, не звал, тоскливо заныло в животе. Он никому не нужен, он — один, в ушах еще звенел голос матери — надоедливый, противный. Мальчик медленно брел по улице, вышел к автобусной остановке, захотелось вдруг уехать, уехать далеко-далеко, но тут из-за угла появился городской автобус. «Покатаюсь по кругу», — и вскочил в заднюю дверь.

Переполненный автобус, пассажиры заняты собой, погружены в свои мысли, отгорожены от всего мира. Ближе к вокзалу в автобус набилось много людей. С улицы все прибывало, крепкие молодые парни брали двери штурмом, напирали, было тесно, душно, тела плотно спрессованы, трудно пошевелить рукой, тяжелый автобус трясло на поворотах. На Серегу сверху навалился краснощекий потный мужчина, от него несло пивом, здоровяка хорошо укачало, он шумно вздыхал, веки его полузакрытых сонных глаз то вздрагивали, то приоткрывались, бессмысленный взгляд лениво застыл в одной точке.

Мальчик вдруг внутренне собрался, вороватый глаз цепко схватывал все детали, его сильно прижало к заднему карману пассажира. Тут и щупать нечего, толстый бумажник, жирный карась. Рука сама потянулась за добычей, пальцы легко вытянули черный кошелек. На первой же остановке Серега, как намыленный, выскользнул в открытую дверь автобуса. Добежал до пустыря за школой, спрятался среди строительных лесов. Денег много, ух, сколько денег, он никогда не видел столько сразу, дух перехватило. Что делать? Купить мороженого, конфет, шоколадок, а остальное спрятать, целый год можно трескать дорогой шоколад и ходить каждый день в кино. Купить спортивный велик, нет, лучше раскладной, видел такой в магазине, кожаный футбольный мяч…

Поездки в переполненных автобусах — большой соблазн. Главное, ловить момент, ты — охотник, тетка с кошелкой — твоя добыча. Деревенские, те держат деньги ближе к телу, работяги с завода к вечеру, уже тепленькие, едут после получки расслабленные, пивка дернули, бери готовенькими. В тесноте автобуса легко можно прижаться, голова смотрит в одну сторону, лицо спокойное, а рука орудует в стороне, реакция, как у боксера, молниеносная, уцепился за кончик кошелька, поддел, жертва дернулась, пробирается на выход, портмоне в твоих руках. Техника простая, напряжение, волнение огромное, сердце колотится, готовое разорваться.

Генек не любил много говорить, не было у него привычки язык распускать, болтунов тоже не поощрял, но иногда под рюмку учил сына уму-разуму.

— Людям не верь, обманут, у каждого свой интерес. Жизнь — подлая штука, на плакатах пишут одно, а каждый из этих… думает о себе, как дитенка своего пристроить получше да почище и украсть на старость кусок пожирней. Дружбы нет, один интерес, а любовь, что такое любовь, никто не знает. Одни выдумки. Мир устроен просто: кто сильней, тот и прав. Деньги есть, ты прав, нет денег, спрячь свою гордость куда подальше… Кругом одни воры, кто где стоит, оттуда и тянет, из больницы тянут бинты, вату, спирт, понятное дело. Вот что можно стащить в типографии, там станки, бумага, а? Краску… Мне один дружок, ты его не знаешь, порошок принес, особый, концентрат, грамм на ведро белил бросишь, краска синяя, коричневая, любая, весь забор весной покрасил, — разглагольствовал Генек.

Сын тоскливо смотрел на Генека: «Достал!»

После второй рюмки язык его развязался, ему нужен был собеседник, нет, слушатель, тут ему Сергей и пригодился.

— Не пойман — не вор, у нас завсегда так, — опрокинул стопку, заел квашеной капусткой, заклацал металлической вставной челюстью.

— Я пойду, у меня уроки, — пытался ускользнуть парнишка, все разговоры знал наизусть.

— Успеешь, ты отца выслушай толком. Я перед тобой, может, душу выворачиваю… Все воруют, воруют по рангу… Наш полковник из Германии пригнал грузовые машины. Да, оборотистый, из группы войск, когда уходили оттуда, башковитый мужик, свое не упустит, еще надо уметь… Не попадается умный, сгорит дурак. От жадности, от глупости, с умом надо воровать, понял? Ты вот по моим карманам… знаю, чистишь, а ты попроси по-хорошему, я сам, может, тебе дам, — язык заплетался, изо рта летела слюна, пахло чесноком.

«Как же, дашь, догонишь и еще раз дашь», — сын кисло ухмыльнулся.

— Чего лыбишься, я тебя за версту чую, вор не бывает богат, а бывает… — Генек заставлял повторять сына пословицу.

— …горбат, — с той же кислой ухмылочкой повторил Сергей.

— Вот, горбат, горб его судьба, грехи его тяжкие, что таскает у себя на спине, мозоль трудовой — горб у вора от побоев, — постучал себя кулаком по затылку. — Попадется вор, тут ему и конец, люди злые, бьют, могут и убить.

— Сам говоришь — дурак сгорит, а умный нет.

— Жадность фраера сгубит, а как же, и я о том. Не пей много, знай меру, ограбят, покалечат, бросят дружки… пей дома. Контроль! Во всем нужен контроль, — брови у отца мрачно ощетинились на переносице, на скулах заиграли желваки, колючий взгляд ощупал фигурку сына.

«Сейчас отключится», — с облегчением подумал сын.

— Ты меня слушай, ума набирайся… Как же не взять, когда плохо лежит, вот все и рвут… кто где. Кто ближе к телу, о, тот самый большой казнокрад. Так и живем, как волки. Что, нас государство любит? Еще тот хищник. Ну и людишки не спят, в ответ свое назад берут. Каждый по чину. Наш полковник по своему чину военные машины загнал, а санитарка в больнице — по своему, — опрокинул в рот рюмку, жадно заел маринованным помидором, тот лопнул в его руке, растекся алым соком.

«Лекция» закончилась, Генек готов, достиг своей кондиции, что-то несвязное забормотал и обмяк, сын отодвинул в сторону тарелку, похлопал отца по плечу, по карманам, в правом кармане брюк зазвенели монеты. Паренек ловко выгреб у отца деньги, пересчитал и довольно хмыкнул.

Серегу магнитом тянуло к старшим ребятам. Старшеклассники собирались на переменах на заднем дворе школы, курили, матерились, обменивались последними городскими новостями, после уроков играли на две команды в футбол. К вечеру к ним подтягивались рабочие парни из мастерских железнодорожного депо. Школу в городе по старинке еще называли железнодорожной, хотя послевоенное деревянное здание, что долго пряталось под новым городским мостом, давно снесли и забыли. Осталось одно воспоминание.

Здесь учились дети деповских паровозников, машинистов, кочегаров. Мальчишка крутился рядом, подносил мячи, изо всех сил старался, был счастлив на побегушках, исполнительный, все подмечал, перенимал уличные словечки, ужимки, уважал силу.

Как-то его ровесник, выше ростом на целую голову, верзила Вовчик, въехал ему со всей силы кулаком в лицо. Ни с того ни с сего — сидели вместе на школьном стадионе, смотрели футбол старшеклассников. Серега болел за вратаря Витьку из «10А» класса, а Вовчик — за команду «10Б». Удар был подлый, неожиданный, резкий, еще никто Серегу не бил в лицо, из глаз брызнули слезы, какая-то красная вспышка на мгновение выключила сознание, нестерпимая боль в носу, закипела обида — больнее всего несправедливость. За что?

С Вовчиком никто не связывался, его считали за придурочного, нервного, был он нечист на руку, бесцельно слонялся после уроков на стадионе, караулил у ворот младшеклашек, потрошил их портфели, карманы, не брезговал медяками.

Лицо распухло, домой притащился поздно, в комнате по телевизору громко разговаривали герои очередного сериала, прошмыгнул незаметно в погреб, не хотелось встретить мать, начнутся расспросы, прижался к ледяной бочке с мочеными яблоками, тихо скулил и ненавидел весь свет.

Злые слезы высохли, забыл про разбитый нос, но ночью долго не мог уснуть. «Завтра иду в боксерскую секцию, меня возьмут, ноги у меня крепкие, прыгаю хорошо, торс накачаю, всю злость вложу в удар. Держись, Вовчик, животина-скотина, раскрою ему рожу, мама родная не узнает. Решено!»

Через год парень вытянулся, мышцы рук налились силой, тренер хвалил его, нагружал упражнениями, новичок не жаловался.

На тренировках без устали прыгал на батуте, его акробатические прыжки с ног на спину и на живот напоминали упругий мячик. Со стороны могло показаться — парень резвится. Но в голове у него разминалась и синхронно прыгала одна мысль, она и злила его, и согревала: «Ну, Вовчик, животина-скотина, один, два, три, четыре… один, два, три, четыре… скоро будешь зубы собирать…»

О прошлом напоминал рваный шрам, он шел от виска к левому уху. В морозный ветреный день бледный, чуть заметный рубец вдруг надувался, краснел и уродливо проявлялся, напоминая Сержу один эпизод из прошлого. Там, в далеких днях, занозой сидело воспоминание, не давало забыть старое унижение, стыд, всплывало жестокое лицо отца. Давно загнал он те воспоминания, казалось, на недосягаемую глубину, забил накрепко гвоздями, похоронил. Слишком больно. Нет у него отца, нет.

Он давно почувствовал, что в доме никому не нужен, болтается под ногами и всем мешает жить. В пятом классе как-то узнал: Венька Лосев, рыжий-рыжий, с горячими веснушками до самых ушей, словно ошпаренный кипятком,— не родной сын школьной библиотекарши Валентины Николаевны, приемный.

Сергей зачастил на переменах в библиотеку, брал книги с полок, листал страницы, а сам присматривался к библиотекарше, сухой, маленькой, вежливой. Ее огромные очки с толстыми стеклами-линзами в черной оправе плохо держались на тонкой переносице, при наклоне головы сползали с крохотного носика, близорукие глаза становились беспомощными. «Нет, не родная она мать Венику, точно не мать, тот здоровый как шкаф, не могла такая хилата родить Веника».

— Сережа, ты все ходишь и ходишь к нам, а книгу так и не выбрал, давай тебе помогу, — доброжелательно откликнулась Валентина Николаевна.

Она смотрела на бойкого черноглазого мальчишку затуманенным взглядом, на расстоянии вытянутой руки смутно различала его черты, задумчиво протирала белоснежным носовым платочком линзы очков. Мальчик давно высмотрел забавную книжку в потертом синем переплете — «Легенды и мифы Древней Греции», его заинтересовали подвиги сильного Геракла, попросил у матери деньги на книгу, такая продавалась в книжном магазине рядом со школой. Инна раздраженно оторвалась от телевизора.

«Пустое дело тратить деньги на книжки, если их можно взять в библиотеке. Бесплатно. Ученый выискался! Иди, иди, книжку захотел купить, надо же! Последние мозги вышибли в твоем боксе».

Сергей задумался над словами матери. В доме нет книг, все новости отец узнает из телевизора или газет, выставленных в информационных витринах городского парка, они туда с матерью ходят регулярно, Инна катается на аттракционах, муж читает газеты за стеклом. Как-то подсчитал, можно сэкономить на газетах целых двенадцать рублей

«А чего, жена, экономлю, в год набегает кругленькая сумма, на одной газете «Известия» можно разориться, не считая спортивных», — радовался довольный Генек…

Сергей очнулся, услышал голос библиотекарши, незаметно сунул книгу за пояс. Сколько здесь книг — тысячи, одну взял, не велика беда, еще купят. Вежливо улыбнулся и попятился к выходу.

— В другой раз что-нибудь выберу, спасибо.

Мать Веника квохчет над ним заботливой наседкой, проходу сыну не дает, он ее, здоровый лоб такой, стесняется, избегает, стыдно перед ребятами. На всю школу слышно — Вениамин, Вениамин! Маленькая, а голосистая. Веник прячется от материнского надзора за школой в учебных огородах и садах ботанички и дымит там как паровоз.

— Достала! — зло сплюнет желтый плевок.

«Может, и меня усыновили, взяли подкидыша… Не оправдал ожиданий, а уже не выбросишь, живой человек, даже котенка жалко, вот все на мне и

срывают свою злость. Родного бы сына так не шпыняли. А почему Веника мать так любит, непонятно».

За курево и драки Веника в третьем классе не приняли в пионеры. Такая же позорная участь нависла над Серегой, но он выкрутился, притащил к пионервожатой дружка Юрку, тот подтвердил: не Сергей, старшие ребята дерутся.

После одного случая убедился: он не родной.

На финансовые операции у Генека был прирожденный нюх. Он давно перебрался на рынок, застолбил место за прилавком, продавал среди таких же мужичков в рабочих спецовках бэушный инструмент, что-то скупал, менял, перепродавал. Бизнес был такой же, как и товар, сильно подержанный и мелочный. Зимой мерз, натягивал на себя старый военный тулупчик, валенки, летом варился под знойным солнцем, торговля шла слабо. Торговый угол на рынке скорее можно было назвать клубом по интересам, мужики топтались у прилавков, курили, играли в карты, живо обсуждали футбол, рыбалку, политиков, вроде все при деле.

Городские власти решили расширить торговые площади, перенесли со старого рынка коммерческие ларьки на окраину, ближе к кольцевой дороге. Расторопные купцы из Армении, Грузии, Узбекистана, Крыма облюбовали его для оптовых складов, тылы двора Генека как раз выходили к дороге. Хозяйственный мужик быстро сообразил свою выгоду, убрал забор, что закрывал от чужих глаз фруктовый сад, перенес его ближе к дому, расчистил территорию от хлама, поставил просторные сараи, накрыл их новым шифером, надел ворота на тяжелых чугунных петлях, посадил на длинную цепь волкодава для охраны. Пригласил домой на переговоры, предложил южным дельцам услуги: аренду своих площадей под товар за меньшую цену, чем брал город, для дальнобойщиков — несколько чистых комнат под дешевую гостиницу, один раз в день стол с обедом — горячий борщ, котлеты, салаты. Сервис неприхотливый, но зато все под рукой.

Дело у него удачно стартовало, денежки потекли в карман, перед женой не отчитывался, а свободный капитал превращал в твердую американскую валюту. Для таких операций экономических вузов кончать не надо, дошел своей башкой. Нашел и место для накоплений, подальше от любопытных глаз — оборудовал в подполе мастерской незаметный погребок, крышку его для надежности придавил верстаком, среди банок с вареньем, компотами, квашеной капустой затесалась одна невзрачная банка.

Серый уже вступил в опасный подростковый возраст, не все его благополучно могут перейти, минное поле, как бы не подорваться. Главный его интерес сосредоточился на занятиях боксом, старших уличных друзьях, выпивке и деньгах, вернее, способах их добычи. Паренек страдал от безденежья, хотелось новых шмоток, пригласить красивую девушку в кафе, старшеклассницы уже отмечали его сильный торс, веселый блеск в глазах, победы на соревнованиях. Он почувствовал молодую силу, она играла в нем, пьянила, готовая вырваться на волю. Парень ничего и никого не боялся, лез на рожон, задирался, был много раз бит до крови, остановить его в драке было невозможно. С годами его боксерский удар профессионально тяжелел, был меток и беспощаден.

— Финансы поют романсы, — говорил и старый дружок, белобрысый Юрка.

Двужильная мать Юрки тянула сына одна, не справлялась, от отчаяния запихнула в ПТУ на сантехника, там выдали форму, обувь, бесплатное трехразовое питание, полагалась еще и небольшая стипендия. Стипендию дружки раздербанили за несколько дней.

От безысходности Серый стал поглядывать за отцом, за его перемещениями, и вот удача — выследил тайную кладку. Свою заначку Генек прятал в обычной трехлитровой банке, почему-то выкрашенной бурой краской, а для надежности упаковал ее в сетку со старыми газетами. Надо же, придумал свой маленький «банк». Такая хитроумность рассмешила Серого. Со злой усмешкой он ловко запустил в банку руку, нащупал купюры, вытянул одну, обрадовался — сто долларов!

Меньшие дензнаки отец не держал в своем «банке». Парень прикинул навскидку сумму домашнего клада и даже присвистнул. Неплохо, совсем неплохо. Ничего, папашка не обеднеет. Вряд ли мамон догадывается о тайных сбережениях супруга.

Первая операция-экспроприация прошла успешно, он тут же сдал в первом обменнике купюру, на вырученные деньги пригласил двух товарищей по спортивной секции в летнее кафе в парке. Было озорно и весело тратить чужие деньги. За несколько дней прокутили все. Сергей снова вытащил из отцовской заначки купюру, ему понравилось, легкое занятие напоминало удачную рыбалку. Только закидываешь не удочку, а руку, вытягиваешь не рыбу, а деньги. Так продолжалось почти несколько месяцев.

Серега был щедр, сорил деньгами, угощал дружков обедами в летнем кафе, дорогим шоколадом, мороженым, пивом. Юрка так жрал на халяву, что один раз его вырвало, вышел из кустов бледный и снова набросился на еду. В летнем кафе Серега оставлял сдачу официантке.

— Чаевые!

Он замечал, как вспыхивали щеки молоденькой официантки, ребята одобрительно гудели. В иностранных фильмах так часто говорили актеры в гостинице или ресторане.

Веселые денечки. Хорошо погуляли. Друзья облепили его гудящим роем, всем было море по колено. Серега упивался собой, его просто распирало от счастья, и как мало надо для полного счастья — до отвала поить, кормить дружков. Голову пьянило, чувство опасности покинуло его окончательно. Весь мир дружелюбно распахнул ему объятия.

Не знал он, что Генек регулярно пересчитывал свои сбережения, делал ревизию, и не просто пересчитывал, а превращал это занятие в приятную рефлексию. Поздно вечером предупреждал Инну:

— Иду поработать в мастерскую.

Надолго запирался, включал тусклую лампочку, выпивал свои положенные граммы домашней самогонки.

Зеленые бумажки раскладывал на верстаке, слюнявил пальцы, на лице проступала умиротворенная улыбка. Записывал по-бухгалтерски аккуратно день, число, окончательную цифру сверял в блокноте с предыдущей, закрывал банку, подводил итоги соленым огурцом и довольный возвращался спать. У него не было какой-то простой мечты, ради которой делал эти накопления, впереди не сиял звездой причудливый воздушный замок. Нет, несбыточные мечтания ему были незнакомы. Сам процесс пересчета денег, созерцание их, обладание делали его сильным и независимым. «Бабам только скажи, раскройся, сразу придумают себе проблему — то купи, это, нет, пусть лежат мои кровные сбережения тут, в банке, а дальше видно будет».

Инна давно перебралась от беспокойного и храпливого Генека в маленькую комнатку рядом с кухней, сон с годами стал чуткий, страдала бессонницей, ничего не знала о ночных перемещениях мужа и его странностях. Ее

больше беспокоил сын, совсем отбился от рук, смотрит волчонком, домой приходит только спать, в последнее время даже не ест.

— Сыт по горло.

Весь ответ. Пыталась разузнать, устраивала допросы, молчит, смотрит в глаза нагло, пахнет от него мужским одеколоном, появились новые джинсы, кроссовки, откуда, непонятно. Не сын, а наказание.

Пропажу хозяин не сразу обнаружил.

— Вор, вор, вор, — сипел он страшным голосом, его как заклинило, откашливался, не мог остановиться, глаза налились кровью. — Я тебе устрою, ворюга, шпана, гад, шкуру спущу…

Схватил солдатский кожаный ремень с металлической пряжкой, отхлебнул из бутыли самогонки, утер мокрый лоб и тяжело рухнул на старый диван.

Что там произошло у сына с отцом, Инна не знала, слышала в сарае шум, звон стекла, возню, ругань. Сами разберутся. Серый выскочил из мастерской окровавленный, с разбитым лицом, выл, метался по двору и матерился по-взрослому. Когда Генек замахнулся на него первый раз, парень увернулся, выручила реакция боксера, на лету схватил руку отца, заломал, прижал к стене.

— Только тронь…

Генек тяжело дышал, жадно хватал ртом воздух, брызгал слюной.

— Я твой отец, тут тебя и порешу… вор, поганец, у батьки воровать! Вор, вор, вор… — ревел он от бешенства.

Серый никак не ожидал, что отец ухватит его за волосы и начнет бить лицом о металлический лист верстака, из уха хлынула кровь, он взвыл, в глазах потемнело, ударил Генека в челюсть. На, получай!

Отец рухнул на колени, закачался и ударился затылком о цементный пол.

— Ненавижу! Генек, я тебя ненавижу! Забудь, не было у тебя сына! Я — подкидыш, приемыш!

Он кричал, изо рта шла кровавая пена, левый глаз затянуло красной пеленой. Парень переступил через лежащего, плюнул ему в лицо и скрылся в сумерках сада. Сердце бешено колотилось от боли и ярости. Он бежал долго, может, полчаса, может, час, наконец остановился у заброшенного хутора, заросшего диким садом, и тут его настиг дождь. Потоки холодной воды обрушились черной стеной, остудили раны на лице, сил не осталось, и Серый свалился на гнилое крыльцо обветшалого дома.

Назавтра Ярошко не пришел в школу, не вернулся он и домой.

День отлежался в старом доме, вечером пробрался под окна дружка Юрки.

— У тебя вся морда распухла, может, в больницу надо? — пожалел его друг.

— Нет, мне бы денег на дорогу, — попросил Серега.

— Жди, вынесу бинт, йод, залей рану, кусок кожи висит… денег нет, — виновато объяснялся друг.

— Ты сгоняй к Петьке, к Сане, к ребятам…

— Откуда. А у тебя ничего… не заныкал?

Серега подавленно молчал.

— Посмотрю у мамки, может, что наскребу.

В тот вечер он понял для себя одну простую вещь: друзья не те, кто жрет и пьет с тобой на халяву, а кто в трудную минуту поможет. Нет денег — укради. Юрка украл, немного, что нашел в кошельке матери.

В мастерскую Инна заявилась не сразу, досмотрела телевизионный сериал. Забеспокоилась, чувство тревоги оторвало ее от кресла, обнаружила тело мужа на пороге. В сарае было темно, под ногами хрустело битое стекло, шуршала бумага, но сдвинуть мужское тело она не смогла. Просила, приговаривала, подталкивала в грузное плечо, но муж лежал неподвижной колодой, таращил глаза, пыхтел, лицо кривилось, слов нельзя было разобрать.

Сперва Инна растерялась, ноги приросли к полу, не оторвать, голос осип. Потом чуть отпустило, глупо взвизгнула, по-бабьи громко запричитала, бессильно опустилась на стул. Прислушивалась в тишине, разговаривала вслух, долго собирала разбросанные на полу доллары, растерянно думала, куда переложить охапку денег, в сознании что-то помутилось, отдышалась, потом все убрала, подмела.

Позвала соседа, вдвоем они перетащили тяжелого Генека на диван, муж успокоился, дышал спокойно.

Инна налила себе и соседу по рюмке самогонки.

— Проспится, не волнуйся, — пить надо меньше, — участливо отозвался сосед и многозначительно посмотрел на бутылку.

Инна раздраженно сунула ему начатую бутылку, не стала объясняться, захлопнув за соседом дверь.

Под утро Инна вызвала «скорую», лицо мужа отекло, левая сторона посинела, вздулась, он что-то бессвязно бормотал, не узнавал жену, захлебывался в рвоте. До больницы не довезли, скончался на руках у Инны. В больнице врач констатировал обширный инсульт, отягощенный падением на цементный пол сарая.

Похоронили Генека без сына. С того дня он пропал, больше его мать не видела, написала в отделении милиции заявление о пропаже сына, невозмутимый лейтенант-стажер профессионально успокоил:

— СССР большой, где-нибудь объявится. Ждите.

Овдовевшая Инна разом сдала, со смертью Генека рухнул весь ее упорядоченный мир. Пошила на смену два вдовьих черных платья, на голове завязала черный платок матового, тусклого шелка, наглухо закрыла все окна ставнями, одно окно на кухне оставила открытым, тенью бродила в пустых комнатах. Каждое утро выбиралась на кладбище. Но с началом зимы у нее пропал интерес и к кладбищу.

Большой дом погрузился в сумерки, часами Инна неподвижно сидела затворницей на кухне, слышала, как капала из крана вода, в углу шуршала мышка, на столе тикал круглый будильник. К вечеру медленно тащилась в спальню, не раздеваясь, отваливалась в черной одежде на неприбранную кровать и почти до утра лежала на спине с открытыми глазами. Короткий, тревожный сон ненадолго смаривал ее к рассвету, терзая тяжелыми видениями. Она забывала поесть, машинально грызла сухари, пила воду, потеряла счет дням и ночам. Однажды зимней глухой ночью соседка услышала стук в окно, во дворе на морозе стояла голая седая старуха, она попросилась погреться. Соседка завела ее в дом, но старуха начала кусаться, махать руками, забилась в угол, никого не узнавала и к себе не подпускала.

Соседи позвонили в больницу, приехал пожилой фельдшер, сделала успокоительный укол, больная сникла, забылась, вытянула вперед ватные ноги. Выпотрошенная тряпичная кукла. Фельдшер сказал, что Инна тихо сошла с ума, теперь ей одна дорога — в городскую психушку.

— Я не ошибаюсь, на разных буйных насмотрелся.

Больную увезла зеленая закрытая машина, два высоких санитара привычно управились с тихой старухой с беспокойными глазами, зрачки ее сузились

до крошечной точки, почти растворились в глазном белке, казались безумно-белыми.

Сосед обошел сараи, сад, по-хозяйски проверил в доме окна, газ, воду, повесил на металлическую завалу дверной замок, со стороны двора закрыл калитку. «Сергей пропал, Генека нет, старуха не в себе, а дом крепкий, можно было бы объединиться с соседской землей, не пропадать же, надо разузнать в райисполкоме…»

Сергей несколько дней слонялся на вокзале, потом зайцем доехал до Витебска, пробрался на скорый поезд «Калининград—Москва», на станции Пустошка его снял бригадир поезда. Болтался по вагонам пассажирских поездов. Спрятался в пассажирском поезде на верхней багажной полке, затаился, слышал разговоры двух командированных. Один, с усиками, глаза беспокойные, навыкате, все ерзал, пил аккуратно, жаловался на язву, сразу видно, коммерсант, второй ему щедро подливал водку, расспрашивал про жизнь. Пассажиры на весь вечер ушли ужинать в вагон-ресторан. Когда вернулись — коммерсант быстро захрапел. Сергей хотел соскользнуть бесшумной тенью на пол, но стал свидетелем забавной картины. Второй пассажир не спал, притворялся, вывернул карманы пиджака соседа, прихватил его толстый портфель и растворился в темноте ночного коридора.

«О как! Хорошенькое дело, надо сматываться, наутро поднимется кипеж, заметут».

И все-таки он попался. Срезал толстый лопатник у такого же толстяка, бумажник был увесист, до отказа набит деньгами, но увалень оказался непрост, бывший милиционер, в какой-то миг он почувствовал пустоту в кармане, дернулся, мертвой хваткой схватил Серегу за руку.

Выяснили личность, он и не отпирался.

— Дом у тебя, парень, пуст, отец помер, мать в психушке, ты их довел, признавайся? — устало спросил пожилой следователь.

Сергей молчал, ни один мускул не дрогнул на его замкнутом лице, опустил голову, спрятал взгляд. «Ваша работа искать — ищи».

— Гастролируешь, не надоело? Ждет тебя казенный дом, слыхал про такой? Насмотрелся я за свою жизнь на таких… щипачей, в колонии из тебя всю дурь выбьют. Посидишь, как раз к совершеннолетию выйдешь.

Из колонии Ярошко освободился в начале весны, коротко стриженый, бледный, скулы на лице обострились. Через полгода волосы отросли, ровная челка нависла над бровями, пряча настороженный быстрый взгляд. Вид у чувака вполне лохматый, стильный. Вот отращу пушкинские бакенбарды, буду похож на музыканта или свободного художника.

Улыбался по привычке широко, демонстрировал металлическую верхнюю фиксу, она выглядывала изо рта пугающе неуместно, взгляд колюче царапал. В плечах раздался, потяжелел, но в движениях сохранились осторожная крадучесть и ловкость.

— Ты, Серега, точно спортсмен, как со спортивных сборов, накачался, тебе бы еще южный загар — красавец, — обнимал его старый кореш Юрка, встретились в пивной старого парка.

— Совет тебе пацанский — зови меня Серж, еще лучше Ярый, так меня окрестили… я благородный зек с высокой квалификацией…

— Почти аристократ… — перебил дружок.

— Забудем прошлое, все фуфло, сообрази чифирик… Будет и загар, на юга прошвырнемся, красивые девушки, на все лето отдых забил — заслужил, надо чуток прийти в себя после санатория.

Подошел к калитке дома, закрыто. Знал обходную тропинку через сад. Со стороны соседа забор повалился, земля вскопана, в саду убрано. Пусть пользуется, мне не жалко. В мастерской Генека порядок, чисто, даже зеленоватая бутля с остатками самогонки стоит, ничего ей не сделалось. Отлил в стакан, попробовал, крепость хорошая.

Огляделся. Найти бы те доллары, мать не любила нарушать заведенный хозяином порядок. Отодвинул тяжелый верстак с крышки подпола, спустился вниз. Надо же, все стоит на месте, все целехонько, вместо разбитой банки перевязанная веревкой коробка от обуви. Ах, мать, молодец, ничего не тронула, сохранила, для кого же? Не для сына, нет, для своего Генека…

Доллары не стал пересчитывать. Хороший куш сорвал, на две машины хватит и погулять останется.

Стены дома давили тишиной, с фотографий на него смотрела веселая Инна в обнимку с Генеком, как будто дразнила его всей своей прошлой жизнью, где ему, Сереге, не нашлось места. Из-под половиц на кухне шел нехороший запах.

— Падлой воняет, крыса сдохла.

Ничего уже не держало в родных стенах. В ящике стола нашел свой старый складной ножик, раскрыл — одно лезвие ржавое, другое щербатое, третье острое. Стало веселее. Зайду к соседу попрощаться.

— Михалыч, ты не скромничай, пользуйся землей, не жалко, вишня, яблоки, смородина — твои, долго в городе не задержусь, дела, — неопределенно махнул рукой, взгляд был дерзкий, невеселый, деревянная улыбка — на все лицо.

— Какие у тебя могут быть дела, так — делишки, — осторожно возразил Михалыч, — оставайся. Чего бежать от родного порога, остепенишься, женишься, мы тебе работящую девушку сосватаем.

Запоздалая улыбочка застыла на лице Сергея, не прощаясь, уже удалялся от крыльца, не слышал последних слов соседа, шел привычно мягко, кошачьим шагом, будто ноги в мягких тапочках.

Снял комнату у подслеповатой вдовы на другом конце города, неприметная избушка на курьей ноге, с отдельным входом. Дал хозяйке хороший задаток, чтобы надолго забыла о его существовании. Вот и заначка пригодилась, сделал визиты к деловым людям, обедал в центральном ресторане «Магнолия». Официантки по старым временам помнили его привычки и щедрые чаевые, на столике держали табличку «спецобслуживание». Обедал всегда один.

Хотелось ему приодеться, чтобы обязательно белый летний костюм, искал к нему белые кожаные туфли.

— Серж, зачем тебе белые туфли, ты как фраер будешь, заметный на весь вокзал, у нас весь город обыщи, нет белых ботинок, разве что у невесты, или сразу в гроб в белых тапочках, — неудачно пошутил Юрка.

— Открытие летнего сезона, я, может, мечтал на зоне… Белый костюм, я на воле, мечта, понимаешь, пень ты такой.

— Непонятки… А что с работой? — переключился на нейтральную тему дружок.

— Надо осмотреться… Может, долго в родном городе не задержусь, не те масштабы, каждая собака знает, уеду в далекие края. Найди мне белые туфли.

Ты все равно не поймешь — классные шузы в нашем деле первое дело, удобство ногам и никакого мошенничества.

Частника-сапожника нашли быстро. Веселый грузин Гоги точал в своей базарной будке дамские сапожки из черного хрома. Любил мастер красивые ножки, заказчицы ходили к нему по рекомендациям, для особо капризных дамочек — из сафьяна, за материалом ездил к своим поставщикам в Кутаиси. Брал деньги за пошив по высокому тарифу, но и мастер был знатный, на каждую ногу делал специальную колодку. Почти месяц колдовал над заказом Сержа, но пошил ему две пары, одни белые легкие туфли на тонкой подошве, другие бежевые, замшевые.

— Мокасины — от меня презент, нога не потеет, будешь Гогу долго вспоминать.

В конце мая в городском парке включили фонтан — к открытию летнего сезона заработало летнее кафе, молодежь потянулась на танцплощадку, вечерами играл местный джаз-оркестр. Серж — сама элегантность, белый костюм с иголочки, белые туфли, золотой перстень на мизинце левой руки закрывал синюю бледную наколку в виде жука.

Приходил в кафе рано, занимал крайний столик, лениво созерцал людское столпотворение, глаза его были в движении, что-то выглядывал, искал. На его щедрый столик слетались бывшие одноклассники, спортсмены, шапочные знакомые, друзья по бильярду, их подружки и прочая приблатненная шушера. Девушки какие-то особенные, яркая косметика, алые губы, загорелые открытые плечи и спины. Они легкомысленно щебетали, не сводили восхищенных глаз с темноглазого шутника, слушали его озорные байки, прибаутки, подставляли стаканы для кисловатого красного вина. Серж заказывал девушкам мороженое, пирожные, конфеты, дружкам — водку. Разгоряченные, все возбужденно пили, нервно курили, уходили танцевать, возвращались. Один Серж не танцевал, жадно поглощал информацию о городских событиях и новостях, их не печатают в газетах, но все обо всем знают. Над столиком зависло сигаретное голубое облачко, влажный ветерок приносил из дальнего угла парка свежий запах сирени, жасмина и первой скошенной травы.

Проверенных дружков по прошлым золотым денькам юности почти не осталось, кто-то уехал, женился, раздобрел, обленился под женским каблуком. Прибивалась все больше местная, необстрелянная шпана, молодые, желторотые, развесив уши, слушали его тюремные басенки, восхищались. Надо было попробовать кого-то в деле.

Нервный, худой Владик, студент музыкального училища, одевался в фирменные шмотки, немного фарцевал, по-черному разругался со своими стариками, хлопнул дверью, свалил от родителей, теперь снимал с лохматой подружкой комнату. Хоть вой от безденежья, тощей стипендии хватало на несколько дней.

Про богатенького Буратино, адвоката Михаила Наумовича Петренко, по прозвищу Петрило, студент и рассказал Сержу.

— Живет уединенно, холостяк, квартира в «сталинке», последний пятый этаж, напичкана антиквариатом, картинами, старинными книгами, — с азартом рассказывал Владик.

Над его мокрым ртом чернели тонкие усики, подергивались, как у суетливого таракана, он все время облизывал влажные красные губы.

Весь город знал, что Петрило равнодушен к женщинам, ходили слухи о его нетрадиционной ориентации, но адвокат был осмотрительным, главное — с блеском выигрывал безнадежные дела. К нему обращались разные темные

людишки *с биографией*, криминальный мир его уважал, власти закрывали глаза на городские сплетни, никаких скользких дел за адвокатом официально не числилось.

Серж наведался во двор адвоката, огляделся, глаз наметан, подсел за столик к доминошникам. Пришел через неделю, познакомился с соседями. Зачастил в чужой двор, играл в домино, но предпочитал партию в шахматы с отставным майором, тот долго думал над очередной комбинацией, не торопился делать ход, Серж в это время наблюдал за подъездом адвоката. Удобная позиция.

Михаил Наумович слыл педантом, утром ровно в восемь выходил из дома, возвращался из конторы в семь вечера. В половине девятого шел на вечерний моцион, хоть проверяй часы. В руках красивая трость с металлическим набалдашником, под сытым горлом бордовая бабочка, черные лаковые туфли, запах дорогих сигарет и крепкого цитрусового одеколона. Лимонно-апельсиновый душный шлейф особенно усиливался в дождь, долго держался в темном подъезде и летел за хозяином тонкой струйкой меж буйно разросшихся диких кустов шиповника, барбариса, клумб с георгинами и мальвами. Одна завистливая бабка Клава с первого этажа вступала с ним в разговор, вернее, пыталась заговорить, но адвокат опускал глаза и начинал буравить носки своих лаковых туфель.

— Наумыч, шел бы ты… смущаешь наших баб своей экзотикой, брызнул бы на голову что попроще, шипру или тройного.

— У меня, Клавдия Фоминична, аллергия на весь советский парфюм, — вежливо откланивался и шел дальше отрабатывать свой вечерний моцион.

Бабка Клава бормотала что-то ему в спину, можно было смутно догадаться, что именно.

В хорошую погоду Михаил Наумович неспешно обходил по периметру квартала десять кругов, в дождливую раскрывал черный зонтик и курсировал по дворовой аллее, не отклоняясь от намеченного маршрута, с соседями ограничивался сдержанным кивком головы, нигде не задерживался, через час возвращался домой.

Серж изучал обстановку. Решил осмотреться сверху, план был прост — по пожарной лестнице на крышу, потом с конька крыши спрыгнуть на балкон, дверь в комнату всегда открыта. Владик останется во дворе на шухере.

— Надо бы прорепетировать, все детали изучу на месте, — поделился с напарником.

Сентябрь стоял сухой, ветреный, уже рано вечерело. Серж легко вскрыл висячий замок на чердачной лестнице, подтянулся, кошкой запрыгнул на крышу, осторожно прокрался до квартиры адвоката. Тут только понял, какая большая разница между видом с земли и на месте, оценил высоту: метра три, «сталинские» потолки, так просто не спрыгнешь, сломаешь шею, надо придумать снаряжение, крепление. С трудом рассмотрел в вечерней мгле фигуру Владика, тот сидел на лавочке, его светлая куртка бледным пятном выделялась в чернильной темноте. Серж всматривался вниз пустыми глазами, казалось, двор притягивает его безлюдным колодцем, завораживая своей глубиной.

…Все прошло как по нотам. Серж загрузил два мешка старинными иконами, греб все подряд, богатую коллекцию старинных монет, ножей, военных орденов. Все лежало открыто, за картиной нашел встроенный маленький сейф, замок простой. Налички было немного, несколько коробочек с золотыми запонками, часами, два мужских перстня и еще по мелочевке. Неожиданно что-то забеспокоило вора, от сильного волнения сердце сорвалось и подступи-

ло к горлу, застыл на месте, все тихо, не слышно лишнего шороха, звука, тихо, но запах. Вдруг слева учуял сильный аромат лимонной корки, опустил руки, знал — адвокат стоит за спиной.

— Спокойно, командир, не дергайся, поговорим, — голос уверенный.

Незваный гость усмехнулся, поднял руки.

— Ты следил за мной, мои люди следили за тобой… Гастролеры быстро работают, в домино не играют…

Петрило предложил гостю присесть, плеснул виски.

— Не наша порция, наливай по полной, — холодно улыбнулся Серж, затылок затек, в плечах еще чувствовалось напряжение мышц.

— «Наши» порции известны, знаем, вылакать стакан, два… На Западе выдержанный виски смакуют глотками, скоро и к нам такая мода придет… — адвокат мягко улыбнулся.

— Виски, говоришь, — Серж выпил, сморщился, — один мой знакомый такое вонючее «виски» гнал дома.

Гость не подал виду, сидел с каменным лицом. «Кто слил Петриле, болтун Владик?»

— Свои работают источники, — продолжил хозяин.

«Как будто читает мои мысли».

— Красиво работаете, чисто, но провинциально, слышал, собрались в столицу, могу черкнуть одному хорошему человеку, отмазал когда-то от червонца, большой авторитет… За знакомство, кто знает, может, еще вам пригожусь, Серж… — адвокат смотрел не мигая прямо в глаза. — Душно, — вытянул шею, нервно затеребил на горле галстук-бабочку.

Серж не любил прямого взгляда, что-то было в нем оскорбительное, сам смотрел в сторону, не выдавал своего настроения или намерения.

Адвокат чиркнул зажигалкой, поднес близко к лицу собеседника старинный портсигар с вензелем, опустил взгляд в пол, голос его задребезжал, как у блеющей овцы.

— Угощаю.

Серж прикурил, взял из рук владельца портсигар, оценил его тяжесть, золотая вещица соблазняла матовым цветом червонного золота.

— Дарю, мне вас рекомендовали, — продолжил адвокат. — Доставите в Москву посылочку, почта, знаете, не всегда аккуратно работает, в дороге может потеряться. Вас встретят, получите приличный гонорар, намного больше этого, — он кивнул в сторону двух брошенных на полу мешков. — Там как пойдет, останетесь довольны.

…Владик ничего не понял: на крыльцо подъезда вышли двое, в темноте разглядел Петрилу. Черт бы его побрал, миролюбиво разговаривал с Сержем. Что произошло в квартире адвоката, ничего доподлинно не известно. Серж отмолчался, но с того вечера пользовался старинным золотым портсигаром с вензелем, украшенным мелкими камешками. Антикварная коробочка смугло поблескивала золотом. Хозяин хранил в портсигаре паспорт, деньги, очень удобно щегольски потрясти перед удивленной мордой гаишника, небрежно сказать:

— Не курю, бабушкино наследство.

Имя «Зойка» было начертано на судьбе Сержа: легкомысленная, красивая, сероглазая, каштановые волосы высоко схвачены в веселый хвост, так и хотелось сзади дернуть. Она упала ему спиной прямо в руки из двери переполненного автобуса. Серж ждал на остановке свой автобус, стиснутые в салоне

люди стали приходить в движение, давка — обычное дело вечером, все едут с работы, кто покрепче, активно работает руками, ногами. Зойка висела на ступеньках, чуть дышала, спрессованная толпа пошла враскачку, ее первую, как из тюбика, выдавили из душного автобуса. Чьи-то крепкие руки тут же подхватили ее, тонкую, легкую, и поставили на асфальт.

— С приземлением! Не очень вас помяли, вы девушка хрупкая?

Услышала насмешливый незнакомый голос, обернулась. Коротко стриженый молодой человек, фигура крепыша-спортсмена, скорее футболист, широко улыбнулся ей, обнажив металлическую фиксу.

— Зоя. А вас как зовут? — бойко ответила девушка, приглашая продолжить разговор. Она улыбнулась, показав во рту в верхнем ряду ровных зубов такую же металлическую коронку.

— Надо же, Зоя, мы с вами как родные, какие понты! Кто зуб выбил? — удивленно поинтересовался Серж.

— Давай на ты, я еще не старая, — хохотнула Зоя, — от нехватки йода, все мое детство прошло на Сахалине.

— О-о, какая даль! — присвистнул Серж.

Зойкины родители Ачкасовы пятнадцать лет вкалывали на шахтах Сахалина, во всем себе отказывали, копили деньги.

— Пахали как черти, подкалымили раннюю пенсию с выслугой, коэффициентом, — каждый раз вспоминал отец Зойки, — для тебя единственной.

Лелеяли мечту: вернуться на материк с кругленькой суммой в банке. Раз в три года семья приезжала в родной городок в отпуск, присмотрели двухэтажный кирпичный дом в районе кладбища, купили. Отец Зойки не собирался на пенсии выращивать помидоры. Пристроил к дому две комнаты, организовал швейную мастерскую, закупил оборудование, восемь швей строчат на машинках, дело пошло. Официально шили рабочую одежду, не по накладным — модные джинсы, куртки, настоящая фирма́, не отличишь, аккуратные швы, строчки, материал и пришитые импортные лейблы.

Зойка не хотела учиться, не было особой тяги, получила школьный аттестат с нарисованными средними оценками. Мать три года обшивала монументальную директрису, статью похожую на памятник. Классную ублажала богатыми подношениями и липовыми справками от уроков физкультуры и труда. Все лето после экзаменов Зойка провалялась на диване, радуясь полной свободе, листала модные журналы, пропадала на дискотеках, в клубах, на городском пляже, домой приползала усталая, спала до обеда.

Ее интересовали модные купальники, солнцезащитные очки, летние шляпки, дорогие духи, мускулистые спортсмены, желательно с машиной. Мечтала встретить своего принца, быстро выскочить замуж. До чертиков надоели нудное жужжание матери и упреки отца. Вырастили одну дочь, все для нее, а она такая неблагодарная дрянь, хвост вверх задерет, ручкой помашет, «чао-какао», и со двора ускользает на всю ночь. Мать грозилась спрятать всю одежду.

— Бесполезно, на ней шкура горит, наступи на хвост ящерице, у нее новый отрастет, так и наша Зойка, — мудро сделал заключение отец.

Серж — щедрый, остроумный, вкрадчиво целовал ей руки, шею, за ушком, забавлял целыми днями. Чем не мечта. В то лето они хорошо загорели на Диком пляже. Серж подъезжал к дому Зойки на крутом мотоцикле, она легко запрыгивала к нему за спину, крепко обнимала, прижимаясь горячим телом к сильной спине. Мотоцикл дрожал, мчал молодых наездников за город. Она в коротких синих шортах, в майке в бело-голубую полоску. Зойка любила

морскую тему, каштановый хвост вздрагивал на ветру и развевался, как знак любви и свободы.

Ей хотелось путешествовать, уехать далеко-далеко, к морю, самолетом, лучше, конечно, с обручальным колечком на пальце. В любую минуту готова была бросить родительский дом, постылые стены, разговоры матери надоели хуже горькой редьки. Ох, укатить бы с Сережей на край света!

А он не спешил делать ей предложение, все вкрадчиво расспрашивал про бизнес отца, про его компаньонов, поставки, обороты. Уступчиво улыбался, глаза смотрели холодно, что-то в его расчетливом взгляде просматривалось чужое, бесстрастное. Зойке в такой момент не нравились его карие глаза, они почему-то тускнели, не дрожали в них золотистые вкрапления. Она любила его шутливым, дурачилась, не отпускала, прижмется и слушает разные истории из его насыщенной приключениями жизни, прикроет ему глаза своей теплой ладошкой. Неделями жила на его съемной квартире, принимала подарки, золотые сережки. Последним был браслет в виде крученой змейки, вместо глазок — зеленые изумруды. Ничего не хотела знать: откуда у него деньги, почему не работает. Его работа — до самого вечера сидеть за столиком в ресторане. Все знают — у Сержа там наблюдательный пункт, к нему приходят какие-то деловые люди, они ведут долгие скучные разговоры на непонятном для Зойки языке. Скучно.

В ресторан она заявлялась во всем блеске перед закрытием. Скромное вечернее платье, синий бархат, гладкая прическа, в ушах серьги с крупными голубыми топазами влажно блестели в тон с ее серыми влюбленными глазами. В них плескалась любовь и безграничная нежность. Вечером серые глаза менялись, мерцали небесной лазурью, будто подсиненные акварельной краской. Шампанское сильно действовало на нее, будоражило. Казалось, праздник жизни будет продолжаться вечно.

Порог дома Зойки Серж не переступал, находил разные предлоги. Знал, родители начнут расспрашивать, интересоваться его биографией, плотно обхаживать будущего жениха, перекроют кислород. Однажды на пляже намекнул Зойке, что в ближайшее время жениться не собирается, у него другие планы, вот закончит большое дело, может быть, тогда… если позволят обстоятельства.

— Зайка, разве нам плохо вдвоем? На каждый пальчик подарю тебе по колечку, можно и на руки, и на ноги, хочешь, по осени рванем к морю, — горячо шептал он девушке, накручивая на свой палец ее густую каштановую прядь.

— Хочу, хочу, хочу… На каждый пальчик, — включалась в игру Зойка. — Ты — мой, я — твоя, чего еще надо бедной девушке. Фата, лимузин, ресторан — неромантично, мы отметим нашу свадьбу подальше от этого захолустья, без родителей, только ты и я.

— Ты говорила, родители уезжают в столицу, надолго? — небрежно спросил Серж.

— По делам, к оптовикам, мать хочет повидаться со своей старой приятельницей, те после Сахалина приземлились в Подмосковье, зовут в гости.

— Хорошо, очень хорошо, — думая о чем-то своем, согласился молодой человек. «Зайка влюблена в меня как кошка, из нее можно веревки вить, мне такая подружка очень нужна, легкая на подъем, преданная, готова сутками из кровати не вылезать, дурочка… Введу ее в курс дела позже, пусть созреет немного…»

— Зайка, иногда ты выглядишь, как провинциальная лохушка, еще косицу заплети. Девушка Сержа должна быть яркой.

Взял из косметички алую помаду, она почти не пользовалась ею, считала слишком вызывающей, и широким жестом провел по верхней губе девушки.

— Завтра заведу тебя к протезисту, замени фиксу на золотую, понятно?

Зойка схватила зеркальце, скривилась, подняла верхнюю губу.

— Ух, а мне нравится моя простая коронка, и старая помада, у нее нежный, ягодный цвет… хороша! Так в кино красятся уличные девки, — дружелюбно спохватилась. — Меняем стиль… одежды, косметики, прически… И жизни! Согласна. Фартовый ты, Серж.

Девушка притянула его за воротник рубашки и впилась густо накрашенным ртом в губы, оставив яркий след помады.

— Пиявка… Порочная ты девушка, Зайка, ай-яй-яй, с кем связалась, еще пожалеешь, — и наклонился в самый вырез ее летней майки, поцеловал в ответ своим алым ртом, на бронзовой груди девушки тотчас загорелся отпечаток помады. — Вот мы и квиты.

Перед отъездом родителей Зоя заявилась домой нарядная, украшенная, как новогодняя елка, гордо продефилировала перед растерянной матерью, обняла ее, присела рядом за стол.

— Бог мой, какие духи, наверное, дорогущие, французские, вся блестишь! Кто тебе такие роскошные подарки делает, голуба моя, — допытывалась мать.

— Много вопросов. Есть один поклонник, не то что вы, у вас рубля не выпросишь, — упрекнула Зоя. — Нет ли у тебя, мамон, чего-нибудь пожевать, оголодала я от бутербродов и ресторанной жрачки.

— Зоя, что за жаргон, — мать внимательно присмотрелась к серьгам дочери. — Зоя, что это у тебя за серьги?

— Увидела, наконец… Мне их любовник подарил, — гордо бросила дочь. — Чего уставилась, как коза на новые ворота! Да, дорогие, розовый сапфир с зернами граната, я уже разбираюсь в камнях и брюликах.

— Зоя, такие дорогие массивные серьги я видела, есть у одного человека, застежка в виде гвоздики из платины… индивидуальный заказ, — взволнованно запричитала мать. — У одной, и это — Лола, понимаешь — Ло-ла, жена директора рынка, она их никогда не снимает, даже спит с ними — целое состояние!

— Не все же одной Лоле, времена меняются, может, Лола их продала, заложила, что ты знаешь про жену директора рынка? Была Лола — стала Зоя. Побежишь к ней, ну, беги, расспроси, куда делись ее сережки с сапфирами, — раздраженно зашипела на мать дочь, — и слышать ничего не хочу…

На пороге обернулась.

— Оставь мне ключи от дома, присмотрю за вашим барахлом.

В тот вечер она ищейкой отчаянно шарила по всему дому, перерыла все шкафы, комод, антресоли. Серж с невозмутимым видом восседал в центре комнаты на высоком стуле.

— Что ищем, дорогая?

— Мы уезжаем, так? Ясное дело, у отца на предъявителя есть несколько сберкнижек, все равно они мои, рано или поздно старики мне их отдадут. И золотишко где-то спрятано, я девушка не из бедных, хочу свое приданое забрать.

— Так дело не пойдет, родители твои не дураки, под стопкой белья сбережения не прячут. Вспомни что-нибудь странное, непонятное, думай, думай, — подключился к поиску друг.

Зойка присела на диван, сосредоточенно нахмурилась, вспомнила. Они только переехали в новый дом, отец вечерами долго возился на кухне, переделывал подоконник, ночью девочка пошла попить воды, отец сидел у развороченной стены под окном, обернулся, непривычно грубо приказал:

— Не спится, марш в комнату! — и вытолкал ее, сонную, из кухни.

Эта странная сценка давно выветрилась из памяти, но теперь в минуту напряжения вдруг всплыла выпукло и реально.

— Пошли, надо искать на кухне.

Подоконник был сделан из гладкого камня, похожего на белый мрамор, широкий, удобный, вроде столика, мать за ним пьет по утрам кофе.

— Здесь, надо поднять эту плиту.

Серж долго возился, не мог понять, за что уцепиться, но все оказалось просто — чуть нажал на плиту в правом углу, она медленно поддалась, съехала в сторону, открыв неглубокий тайник. В деревянной коробочке лежали три сберкнижки на предъявителя по двадцать пять тысяч советских рублей, несколько золотых монет царской чеканки, массивные карманные часы с цепочкой, нить жемчуга, несколько женских перстней, две маленькие изящные броши в виде листочка, усыпанного мелкими камешками.

— Лавэ хорошие, на первое время хватит, чистый гранд, в переводе — грабеж мама́н-папа́, можно еще ход дать назад, Зайка, — серьезно предложил Серж, — и разойдемся, ты ни при делах, а?

Зойка мотнула высоким хвостом и быстро переложила все вещицы к себе в сумочку.

— Все мне отдашь, дорогая, сделаем заначку на черный день и в дорогу, — серьезно сказал Серж. Он о чем-то думал, смотрел на Зойку, как на стеклянную, а сам был далеко.

— Советские дензнаки падают в цене, их надо превращать в дело, времена нестабильные, в воздухе пахнет переменами… Надо быть последним дураком, чтобы хранить деньги в сберкассе, так, моя дорогая! Доверься мне, хуже не будет, но лучше — обещаю. Наш курс Москва—Тбилиси—Рига—Таллин, вперед! Ну что, мой подельник, с первым крещением тебя! Что-то оставим отцу на старость? — спросил он насмешливо, улыбаясь краешками губ, из глубины глаз всплыл золотистый блеск.

— Гастроли или турпоездка?

Подружка зажмурилась, от его твердого взгляда внутри что-то предательски заныло, но она справилась, набрала в легкие больше воздуха, как перед глубоким погружением в воду, легко выдохнула.

— Кто его знает, может, у него под каждым окном такой тайник, не последнее берем, наследнице причитается, а давай проверим другие подоконники, — подначивала напарника.

Напарник промолчал.

— Оставлю себе ключик от дома, может, пригодится, — голос девушки дрогнул, глаза опасно увлажнились. Еще чего, не хватало распуститься, не хотелось, чтобы Серж заметил ее минутную слабость. Назад дороги нет.

— Присядем на дорожку, Зайка, — окинул взглядом развороченный дом. — Может, оставишь покаянную записку?

Серж взял из рук Зойки сумочку, увесистый чемодан, и парочка вышла из дома. Зойка хотела оглянуться, попрощаться с родным гнездом, знала, что больше сюда не вернется, но у ворот уже сигналил таксист. Бежала, как будто кто-то гнал ее в шею, спиной чувствовала чей-то взгляд, в затылке даже стало горячо.

Всю садовую дорожку усыпали спелые яблоки с красными бочками, малиновка в этом году ранняя, сладкая. Над неубранными плодами звенели жадные осы, воздух был пропитан винным запахом и какой-то тихой печалью. Зойка на бегу наклонилась, захотела поднять с земли несколько сочных темно-малиновых яблок, но наступила высоким каблуком на один сладкий фрукт, он с хрустом треснул под подошвой ее новенькой туфли, развалился, брызнул соком и некрасиво растекся. Она тут же почувствовала, как жало осы вонзилось в кисть руки. Так мне и надо, предательница, воровка! Мама, мамочка, папа, простите свою дочку-беглянку…

Зойка не знала, что накануне Серж с подельниками обчистил дома местных цеховиков. Всех заранее предупредили, большим грабежом не пугали, трусливые и строжные добровольно сдали назначенную долю излишков нетрудовых доходов. У тех, кто сопротивлялся, забрали силой, накинув сверху процент за нанесенный моральный ущерб. Никто из потерпевших не побежал в милицию.

Серж справедливо рассчитался с помощниками, просил до вокзала не провожать.

— Не прощаюсь, может, еще и свидимся.

Провинциальный городок их детства уплывал вместе с платформой, зданием старинного вокзала, выкрашенным в бледно-бутылочный цвет. В лучах вечернего солнца высокие оконные стекла багрово пылали, массивные станционные часы замерли на цифре «6», поезд набирал ход, промелькнули крыши знакомых низких домиков, зеленые склоны за переездом. Колеса выстукивали «про-щай, про-сти, про-щай, про-сти…». В груди у Сержа что-то больно сжалось, но быстро отпустило, утром они будут в Москве, рядом стояла Зайка, ее теплая ладонь коснулась его плеча. Все будет хорошо, жизнь продолжается, он не один.

Летний солнечный день угасал, по календарю яблочный Спас — 19 августа 1991года.

«В больничке загнусь, не дотяну срок», — заключенный поднял голову, узкое окно напоминало щель, третий этаж, а все зарешечено.

Врач разрешил по утрам открывать форточку, проветривать палату. Санитар Митя соорудил из коробки от обуви кормушку для птиц, каждый мог насыпать хлебных крошек.

Все лето прилетали воробьи, с началом осени заглянула раз любопытная синичка, чиркнула, клюнула и сорвалась вдаль по своим делам. Но с началом октябрьских холодных дождей птицы почти не прилетали. Последний раз мимо пронеслась стайка мелкой птицы — рябинника. Ночью выпал мокрый снег, ветром его подсушило, к утру на земле образовалась ледяная корка, похожая на белую накрахмаленную скатерть. Птицы разделились на несколько дружных бригад, поочередно порхали быстрыми стайками с крыши на рябину и обратно, за несколько часов объели красные грозди. Рябинники торопились, были небрежны, суетливо глотали горькую ягоду. Много ее, крупной, как коралловые бусинки, выпадало из их клювов на свежий снег. Теперь наст под окнами весь был окровавлен яркими пятнами.

Серж подполз к окну, с тоской смотрел на все, что осталось от урожая ягод.

Дерево было старое, росло в тени, неудачное место в углу лазарета, из-за нехватки солнца ствол криво выгнулся, но из последних сил тянулось из тени к свету.

Голова горела, а внутри тела было холодно, знобило, хотелось тепла, горячего чая, не привычного чифира, а домашнего чаепития, с баранками, нет, лучше мягкий батон с хрустящей корочкой, зубов нет грызть сухие баранки, все выкрошились, выпали, режет десны… Прижался горячим лбом к влажному стеклу, сглотнул сухую слюну, долго кашлял, размечтался о малиновом варенье, о пузатой голубой чашке, куске мягкого желтого масла…

Серж пытался вспомнить, что пошло у них не так, когда Зойка стала ему врать и подворовывать? Своды больничного потолка давили, мешали сосредоточиться, сознание путалось. Он понимал, что сейчас провалится в бездну, начнется бред, из него трудно вырваться. Силился раскрыть глаза, казалось, клейкая слизь сомкнула их, он с трудом разлепил ресницы, увидел, как на потолке меняются темные разводы. Затем картинка исказилась, рисунок размылся, на стенах проступили сизые тени, они медленно двигались, качались, напоминая струящийся табачный дым, из горла вырвался новый приступ кашля…

В начале 90-х государственные организации, стройконторы быстро акционировались, в министерствах паниковали, из их влиятельных коридоров уходила власть. Госпланы, госзаказы улетучивались, на местах тресты простаивали, рабочие увольнялись, искали лучшую долю и зарплату, уходили из ОАО с пустыми, обесцененными бумажками, их копеечные доли в общем котле ничего не стоили. Толковые руководители почуяли в воздухе запах скорых перемен, многие приспосабливались к новым условиям, рынок только зарождался, люди заговорили новым языком: «ваучер», «крыша», «братки», «капуста», «быки», «деревянный рубль», «стрелка», «мерин». Деньги стали легкими, утром есть, завтра нет.

Недвижимость какого-нибудь строительного треста превращалась в коллективную собственность новоиспеченных акционеров, но большинство пайщиков разных ОАО она не интересовала. Изворотливые руководители быстро сообразили свою выгоду, за бесценок скупали у работяг акции. Появились вполне легальные схемы увода и отмывания денег, новая генерация рыночников училась быстро.

За свободную наличку Серж проделал несколько успешных оптовых операций по скупке акций в одном незаметном строительном управлении. Подсказывал ему верные адреса старый кореш по тюремным нарам Миклуха. Он отошел от больших дел, тяжело болел, подкармливался информацией, которую сбывал бритоголовым пацанам. Были у Сержа и другие темные дела, по бухгалтерской отчетности они не проходили, канули в прошлое, оставив о себе приятные воспоминания в виде двух вместительных спортивных сумок, тесно набитых пачками стодолларовых купюр.

Сумки стояли на виду в прихожей. Зойка любила, курсируя по квартире, между прочим пнуть тяжелые баулы ногой. Большие деньги, спокойно сваленные в углу, возбуждали ее, в серых глазах появлялось темное беспокойство, оно пьянило, молодая женщина расцветала. Она очень похудела, слетели все лишние килограммы, с узких бедер сваливались джинсы, на лице выпирали высокие скулы, к тридцати годам Зойка все еще напоминала девочку-подростка, тонкая шея, хрупкие ключицы, маленькая грудь, она никогда не носила лифчик, на голове по-боевому дрожал собранный вверх хвост густых каштановых волос.

Жизнь в первой половине 90-х напоминала лихорадку: деньги потекли к ним рекой, компаньоны мало спали, много работали, пили, как матросы на

берегу, но водка не гасила внутренний огонь молодых желаний, азарта и приключений. К ночи Зойка и Серж валились смертельно усталыми на кровать, мгновенно засыпали. Наутро вставали свежими, полными сил, готовыми ввязаться в любую авантюру.

«Жить будем потом, потом… а сейчас главное — капитал», — думал Серж, засыпая под теплой ладонью преданной подружки.

Зойка не менялась. Одна ее старая привычка прикипела намертво — прикупать после удачных операций в ювелирных магазинах дамские безделушки — колечки с чистыми как слеза бриллиантами.

— На черный день… — горячо шептала она ему на ухо, покусывая мочку острыми зубками.

— Ты опять за свое, черный день бывает у лохов, — грубо перебил Серж, притягивая ее к себе за длинный хвост, руки ее податливо раскрылись, принимая в объятия его сильное тело.

Безделушки она не носила. Золотые колечки с камешками мешали, пальцы рук чувствовали скованность, от острых камешков рвались тонкие колготки, когда натягивала прозрачную лайкру на длинные ноги. Равнодушно пришивала золотые колечки на видавшую виды вязаную шапку, та открыто валялась на одном месте — перед зеркалом на комоде, обманчиво поблескивала, отливаясь богатством синих искр.

— Почти стразы, стекляшки, каждый так и подумает… Моя шапочка Мономаха, — часто повторяла, чему-то таинственно улыбаясь, недоговаривала, но про себя думала: «…в любой экстренной ситуации все мое — со мной, цап-царап».

Съемная квартира, чужая мебель, даже скрип половицы у балконной двери — раздражали. Все чисто, пусто, не обжито, как в гостинице, от чужих углов тоскливо ныло в груди. Серж во сне скрипел зубами, нервно крутился на смятых простынях, словно кто-то за ним гонится, душит, стонал и громко матерится. В жизни редко ругался матом, в глубоком сне бессознательно отплывал от далеких берегов, был слаб и беззащитен. Среди ночи мог встать, под голубыми веками глаза вдруг странно застывали, с полузакрытыми стеклянными глазами подходил к окну, что-то несвязно бормотал. Наутро ничего не помнил.

— Ты лунатик, это не опасно? — как-то озабоченно спросила Зойка.

Серж мрачно посмотрел в ее сторону, глаза погасли, лицо болезненно скривилось, она хорошо знала его в минуты гнева, сейчас грубо рявкнет. В редкие минуты приступов бешенства не владел собой. Один раз схлопотала крепкую пощечину, за ерунду, посмеялась над его отметиной — над левым ухом расползлось пятнышко, прикрытое жесткими волосами. Серж хорошо приложился, по-мужски, на щеке долго горел красный след. Слова «мой серенький козлик…» повисли в воздухе.

— Дура, думай, что говоришь.

Мать несколько раз пыталась рассказать ему про странное пятно, про старуху-колдунью на пепелище, но почему-то на полуслове умолкала, путалась в воспоминаниях, никак не могла преодолеть какое-то невидимое препятствие. Старуха точно что-то знала про ребенка, он еще и не родился, что-то хотела сказать Инне, а может, исправить, предупредить, но мать сильно испугалась, сбежала, потом жалела.

Напарница гнала от себя лихорадочные мысли, они беспокоили, давили горячим обручем, от головных спазмов темнело в глазах, старая болезнь от мамы — мигрень. Зойка массировала виски, долго смотрелась в зеркало. Ну

и рожа, бледное лицо, слезящиеся глаза, на лбу пульсирует вздутая жилка. Кроме Сержа, рядом — никого, за окнами гудит чужой огромный город, передается его мощная вибрация, одиночество гложет, не с кем и поговорить, никаких подружек, никаких разговоров в магазинах, в салоне красоты, Серж запретил… сдохнешь здесь, никто не узнает. Тоска смертная!

Серж не знал выходных, все время где-то пропадал, часто исчезал на недели, осторожно уходил рано утром, бесшумно закрывал за собой дверь, оставлял пачку денег на расходы. Трать на себя, не жалей, жди. Возвращался небритым, усталым, часто злым и молчаливым. От него несло тяжелым потом, чужими людьми, дешевым табаком, запахом туалета общего вагона, пылью дорог и смертельной опасностью.

— Ждать, Зайка, ждать, лежать! Зойка, в койку! — в минуты близости шутливо давал команды Серж.

— Я тебе не дрессированная собачка, — как-то раз огрызнулась подруга.

— Дрессура — хорошо, в нашей жизни надо слушать старш***о***го, поняла? — сухо выдавил из себя, без улыбки. Понимай как знаешь.

«Нашел собаку, выкуси, может, еще скажешь — сука? Старшой — это у тебя на зоне», — кривилась от тайных мыслей Зойка, отворачивалась, чтобы не заметил тень, набежавшую на ее блестящие от слез серые глаза.

В его отъезды сильно скучала, слонялась по квартире, лень было что-то делать, откладывала уборку, серая пыль слоем лежала на мебели. «Зайка+ Серж» рисовала пальцем на экране телевизора. «А может, «Зайка - Серж», что получится?»

До обеда валялась на диване, тасовала карты, раскладывала пасьянс, прогнозы выходили неутешительные. Смотрела пустыми глазами в ночное окно, хотелось выть. За диваном стоял ящик с водкой. Уже вошло в привычку на ощупь достать из-за спины бутылку, не глядя налить до краев высокую стопку и залпом выпить. Утром отводила глаза от пустой бутылки.

— Брр-рр, пора чистить перышки, пилинг-шмилинг для лица, Зойка еще ого-го!

Отправлялась в салон красоты, покраска, побелка, косметическая маска. Фору даст безмозглым нимфеткам, у тех куриные мозги, одна извилина работает, как заграбастать богатенького Буратино и тратить его деньги. Нет, Зойка — партнер, подруга, боевой товарищ и друг.

К концу дня — к Светке-массажистке и в бассейн, поплавает час, согреется, попарится в сауне и домой. Вдруг Серж нагрянет, она должна быть в форме, боевая готовность номер один.

Серж чутко ориентировался в ситуациях, свои подкупленные «агитаторы» буквально охотились за рядовыми владельцами акций, выдавливали их на улицу, скупали на подставных людей бумажки, сверху еще приплачивали, а те и рады были избавиться от макулатуры. На руках у Сержа с женой оказалось пятьдесят два процента акций когда-то процветавшей строительной конторы. Разделил так: тридцать два процента оставил себе, двадцать — Зайке.

— Теперь ты владелица, акционер, мой партнер, за успех нашего дела, — радовался Серж, наливая шампанское.

На дне бокала заблестели сережки с крупными камнями василькового цвета.

— Носи, сапфиры.

— Ты же знаешь мое правило — никакой роскоши. От Сережки сережки, исключение в моей коллекции, — театрально вздохнула Зойка, слегка пригубив шампанское, дорогие серьги пристегнула к лохматой шапке.

Серж удержал ее руку, благодарно прижался щекой, пальцы Зойки непривычно удивили холодом, гладкая кожа пахла новыми духами.

Вороватый директор Али Бахметов из кавказцев. Двадцать лет назад выучился на деньги большого рода, закончил московский строительный институт, сразу попал в снабжение. Али умел решать все сложные вопросы, где подношениями, где связями, сводил нужных людей, вырос до заместителя директора строительного управления. Директором стал недавно, прежний начальник успел свернуть все дела, вовремя ушел на пенсию, зарегистрировал от главного управления маленькую фирмочку, свой куш прихватил в виде загородного профилактория с гостиницей, баней, двухэтажными особнячками, столовой, гаражом, спортзалом в экологически зеленой зоне. Базу отдыха давно оценили по минимальной стоимости как нерентабельную, списали с баланса профсоюзов управления, чисто провели по всем документам и продали зятю бывшего директора.

Али Магометович держался местной диаспоры, знал себе цену и место, особенно не высовывался, но сменился ветер. Теперь приходилось иметь дело с новыми солидными заказчиками, его лицо и фамилия только портили все дело. Даже новое имя Алик не спасало.

Серж, он же Сергей Геннадьевич Ярошко, — совсем другое дело, отлично вписался в шахер-махер Али — числился его заместителем. Директор провел компаньона в руководство, все чин-чинарем. Правда, и строительное управление работало только по документам, были печать, новый устав акционеров. Реально работали счета в банке. У Али свои ловкие подручные люди, их вызывали для решения оперативных вопросов по отъему недвижимости у вчерашних благополучных фирм, пускающих пузыри. В незнакомом и опасном море коммерции часто штормило, на дно шли тяжелые, неповоротливые судна, по фарватеру шли современные лайнеры. Для будущих грандиозных дел нужен был свой, небрезгливый человек со свободным капиталом. Все это у Сержа имелось.

Серж быстро сообразил, как можно умно распорядиться *ничейной* недвижимостью. По бумагам контора выглядела неплохо. Имелись склады в речном порту, оборудованный пакгауз на железнодорожной площадке, за городом база со строительной техникой, трехэтажный офисный особняк в пределах Садового кольца, железобетонный заводик в ближнем районе за кольцевой дорогой, рабочее общежитие и много чего по мелочи. Из-за аварийного состояния общежития жильцов давно выселили, но дом находился в дорогом квартале тихого центра, земля там высоко ценилась.

Прихваченная расторопными руками нежилая собственность скоро активно заработала, каждый квадратный метр сдавался в аренду, те метры оказались воистину золотой жилой, желающих арендовать офисы было много, хоть аукцион устраивай. На старом советском фундаменте все разваливалось, производства дышали на ладан, но росли, как грибы после дождя, новые компании купи-продай.

Зойка от домашней скуки поддалась общему веянию, зарегистрировала на свое имя дочернюю фирму, скорее фирмочку. Серж остался в неведении, что-то ей подсказало скрыть свои самостоятельные шаги. Теперь деньги от аренды недвижимости она хитрым способом уводила на другие счета, освоила простую бухгалтерию — проверяла главного бухгалтера, нанятую древнюю старушку с седыми буклями. В обед пила с ней ромашковый чай, сопровождала ее в банк, обналичивала деньги, с пачки денег снимала верхнюю крупную банкноту и дарила Эльзе Рафаиловне.

— На удачу.

Старушка отнекивалась.

— Чаевые не беру, мне хватает зарплаты, — но потом сдавалась, откладывала купюру в боковой отдел кошелька, не хотела смешивать честные трудовые деньги с капризом хозяйки.

Фирмочка занимала крохотную угловую комнату, в нее втиснули два офисных стола, металлический сейф и шкаф, на двери табличка «ЗАА», смыслы читались разные, но главный — «Зоя Алексеевна Ачкасова».

Серж уже подумывал сменить фамилию Ярошко на Ачкасова, слишком много ниточек из темного прошлого связывало нынешнего успешного бизнесмена С. Г. Ярошко с биографией вора Сержа Ярого. Одевался неброско, давно пропала охота к шику, удобная шоферская кожаная куртка, такая же черная кожаная кепка, низко надвинутая на лоб.

— В нашей жизни надо быть незаметным, без особых внешних примет. Серость мой знак, потому и Серый, а галстук жмет, душит… Крутые дела можно делать и в скромном прикиде.

Как-то ясным мартовским деньком дверь «ЗАА» отворилась, хозяйку навестил Али, стал жаловаться на здоровье, большие траты, подросли два сына, их надо учить.

— МГУ вчерашний день, хотя бы в Германии.

Солидные люди предлагают продать акции, но главное препятствие — Серж и Зойка, у них бо́льшая часть пакета.

— Нам предлагают очень хорошие бабки, будешь жить, Зоя, припеваючи, — соблазнял Али запредельными суммами.

Зойка задумалась, ее серые глаза стали водянисто-прозрачными и мечтательными. В голове уже рисовались заграничные картинки — манто, авто, казино. «Фу, какая пошлость! Зойка, тормозни!»

Решались разом все проблемы, можно освободиться от всего, и от Сержа. Надоел! Он всегда был скрытным, противоречивым, опасливым. Держит ее за дуру, на коротком поводке, никому не доверяет, в любой момент может соскочить. Свобода ему дороже всего, бывалый волчара, никто и ничто его не удержит.

Али предложил нехитрую схему: его 48 процентов акций и 20 Зойки дают им возможность устроить маленький переворот, перевыборы дирекции, все по уставу.

— Выкинем Сержа, а что, он уже борзеет, все гребет под себя. Дам ему откупные, солидные люди предлагают кругленькую сумму, а? А ты вообще ни при делах, вольная птичка.

Зойка молчала. «Да, давненько мне Сержик ничего не дарил, дурной знак», — мелькнула горькая мысль.

— Охладел он к тебе… давно, точно знаю — с одной артисточкой роман закрутил, фильм будет снимать. Денег не жаль, отмывает… У тебя спросил? А у той певички аппетиты будь здоров, большие куски глотает, не подавится.

— Вранье, не подливай масла в огонь. Буду думать, — коротко бросила Зойка, изо всех сил сдерживая злость, горячий румянец коварно вспыхнул на щеках, заалели уши, шея.

— Думай, только побыстрей, — щелкнул золотыми коронками Али.

Думала она недолго, мысленно давно созрела уйти в самостоятельное плавание. С Али подготовили новые протоколы внеочередного собрания акционеров, недостающие подписи мелких пайщиков собрали по квартирам. Этим людям новый директор за согласие и молчание давно приплачивал вторую

пенсию, обещал золотые горы всем, кто избавится от последних акций. Но старички сообразили свою выгоду, объединились, наотрез под всякими предлогами отказывались избавляться от акций. У одной дольщицы сын возглавлял спецподразделение районного ОМОНа, как-то нагрянул к Али со своими головорезами, все вооружены, дескать, извини, ложный вызов, с глазу на глаз припугнул директора: отстань от пенсионеров, пусть живут и радуются. Фиктивный директор все правильно сообразил, поклялся не связываться с мамашами милиционеров. Мелкие держатели акций погоды все равно не делали.

Пакет своих акций З. А. Ачкасова выгодно продала какому-то серенькому человечку с невзрачным, стертым лицом, его привез в офис Бахметов, деньги получила наличкой. «Подставной какой-то персонаж, Фунт из «Золотого теленка», — наметанным глазом определила продавщица акций.

Новый акционер — обладатель красивого замшевого портфеля рыжего цвета, туго набитого американскими зелеными дензнаками, — неспешно выложил на стол наличку. После долгого пересчета новый владелец акций к радости Зойки подарил ей рыжий портфель, своими мягкими формами очень напоминавший удобный дорожный мешок. Вместительный баул был для нее знаком. Дальнюю дорогу ей давно показывал пасьянс, значит, так сложилась судьба, все давно предначертано.

За свою сговорчивость она вырвала у Али еще и просторную офисную квартиру на Садово-Кудринской. Купили ее давно, с перспективой для переговоров, но жилплощадь так и простаивала без дела, иногда там ночевали деловые партнеры Али с Кавказа. Молоденьких девушек из эскорт-услуг директор называл племянницами. Иногда они по очереди наведывались по делам к благодетелю в офис, поражая встречных пестротой набедренных повязок, яркими цыганскими украшениями и ночной боевой раскраской. После посещения очередной племянницы в кабинете Али долго не выветривался душный аромат сладких восточных духов, дорогих сигарет и свежеобжаренных кофейных зерен.

Жизнь Зойки за прошедшую неделю сорвалась с катушек, полетела на всех скоростях, замелькали нотариальные конторы, банки, адвокаты, замкнутые лица услужливых клерков, кабинеты в дальнем углу ресторана, где за столиком обсуждались все детали сделки. Она валилась с ног, мечтала выспаться, нервничала, боялась подставы. Сон не шел, вечером привычно запивала снотворное водкой, ее накрывала безмолвная темнота.

Через неделю из командировки вернулся Серж. Звонил в дверь, привык, что ему открывала Зойка, было в том что-то по-хорошему теплое и домашнее. Недоуменно гремел ключами, от дурного предчувствия что-то екнуло. Осторожно вошел в дом, по затылку пробежал холодок. Все сразу понял. Жадно, как загнанный волк, потянул ноздрями, в безлюдной квартире запах кофе давно выветрился, гулял сырой сквознячок, надувая парусами легкие прозрачные занавески. Серж не хотел смотреть на комод, уже знал — мономаховой шапки нет, символа стабильности и успеха, как нет и самой Зойки, верной подружки. Заскрипел зубами, грязно выругался, лицо задрожало в судорожной гримасе.

— Ах, дал маху! Сука, сука, сука… Зойка-сука… Чисто сделано, и все рыжики сдернула.

В пустой квартире не хотелось говорить вслух, и стены бывают с ушами. «Молчи. Терпи… Нельзя ничего отдавать другим, брать — бери, тащи, грабь, воруй что плохо лежит, радуйся удаче, ты — вор, ты — один, всегда один, с этим живи…»

За диваном нашел последнюю начатую бутылку, налил в стакан водки, свирепо ухмыльнулся. «Ты меня обошла, Зайка-убегайка, подрезала. Как классно ты меня подрезала, молодец! Не ожидал… Сам себя наказал, не безделушки жаль, но ты вырвала кусочек моей души, моего сердца. Как больно…»

Впервые Серж почувствовал себя ограбленным, как последний лох. Жалок, ничтожен разоренный, опустошенный человек! От нового, неизвестного ранее чувства униженности хотелось завыть, надраться вдрызг.

«Завтра, завтра… проснусь завтра, а теперь — спать, спать…»

Не следующий день какой-то незнакомец по телефону предложил ему встретиться в управлении.

— Тема базара? — кричал в телефонную трубку Серж.

Он уже знал наверняка, «Зойка-сука и здесь поработала. Кинула на бабки… найду, найду… свое верну, вырву с мясом, посчитаемся… Адью…».

…Над головой тяжелой плитой опускался потолок, сейчас раздавит, скорей бы…

Серж долго, натужно харкал в металлическую кружку, с пеной выскакивали кровавые сгустки. Он с трудом перевернулся на левый бок, прижался к матрасу, знал, станет чуть легче. Действительно, кашель утих, боль отступила, на горячем лбу заструился холодный пот, шея, плечи, подмышки стали мокрыми, сейчас подступит судорога. Он все знает. Натянул на голову грубое солдатское одеяло, закусил зубами левую кисть, поджал ноги, надо унять сильную дрожь. Когда же закончатся эти терзания!

Как только отступают приступы кашля, в минуты короткой передышки из прошлого всплывают забытые видения, лица искажены, но он узнает в них мать, отца, Зойку…

На отце серый, мышиного цвета мундир, он сидит высоко на горе, под ним колченогий стул, он тихо раскачивается, обхватив голову руками, лица не видно. Не надо, сейчас ты упадешь, разобьешься… Отец зовет посмотреть свою новую квартиру. Идем по старой лестнице обшарпанного дома. Квартира чужая, одна комната, рядом дверь в чулан. Там нет окон и в кучу свалено постельное белье, матрасы, нет кроватей, говорю, как же здесь жить в этом чулане без окон.

…Входная дверь, глубокая ночь, в дверь вставлен новенький замок. Замер, открыть не могу, у меня нет ключа от дома, прислушиваюсь к звукам, но там — тихо. Всплывает черное обугленное лицо матери, вместо глаз пустые впадины, она что-то шепчет, слов нельзя понять, но так горько, так страшно, все внутри горит огнем. Просыпаюсь, лицо от слез мокрое, соленое… Мать меня не узнала, а если и там… не узнает?

…Зойка все время улыбается, красивая, плывет прямо в руки, легкость необычайная… Почему-то короткая стрижка, нежный затылок открыт, она тянется ко мне губами, дразнит, отзывается, задыхается от счастья, горячо, хочется прикоснуться к ее теплой щеке, но лицо Зойки меняется, трансформируется, и уже лезет страшная крючконосая старуха, она громко хохочет, злобно впивается в ухо, слышен хруст. Неужели старуха жрет мое ухо… Потом снова Зойка, она берет в руки крупную алую клубнику, хочет отправить в рот, раздумала, из ягоды медленно тянет за голову мертвую, замороженную крысу…

Что за жуть лезет в глаза, мертвецы, упыри, кровопийцы, неужели перед концом? Не верь, не бойся, как там дальше... воровская бодяга... Как жил, так и подыхать...

Серж всегда был предельно осторожен, даже подозрителен, жизнь научила — никому не доверяй, никому и никогда. По природе своей он давно одиночка, так сподручней, на себя одного надейся и отвечай, меньше будет хлопот. Но с подружкой многое изменилось, жизнь вошла в свои берега, появилась уверенность, надежда, Зойка растворилась в нем, стала его кровной половинкой, незаметной, естественной, как дыхание, лишись его — и конец!

Большая редкость — найти свою женщину, многие мечтают о такой удаче, о таком счастье. Все ее — по нему, размер в размерчик, даже грудь, маленькая, девичья, удобная, как раз ляжет в его ладонь. Бабы с искусственными сиськами вызывали ухмылку — профессионалки, что там подложили, пятый размер силикона...

Все давно выгорело, пусто, мертво, ничего не осталось, даже воспоминаний.

Лишенный материнской любви, он искал в женщинах спокойную ласку, заботу, отзывчивость... и не находил. Жизнь изменилась, женщины изменились, стали другими. Прикидываются овечками, опасно иметь с ними дело. Продадут за копейку, лживые, продажные щуки... Любви нет, а Зойка своя, из одного города, у нее теплые, ласковые руки, ладони пахнут ромашкой, цветочным лугом, покупает ромашковый крем, мыло, шампунь. Она вся такая свежая, родная, чистенькая, ее тело отзывчивое, ничего не требует.

Всех подробностей тайной жизни Сержа Зойка не знала, жгучего женского любопытства к теневой стороне партнера не испытывала. Зачем ей чужие камни на горбу таскать.

Личная жизнь Сержа для его окружения была под запретом. Никто не знал его настоящего адреса. Гостиницы, рестораны — да, но моя хата — моя, не база для всех, не притон. Подружка нигде не засветилась, штамп в паспорте не стоял, в комбинациях партнера все так и было задумано, пару все устраивало.

В минуты откровенности и близости Серж с некоторой долей сомнения делился с Зойкой планами на будущее.

— Когда-нибудь ты будешь приятно удивлена плодами моих трудов.

— Приблизительно нарисуй это будущее, — поддерживала ход разговора Зойка. Знала, бесполезно что-то выспрашивать, клещами ничего не вытянешь. Стена, зачем биться о стену.

— Узнаешь, не сейчас, еще не время.

Она не предохранялась, по молодости думала — будь что будет, и страха не было. Спроси ее — хочет она сына или дочь, сразу и не ответит, росла в семье одна, чужих маленьких детей любила. После десяти лет совместной жизни не беременела, к врачам не ходила, доверялась случаю и божьему промыслу.

Молодая женщина, неспособная забеременеть, отличается от тех, кто ждет ребенка или планирует, в голове устроена такая специальная клеточка, что-то вроде пульта, ответственного за таинство хода жизни.

Зойка не знала всех тонкостей механизма своей радостной и чувственной природы, ее особенного устройства — быть желанной с любимым, безотказной и праздничной затейницей. Близких подружек по этой части не завела. Опасно делиться слишком откровенным, предельно интимным, но чувство-

вала, Сержу не нужны другие женщины, умела насытить его всем: страстью, плотью, выжать до предела, потом легко оттолкнуть его, как тихую лодку, «плыви, мой дорогой, мой единственный, в мир наслаждений».

В их играх сочеталось редкое единение духа и плоти, понимание без пустых слов, одно наитие, подчинение друг другу. Чего еще искать! Он давно добровольно покорился ей, принял ее правила любовных утех, в свою очередь Зойка не раскрывала свои маленькие тайны. Зачем? Оставайся неожиданной, не завоевывай все пространство Сержа, пусть и для него будет один уголок, не занятый женщиной, и ему надо глубоко дышать, молчать, оставаться наедине с собой. От себя тоже устанешь, бывают такие трудные минуты в жизни… и близкая женщина может стать обузой.

Зойка знала: соперниц у нее не будет. Ей не надо было себе врать, приспосабливаться в те упоительные моменты, когда их тела и души сливались в одно целое.

Серж давно заматерел в бизнесе, стал на ноги, легализовался, переводил средства на счета в офшор, в Италии и Греции приобрел несколько домов, квартиры, ждал время «Х», чтобы тихо уплыть в теплые страны, подальше от московских сквозняков и осенней сырости. Ничем не обрастал, дачи, виллы требуют сил и времени. Надо быть легким на подъем, в случае чего все должно уместиться в одной руке.

Зойка не знала, что Серж давно сделал ее наследницей своего состояния. О масштабах предприятия не догадывалась. Ее афера с бегством поставила Сержа перед фактом: надо найти беглянку и жестоко наказать, к подруге был свой счет, предъявит черную метку один на один, знать будут только он и она.

Не знал одного: за ним уже началась настоящая охота. Перешел дорогу влиятельным покровителям Али, самое лучшее решение — убрать с дороги конкурента. Быстро и без свидетелей. Место его хаты выследили, как и вычислили весь распорядок скрытой жизни. В один из вечеров киллер уже дежурил на лестничной площадке, пуля прошла под правой лопаткой, задела кость и нерв, рука после операции висела вялой плетью.

Серж долго болел, «коллеги» по бизнесу помогли, спустили на него всех собак. Ребята из секретной конторы очень интересовались связями нашей мафии с зарубежной, в этой горячей и опасной цепочке нашли крайнего, по обе стороны фронта закрывались большие проблемы. Внезапно, хотя такие варианты предполагались, подготовил пути отхода, новые документы, но круг для него замкнулся, не рассчитал свои силы и подвязки, загнали за красные флажки. За границу не успел, в аэропорту его уже дожидались незаметные ребята со стальным взглядом, тихо повязали — на тот момент у Сержа на руках был новенький паспорт на чужое имя.

На личного адвоката потребовались немалые деньги, никто не хлопотал за подследственного С. Г. Ярошко. В тюрьме обострились старые болячки, на раненой лопатке образовалось мокнущее нагноение, рана не заживала, рука сохла. На спине появился бугорок, сначала с пятнышко, начало расти, напоминало маленький горбик, поскрипывал, как старый, больной сустав, ныл в непогоду, лежать на правой стороне стало невозможно.

Организм слабел, больному требовался индивидуальный уход, возможно, повторная операция, специальное питание, лекарства, витамины, теплый морской воздух. Сержа часто переводили в больничку, палата была переполненной, он лежал у холодной стены, все кости ломило, больные надсадно кашляли, сипели, плевались, от туберкулезного соседа Серж заразился палочкой Коха.

Почувствовал, что рассыпается, гниет заживо, его оставляли последние силы и надежды. Туберкулез перекинулся и на суставы, к старым мучениям пораженных легких добавились новые.

Закат жизни Серж принял спокойно, как и условия тюрьмы, замолчал, не принимал участия в жизни зоны, замкнулся в себе, не вмешивался в чужие дела и разговоры, экономил остаток сил. Его скрытая, внутренняя жизнь продолжалась, она тревожила, истязала вопросами, на которые пытался ответить. Погружение в себя спасало от окончательного надлома.

Странно вот, есть свои законы на воле, их я нарушал, там — воровал, грабил, и было не западло, но не убивал, мокрухи на мне нет. Была у меня женщина, думал, единственная — любил ее, и она... Здесь, на зоне, свои законы, железные: не стучи, не кради, уважай отца и мать. Попробуй здесь укради. Получается, и те, и эти законы совпадают. Отчего же жизнь так несправедлива!

В свой последний рабочий день в конце апреля в Москве Зойка попросила у Али Магометовича машину с водителем, заскочила на съемную квартиру. Веки глаз воспалились, болезненно слезились, сквозь соленую пелену попрощалась с гнездышком, где они счастливо жили. Схватила с комода лохматую шапку, нелепо украшенную горящими бриллиантами, и выскочила на площадку. Было слышно, как звонко застучали ее каблуки. Не дожидаясь лифта, понеслась вниз, лихо перепрыгивая через ступени. До последнего казалось, что все происходит не с ней, не ее жизнь — чужая. Ловила себя на мысли: какой увлекательный боевик, она всего лишь сторонний наблюдатель.

В тот же день перевела деньги на личный валютный счет, успела купить горящий тур в Грецию, улетела из Шереметьево буквально в чем стояла. В руках замшевый портфель рыжего цвета, смена белья, пара пляжных шлепанцев, яркое желтое полотенце с черными пальмами и банковская карточка. Плюхнулась в кресло, перевела дух, «загнали бедную лошадку, загнали...». Рядом сидел суховатый старичок профессорского вида, острая седая бородка, строгий взгляд из-за стекол очков. Попросила стюардессу принести апельсиновый сок. Достала плоскую дамскую фляжку с коньяком, незаметно перелила коричневатую жидкость в стакан и с жадностью выпила горький напиток. Сосед вдруг понимающе улыбнулся.

— Are you o’kay?

Зойка все поняла.

— У меня все о’кей... нет проблем, могу предложить армянский коньяк, за знакомство — Зойка.

Неожиданно протянула суховатому старичку профессорского вида дамскую фляжку, тихо засмеялась, высокий хвост на голове задрожал, из глаз брызнули мелкие слезки, напряжение последних дней вылилось горячим потоком. Сосед взял у нее из рук фляжку, пригубил.

— Zoika. My name is Fred, everything will be good. Stop crying. It happens sometimes.

За три часа перелета Москва—Афины Зойка выдула из своей фляжки весь коньяк, сухой комок в горле растворился, стало легко дышать, голова кружилась, вспоминала свой школьный английский, пожалела, что не пошла на курсы.

Вежливый Фредди вдруг перешел на сносный русский.

— Зой-ка, красивый имя, греческий, библейский Зо-ис, по-русски жизнь, понятно?

— Понятно, понятно, летим в Грецию, там все греческое, и мое имя греческое.

— Одно имя — Эва и Зоис, перевод такой, понятно?

— Непонятно. Ева первая женщина, соблазнительница Адама, грешница, — кокетничала Зойка. Слезы давно высохли, взгляд приобрел свою привычную пронзительность, которым она оценивала людей, вина, драгоценности, обстоятельства.

—Да, да… Она мать Каина, Авеля, Сифа…

«Боже, как хорошо, что не послала Фредди куда подальше, приятный человек, не лапает за коленки и выпить здоров».

Фредди оказался бесценным советчиком, попутчики обменялись телефонами, еще в самолете ей заявил, что никогда и никому не помогает деньгами, даже собственным детям, но его рекомендации и советы дорого стоят. У себя дома он как рыба в воде, его инвестиционная компания «Ο φρέντι και η εταιρεία» известна своей солидной репутацией.

— Мне ваши деньги не нужны, тут бы… со своими управиться, чужая страна, одинокая женщина, есть проблемы, мужа вот похоронила недавно, — жалобным голоском соврала Зойка.

— Не волнуйтесь, Зоис, довезу вас до гостиницы, мой помощник все устроит… Надо подумать о вашем будущем, давайте встретимся через три дня в моем офисе, помощник назначит вам время, — предложил Фредди.

Наконец приземлились в аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах. После салона, охлажденного кондиционерами, ей показалось, что она попала в горячую сауну, мутило от выпитого.

Из московской кутерьмы она выскочила, без передышки попала в какой-то сумасшедший дом, все завертелось, не успевала заверять документы личной подписью, вникала в то, что говорила ей улыбчивая переводчица Мари, которая оказывала мелкие услуги Фредди.

Через три недели к своему удивлению Зойка обнаружила задержку месячных. Не стала паниковать, у нее случалось такое несколько раз, воспалился цистит, пролечилась, все восстановилось. Решила подождать. Недели шли, ничего не менялось. Поход к врачу подтвердил — женщина беременна. Ну что ж, так тому и быть, буду рожать.

Фредди как раз открывал в своей компании перспективный русский отдел, ему очень пригодилась Зоис, она оказалась весьма деятельной, понятливой и легко обучаемой. Грек сделал запросы в банки, навел справки о легальности денег госпожи Achkasova. Процедура не заняла много времени, тут и выяснилось, что госпожа Achkasova не просто богатая наследница, но очень богатая дама. Фредди оживился, помог в устройстве ее финансовых дел, подсказал, как нанять доверительного управляющего, в какие ценные бумаги вложить капитал. За свои консультации счета выставлял доверительному управляющему, смышленому малому, он держал его в курсе всех дел Зоис.

Зойка и здесь не изменила своим привычкам — ничего вызывающе роскошного, броского, дисциплина, минимум косметики, простая, удобная одежда, туфли без каблуков. Длинные волосы стали мешать, хвост тяжело оттягивал затылок, надоело массировать шею. Сбросила старую прическу, как ящерица сбрасывает старые одежды, мешал жаркий климат.

Подстриглась под короткий ежик. Сама себя не узнала — новое забавное лицо понравилось, спокойные славянские черты, серые задумчивые глаза. Беременность свою переносила хорошо, ноги не отекали, токсикоз не мучил, живот под цветным льняным платьем на узких бретельках был

почти незаметным, на чистой коже никаких уродующих женщин коричневых пятен.

УЗИ показало — крохотный мальчик, на шестом месяце плод весил почти 800 граммов, на экране монитора ребенок активно сосал пальчик и улыбался. До самого рождения давал о себе знать, активно колотил ножками. Будущая мама держала теплую ладонь на животе, разговаривала, пела песни, готовилась к новой роли. Каждый вечер молила господа, за что ей такое счастье, богатство, здоровье, ребенок. «Одни подарки! Боже, ты так благополучно устроил мою жизнь, грешница я, грешница, предательница». В своих ночных прошениях молила устроить жизнь Сержа. Опасалась, что сказка может так же неожиданно закончиться, как и началась. В ее мольбах было что-то здравое и чрезмерно рассудочное, вроде выгодного обмена, ты — мне, я — тебе.

Новое положение, неизвестная страна, радостное ожидание чуда — рождения ребенка, а ведь это настоящее чудо, перевернуло все в ее жизни. Иногда среди ночи просыпалась, говорила себе — это сон, наваждение… щипала себя за щеки, но близкий шум волн успокаивал.

Фредди помог в выборе дорогой покупки — небольшой белой виллы у моря, подальше от гостиниц и туристов. Зойка боялась огромных площадей, мраморных лестниц, анфилад, античных древностей, высоких арф с узким горлышком, лазурных бассейнов из рекламных каталогов. Белый дом, упрятанный в глубине старого зеленого сада, обрадовал ее своей прохладой, угрюмыми тенями, мхом на дорожках с неправильными линиями, безмолвием. Она играла роль хозяйки, молчаливо бродила по удобному дому, обживала комнаты, никак не могла привыкнуть к исполнительному водителю Лукасу, его невозмутимой жене, она же горничная Гера. Прислуга владела необходимым минимумом русского языка.

Каждый день к ней приезжала соотечественница Мари, женщина после пятидесяти, загорелая седая блондинка, давала уроки греческого и английского, ученица не напрягалась, старательно училась языкам. Мари давно жила в Афинах, вышла замуж за англичанина, родила дочь, теперь она взрослая, работает в Швейцарии архитектором, успела развестись, переехала в Грецию, открыла школу для переводчиков и мобильную турфирму.

Мари держала дистанцию, но иногда хозяйка дома позволяла себе легкий ужин с переводчицей, говорили о советских старых фильмах, актерах, еде, винах, культуре Древней Греции. Зойка восторгалась средиземноморской кухней, непритязательными салатами, рыбой, фруктами, оливковым маслом, все это так полезно будущему ребенку.

Ранним утром первого дня Нового года отошли околоплодные воды, начались схватки, роженица держалась дисциплинированно. Ребенок вышел легко и быстро, удивив немолодого, опытного врача частной клиники. Роженица порадовалась за себя, она легко перевела его слова «Αυτές οι ρωσίδες υπομονετικοί» — эти русские женщины терпеливые.

Для себя решила: сына назову Сержем и в свидетельстве запишу Серж. Как оправдание перед собой, перед Серегой-старшим, перед небом. Он, Сержик, искупит все ее вины и перед людьми, и перед Богом. Врач заметил родимое пятнышко за левым ушком, что-то говорит о современных медицинских технологиях, такая мелочь, ребенок подрастет, небольшая косметологическая операция, никаких проблем.

Все хорошо, впереди новая незнакомая жизнь. Кто знает, может, когда-нибудь и встретит Сержа, они узнают друг друга на этом свете или в других пределах…

Ночью в тот день на узкой кровати под казенным одеялом Сержу не спалось, грудь надрывалась от надсадного кашля, внутри собрались крохотные воздушные шарики, они тихо свистели, пищали и лопались, все болело. Днем проваливался в чуткую полудрему. Казалось, что правая лопатка трещит сухим треском старого дерева.

Две соседние кровати пустовали, еще одну занимал разговорчивый, заросший клочковатой бородой старик. Он давно бомжевал на вокзалах, попрошайничал, ближе к зиме на глазах милицейского патруля что-нибудь демонстративно крал, попадался с поличным. Потом в СИЗО сознательно совершал мелкое членовредительство, пускал много крови, но без тяжких последствий, его хорошо знали местные следователи, устраивали в больничку. Здесь он отлеживался всю зиму, зализывал раны, ближе к теплу сердобольный врач выписывал.

— До свиданьица, — со смыслом прощался бомж, намекая на будущую встречу.

Старик любил пофилософствовать, его тянуло на разговоры, но у Сержа не осталось сил спорить с соседом, вполуха слушал монотонный голос.

— …молодой еще, а дурак… видать, и мамка есть, а жизнь плохо заканчиваешь… Мы вот на свет божий появляемся. А зачем, я тебя спрашиваю, зачем? Никто не знает… Чтобы сразу на помойку жизни отправиться? А ведь для чего-то хорошего мы были запланированы, может, и для великого, так сказать, у каждого своя планида. А что вышло? Меня сызмала куда-то тянуло, мать померла, батя быстро молодую мачеху в дом привел, а та меня невзлюбила. А как у них дочь народилась, Сонька, так мне жизни и вовсе не стало, сбежал по весне… Куда меня только не кидало, добрался до Ленинграда, мальчонкой попал на борт корабля, взял боцман юнгой, был у всех на побегушках. Закончил мореходку, ходил в Калининграде на рыболовецком траулере, меня и сейчас от рыбы мутит, объелся, понимаешь, особенно палтуса, трески… Потом у меня как-то интерес к жизни пропал, совсем… даже к женщинам охладел, стал странствовать, дошел до Соловецкой обители, работал послушником, был и каменщиком, маляром, плотником… А все не то, тягостно мне, пить стал, а водка что, зальешь нутро, проспишься, а все то же, тоска смертная. Мне один монах так и сказал: пустой ты, Василий, человек, нет в тебе стержня, вот тебя и носит по свету, как сорняк, ни плода от тебя, ни пользы… Как дойдешь до крайней точки, может, и возродишься. До какой такой крайней точки, не уточнил, но все так и случилось, как старец предрек. Ты думаешь, сколько мне лет, думаешь, я старый, да? А я, может, не шибко старше тебя, но уже весь сгнил изнутри, только кровью еще не харкаю. У тебя туберкулез последней стадии, а у меня тоска последней стадии. Вот все думаю, на что-то же Господь меня сподвиг, если я подобие его, а? Молчишь, ну, молчи, молчи… Вот помрешь сегодня, сипишь уже, посинел весь, не приведи господи, а рядом только я… Мне тоже не хочется быть рядом с покойничком. Ты вот что — вспоминай, припомни начало, с чего у тебя пошло все вкривь да вкось, ты всех прости, раз скоро преставишься, мне так монах говорил, старец что-то такое знал и про меня, и про всех. Я так сразу при нем онемел, поганые мои слова будто примерзли к губам…

Бомж перевел дух, отхлебнул холодный чай, о чем-то задумался, в палате повисла тишина, слышно было тяжелое дыхание соседа, привстал, вглядываясь в больного, подошел к нему, присел рядом.

— Монах мне сказал, — старик наклонился к уху Сержа, заговорил шепотом. — Каждый человек чувствует свой предел, окончание, так сказать, зем-

ного пути… вот и ты. Не бойся, думаю, там, — бомж повел неопределенно головой и посмотрел куда-то вверх, под своды потолка, — там не будет хуже, а может, и лучше, там и путь-дорожку твою кривую можно исправить. Не вором же ты народился, нет, а для чего-то другого…

Серж почувствовал облегчение, боли отступили, дышалось ровно, спокойно, перевернулся на спину, правая лопатка с гниющей раной не болела. Удивился резкой перемене. Захотелось насладиться покоем, воздушной легкостью во всем теле, кончились мучения…

Сосед снял с шеи веревочку, на ней висел простой медный крестик, разорвал ее, из куска тонкой бечевки свил колечко, накрутил его на мизинец Сержа. Тот хотел оттолкнуть чудаковатого бомжа, но рука не поднялась, лежала бессильной плетью.

— Вспомни все, отмотай назад свою жизнь и застолби то место. Может, тебя и помилуют силы небесные… Ты знаешь, страшно жить здесь, а *там* тебя встретят, хорошо встретят, *там* столько родни собралось, ждут… А что жизнь? Грехи наши тяжкие, ничего хорошего, приходим в этот мир чистыми, как малые дети, а потом смердим… Смерть — избавление, всего-то избавление… от грехов, от оков.... Праведных быстро забирают, билет долго не выдают большим грешникам, он уже и не здесь, но и не *там*… Вспомни утро своей жизни, полегчает…

Негромкий голос соседа казался тонким, звенящим, а в голове что-то росло, напряженно раздувалась какая-то горячая точка. «Сейчас лопнет, как струна, и конец… конец всем мучениям, всей жизни…»

Лицо старика расплывалось, теряло очертания, всклокоченная борода, седые волосы исчезли, остался один голос, а потом все отступило в непроглядную мглу.

На подоконник приземлилась зеленогрудая синичка, коротко чиркнула свое «пи-ли», неудачно взлетела и стукнула клювом о стекло.

— …но если взошло солнце, записано в Священном Писании, нет такого права убивать вора, иначе вина в смерти человека падет на тех, кто вынес смертный приговор…

Бурый потолок в темных разводах поплыл, стены, выкрашенные в зеленую краску, плавно закачались, в груди засипело, как будто в ней случился прокол, и накопившаяся муть, слизь, спертый, внутренний газ вдруг начал понемногу выходить, словно воздух из прорезанной велосипедной шины.

Стало легче, холодная испарина тонкой струйкой потекла по шее, спине. Серж провалился в какой-то гулкий, черный колодец. Он долго летел в глубину, мелькали тени, лица, свистело в ушах, он слышал обрывки забытых мелодий, голоса, крики, сильное эхо ударило по ушным перепонкам, оглушило, но боли не было. Босые ноги почувствовали приземление, теплую воду. Она тихо плескалась, омывала усталые ступни, тянуло лечь прямо на волны, раствориться в светлом, прозрачном мерцании реки. Река серебристо мерцала, как рыбья чешуя. Лицо медленно погружалось в мягкие речные струи, тело казалось легким, бесплотным. Ноги нащупали дно, здесь было совсем неглубоко. Голова уткнулась в песочный берег. Солнечный свет ласково щекотал закрытые веки. Не хотелось открывать глаза. Это марево, сновидение, сейчас все закончится, и я проснусь.

— Парень, ты чего, нахлебался? Давай руку, подмогу.

Угрюмый старик в видавшей виды солдатской пилотке согнулся над темноволосым мальчиком, тот только что вынырнул из воды, почти бездыханный, смертельно бледный, с синими губами, он еще плакал, несвязно бормотал, в

каком-то мучительном беспамятстве откашливался, всхлипывал, звал кого-то по имени.

— У тебя солнечный удар, целый день на солнцепеке… видел тебя, твой дружок давно сбежал, объел куст малины и ходу, а тебя бросил... Думал, ты утоп, а ты счастливчик. Как зовут?

Мальчик с трудом разлепил тяжелые веки, вспомнил сонного рыбака, что дремал утром на берегу, сидя на перевернутом ведре, выдохнул:

— Серый… Сергей.

Хотел рассказать про сон, который еще несколько минут назад помнил так явно, отчетливо, со всеми мелкими деталями. Теперь видения ускользали, исчезали, как будто быстро сворачивалась старая кинолента, и все ее кадры рассыпались и превратились в пыль. Из горла у него вдруг маленьким фонтанчиком брызнула вода, окрашенная алой кровью.

— Ох ты, парень, лежи, лежи пока, дыши глубоко, не бойся, ты жив, не утонул…

Мальчик не понимал, как он оказался в воде, голова гудела и раскалывалась от боли, мизинец левой руки болел, его покалывали мелкие, острые иголочки. Он поднял вверх тяжелую руку, мизинец был передавлен тонкой бечевкой для упаковки, такой обычно перевязывают в магазинах коробки. Он пристально всматривался в колечко из тонкого шпагата, силился вспомнить что-то очень важное и не мог.

К нему подошла сероглазая девочка в белой панамке.

— На, — протянула красноватый слоистый камень в черно-золотых прожилках, на солнце они рассыпались зеркальными капельками брызг.

Камень был влажным и теплым, как и рука девочки.

— Красивый, — отозвался мальчик.

— Это слюда блестит, — сказал рыбак. — Тут много таких камней.

Молодая женщина в соломенной шляпке с красной ленточкой в белый горошек окликнула девочку.

— Зоя, вернись, мы уже уходим!

— Зоя, Зоя, — повторил мальчик.

Когда-то давно он слышал это звонкое имя, но где, когда, забыл, все забыл. Слово «Зоя» заливчато отозвалось в голове слабым эхом, булькнуло, как камешек по серебристой воде, и исчезло в глубинах памяти.

Мальчик чувствовал во всем теле невероятную тяжесть, спина ныла, как у глубокого старика, ломило в суставах, в глазах застыла печаль, будто он прожил долгую-долгую жизнь…





Мария АНТАНАС

Неотлюбленное, непрожитое

* * *

Не выдумывай ты, душа, лишнего,
Не выдумывай!
Ой же, поздно тебе — белой вишнею,
Зрелой будь,
Будь задумчивой!
Его образ, как Солнце, лучистый,
Как последний листочек мой.
И поется сегодня так чисто,
Выдыхается как: «Дорогой!»
Не вспугни же! Не выдумай лишнего…
Дай тревожно всмотреться в печаль…
Подари молодым свои вишенки,
А сама уходи в свою даль!..

Песня

Неотлюбленное, непрожитое,
Ты в полях и лесах расцветай!
Василек, колокольчик и жито.
Вересковый, сосновый мой край!

Это поле мое и тропинка,
Мне которую не обойти…
Я попала в тебя, паутинка
Счастья-призрака на пути.

Золотой! Мои песни — Твои все,
Дорогой! И стихи все — Твои!
Как в пшенице я, как в медунице,
Как в лугах, где поют соловьи!

Неотлюбленное, непрожитое,
Ты в полях и лесах расцветай!
Василек, колокольчик и жито.
Вересковый, сосновый мой край!

* * *

Есть у Тебя все-все, чтоб жить,
О милый!
Но почему душа дрожит
Без силы?..

О, что ты ищешь все, скажи,
Глазами?
И почему мы для души
Полынью сами?

Есть у Тебя все-все, чтоб жить,
О милый!
Но почему душа дрожит
Без силы?..

* * *

Боже мой, я так тужу,
Нет нигде мне места.
Я себя не погашу
Никакою вестью!

Но — не вторгнусь я в Ваш сад,
Не сорву черешни…
Я — такой уже опад,
Безутешный!

Если б знала, как мой сад
Встрепенется вешне!
Это град, как камни, град.
Сердца гром. И — песня!

* * *

Я жить без счастья не могу!
Вы так необходимы мне!
И к Вашей я душе бегу!
Бегу средь дня, бегу во сне!

И к Вашим песням, и к глазам,
Что все-все понимают.
А я… Ну, кем же, кем я Вам —
Журавка бедная, без стаи?..

Перевод с белорусского автора.



Екатерина МЕДВЕДЕВА

Рассказы

Тебе я место уступаю

ВС брал билеты на вокзале, когда внезапно поймал из толпы чей-то пристальный взгляд. Человек в элегантной серой шляпе, с плащом, перекинутым через руку, смешался, но глаз не отвел и стал пробираться к нему. «Откуда я его знаю?» — подумал ВС. И вспомнил, как только услышал первые слова:

— Как вы постарели, Володя. Только по глазам и узнал. Я вижу, вы так и не воспользовались моим подарком, — сказал он мягко.

— Нет, — покачал головой ВС.

— Он все еще у вас?

ВС кивнул.

— Но почему же вы не…

— Не знаю, — сказал он. — Не смог выбрать момент. Не смог решить за остальных… Отобрать у них…

— Отобрать у них? Или подарить им? Вы странно смотрите на вещи, — сказал человек. Поглядел на часы. — Что ж, приятно было видеть вас, простите, спешу, — он коснулся шляпы тем изысканным движением, что уже не в ходу сейчас, и быстрым шагом исчез в толпе.

Дома ВС долго ходил из комнаты в комнату, пока дочка не затревожилась.

— Папа, что? Сердце?

— Нет, нет, милая, это я так.

— Покоя думы не дают? — улыбнулась она.

«Покоя дайте мне, вы, думы злые». Эта цитата из Петрарки была у них дома в ходу. Семья филологов, что с них взять. Он заставил себя сесть в кресло и скрыться за газетой. Вот, еще один предмет, принадлежащий прошлому. В их девятиэтажном подъезде газеты выписывал он один. Другим старикам было не по средствам или не до новостей, а молодежь черпает информацию из новых источников. А ему была нужна эта газета, не ради чтения, а как своеобразный ритуал, маленький якорь, держащий его в гавани.

Он вспомнил Щёлоково, пыльное, полупустое, тогда почти заброшенное, с заколоченными окнами и разбитыми дорогами. Колодец, курятник, бабка заставляла полоть огород, а он хватал велосипед и исчезал до вечера. Шестьдесят с лишним лет прошло, а ВС помнит запах солидола и звяканье цепи того велосипеда. И яркий букет васильков на веранде дома, куда он заехал напиться воды. Дом на отшибе, у озера, где комарье и сырость. ВС только потом понял, почему при всем своем достатке они сняли именно этот дом.

Идеальная семья, так он мысленно называл их. Дочка рисовала, сынишка играл с бильбоке и с солдатиками, родители были молоды и невероятно

элегантны. ВС — тогда он был просто Вовочка, а не Владимир Сергеевич, конечно, — зачастил к ним, приносил орехи и землянику, играл с мальчиком. А мальчик показывал ему тайком сундучок, закрытый на ключ, говорил, что там «их счастье». И трогать нельзя. «Деньги, наверно», — умудренно, по-взрослому думал семилетний Вовочка.

О, как они напряглись, увидев его в первый раз. И как испугались, когда он вернулся через двенадцать лет.

Он приехал в заброшенную деревню в ноябре, вместе с родителями, навестить пустующую избу и бабкину могилу. Вечером увидел свет в окнах приозерного дома. Удивился: дачники, сейчас? А жильцы оказались те же — во всех смыслах слова. Красавица-жена без единой морщинки, мальчик с бильбоке, и девочка с косами, и отец семейства нервно курит, сбивая пепел мимо пепельницы… Как будто не двенадцать лет прошло, а двенадцать минут. Они были не рады его визиту. Предложили чаю, достали из буфета варенье и изюм, а могли бы и пришибить, никто б не узнал, часто думал он впоследствии, бултыхнули б в озеро и привет.

Но они решили откупиться. Мужчина отвел ВС в комнату и достал из сундучка — не деньги, не бриллианты, не кощееву смерть, а какую-то невзрачную безделушку, вроде закаточной машинки: видавшая виды, щербатая, с деревянной ручкой. ВС был как во сне, не понимал, что ему говорит хозяин дома. Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Надо просто закрутить, законсервировать, что угодно — банку варенья, флакон духов, бутылку с воздухом, — и время для тебя остановится, и для всех, кто с тобой семейно связан… Штучка одноразовая, так что выбери верный момент... Тот, кто мне отдал это, жил уже триста лет… Я его вычислил, и он отдал мне это в обмен на сохранение тайны… Теперь я прошу о том же тебя. Возьми — и уходи, и забудь про нас.

И он взял, и ушел, а они смотрели с веранды ему вслед.

Наутро ВС считал все дурным сном (видно, перебрал на погосте, бабку поминая), пока не наткнулся на эту закаточную машинку. Машинка была настоящая. Он бросился к озеру, потребовать объяснений, расспросить, понять. Но дом пустовал. Забытые связки книг, обрывки бечевы, газеты, разбитая тарелка, тюбик с краской — следы поспешного бегства были повсюду. Ему было неловко и чудно оттого, что своим визитом он спугнул с обжитого убежища это странное семейство.

«Возьми пустую банку. И закатай ее. И храни. Пока она цела, вы будете жить — все, кто был в доме в этот момент. А надоест — разбей». Интересно, как же им удавалось не привлекать внимания много лет? «Теряли» документы и, восстанавливая, смеялись: «Ну что вы, какой же год рождения 1907-й, нет, 1967-й, это опечатка была…» И переезжали из города в город, задерживаясь на пять, десять лет, до первых косых взглядов, до первых расспросов, и срывались с насиженного места, чтобы бежать дальше и уносить с собой в сундучке свое «счастье» в стеклянной банке, да только счастьем ли было оно?

Закаточную машинку ВС привез из Щёлокова домой, сунул в ящик стола и забыл. Ему было девятнадцать. Учился, подрабатывал, бегал на свидания, писал свой первый (и последний, как стало ясно впоследствии) роман. В ту пору не остановить время хотелось, а пустить его вскачь. Потом интересная работа, женитьба, появление дочки, своя квартира, поездки на море, обожаемая всеми собака. Прекрасными мгновениями воздух был наполнен, как озоном после грозы…

Первый раз он потянулся за машинкой, когда их овчарка Леди состарилась. Она была еще здорова, но надолго ли? И как будет рыдать дочка… Может, лучше пусть будет как сейчас? Но что же, собаке теперь вечно терпеть одышку и тяжело переставлять лапы? К тому же, жена с нетерпением ждала выхода своей монографии, гордилась и радовалась, и оставить ее в этом вечном ожидании он не имел права…

Потом ВС не раз порывался остановить время, — пока дочка молодая и они с женой крепкие, здоровые, пока никто еще не заболел и не мучается, — но как же не выдать дочку замуж, да и внука дождаться хочется, розовых пяточек, пушистой макушки, пеленок-распашонок и того искрящегося, хрустального счастья, что переполняет всех, когда в доме появляется младенец…

Так жизнь и прошла. Он хватался за машинку, но всегда его что-то останавливало. А в нынешнем декабре, в канун Нового года, под бой курантов, ВС вдруг отчетливо понял, что скоро ему уходить. Период дожития подходит к логическому завершению. Ему не было страшно, слишком многие ждали уже на той стороне. Всю жизнь боялся чего-то — прививок и зубных врачей, экзаменов, армии, отказов и измен, бедности и ответственности… Смерти боялся. Теперь перестал. Как будто израсходовал запасы страха и наслаждался покоем… Внучками любовался. Старшая вся светится, впервые влюблена, а младшая — нежданчик, сюрприз, сокровище, — только научилась ходить. …Как жаль, как жаль, что мы все проходим одной и той же тропинкой, что и Лиза с Маруськой поблекнут, отцветут, хотя сейчас в это еще не верится, нет, конечно, нет, разве могут стареть такие розовые, росой умытые девочки…

Да, мгновенье было прекрасно. Прибран дом, пахнет хвоей и мандаринами, серебристый дождь покачивается на елке от сквознячка… Все здоровы, кроме ВС, конечно, но и он еще крепится, и будет вот так вечно сидеть в углу в кресле и по-над газетой ласково смотреть, как они, молодые, живут.

Ведь не бывает вечного счастья. Он помнил, как сделал это горькое открытие лет в тридцать. Жизнь — это долгая дорога от одной потери к другой, от одной проблемы к следующей, а счастье — лишь короткие передышки между трудностями и заботами… И ему как никогда захотелось остановиться. Сейчас. Когда все благополучно. Никого не нужно хоронить. Никто не лежит в больнице, не ждет операции. Никого не выгоняют с работы. Никто не ушел гулять и не пропал. Ни у кого нет даже экзаменов… Все счастливы. И пусть так будет вечно.

Он суетливо поспешил на кухню, открывал шкафчики, потом с табуреткой полез на антресоли. Дуршлаги, сита, пароварка, запас спичек и свечей, куда же он ее дел? Табуретка вдруг качнулась, и он охнул, пошатнулся, ухватился за притолоку, со стуком упала на пол тапочка, а входная дверь хлопнула, и жена, со стопкой грязных тарелок в руках, уже спешила из гостиной к нему:

— Ты что ищешь?

— Кто пришел? — сердито спросил он. Чужие сейчас ни к чему.

— Никто. Это наши на елку ушли, только Маруську оставили, крепко спит, я заглядывала.

Кряхтя, ВС спустился с табуретки, посидел за пустым столом, выпил стопочку — с досадой, но и с облегчением. Упорхнули. Не успел. Может, и к лучшему?

Он часто перебирал воспоминания. Жизнь кажется такой огромной поначалу. Как будто там, впереди, бесконечный ромашковый луг, бежать по нему и бежать. А потом выходишь и видишь, что никакого луга нет, а есть асфальто-

вое шоссе с размеченными верстами, и идти тебе от столбика к столбику, до последнего пристанища. «Неотвратимо грядет увяданье, сменяя цветенье», но разве думаешь об этом, когда тебе немного лет.

Он был — от версты к версте — ребенком, беззаботным студентом, счастливым молодым отцом, зрелым мужчиной… Когда умерла бабушка, это воспринималось как данность, ведь бабушки всегда умирают. Жизнь сулила всяческие блага и утехи, и как-то не думалось о плохом, о неизбежном — что взрослеет он, а значит, стареют родители… И когда похоронил их, то почувствовал себя будто без крыши над головой, и стало так неуютно, так холодно. Не сразу ВС понял, что теперь он — та самая крыша, под которой живут его жена и дочь, потом появились внучки, и он смотрел на них, как смотрит старый на маленьких, откуда-то словно издалека… А потом незаметно он стал уже и не крышей, а скорее чердаком: все дальше, все темнее, паутина, старая мебель, пыльные коробки…. Скоро в одну из коробок упакуют и его, — как новогодние игрушки после разбора елки…

Летом они поехали в деревню, в то самое Щёлоково. Лиза сверкала загорелыми плечами, и у калитки вечно околачивались юнцы, а Маруська рвала смородину с куста, и разоряла цветник, и замирала изумленно, когда на руку к ней садилась божья коровка. Зять удил рыбу или что-то мастерил в сарае, дочка, в стареньком сарафане, ладная, веселая, сновала по участку то с лейкой, то с охапкой укропа, собирала малину и огурцы. А он по-стариковски неспешно бродил по дорожкам, всем мешал и путался под ногами, и смотрел, смотрел, останавливая все эти мгновенья для себя, делая моментальные снимки на память, и зависал, наткнувшись взглядом на мелочь вроде сухих и пустых хитонов каких-то насекомых, болтавшихся в паутине на ветру, или куста клубники, где бок о бок были сочные, нагретые солнцем, сладкие клубничины, твердые зеленые ягодки и пара только расцветших белых цветков с желтыми, наивно распахнутыми глазками. Повсюду так, думал ВС меланхолично, жизнь и смерть, все вперемешку, а потом подходила нетвердо Маруська и тянула ягоды с грядки в рот, и он нежно думал: так и должно быть, так правильно, «тебе я место уступаю: мне время тлеть, тебе — цвести».

Он никогда не забудет тот момент, когда вошел в летнюю кухню и застыл, помертвев, и дочка непонимающе глядела на него, а на столе стояли перевернутые банки, только что ошпаренные кипятком, и плавали в тазу вымытые огурцы, и смородиновые листы источали дивный аромат, и листья дуба и вишни, и укропные желтые зонтики, а в руке дочка держала закаточную машинку, ту самую, с деревянной ручкой и щербинкой, и прошла целая вечность, прежде чем он осознал, что ни одной банки она еще не закатала, что только сегодня начала, что еще не поздно, не поздно, не поздно.

Потом было несколько натянутых, молчаливых дней, дочка не понимала и обижалась, а он страдал, но не мог объяснить. «Как с цепи сорвался, что я такого сделала, я думала, это старая, из бабушкиных еще запасов», — говорила она со слезой в голосе, а он курил, дрожащими руками придерживал пиджак на груди, стоял на крыльце и смотрел в ночное небо, колючее, далекое, немое…

Конечно, потом они помирились. И собрались купаться, и ВС шел с тайным вечным своим страхом за них всех, глупых, лезущих в воду, заплывающих на глубину. Нужно было все-таки сделать это, законсервировать, захлопнуть их жизнь в банку, как красивого мотылька, но жена оставалась в городе, принимала экзамены у заочников, а как без нее, как он останется без нее?

А потом, возвращаясь в сумерках, ВС увидел его, человека в шляпе. Тот шел навстречу, с семейством, и все выглядели как прежде — дочка с косами, сынок в белых гольфиках, — но кое-что изменилось, потому что у красавицы-жены выпирал огромный, выпуклый, налитой живот. Пропустив своих вперед, человек в шляпе отстал и поздоровался с ВС, и непонятное что-то плескалось в его глазах, то ли боль и страх, то ли облегчение.

— Разбилась? — спросил ВС сочувственно.

— Не разбилась, нет. Я сам.

— Но почему?

— Никто не любит признавать свои ошибки, — пожал плечами тот. — Но какое счастье, когда их можно исправить. Приходите к нам на чай, моя дочь и ваша внучка одного возраста, авось подружатся.

Поздно вечером в доме гремели посудой, укладывали Маруську, звенел у калитки смех Лизы и басок ее кавалеров. ВС сидел на крылечке, курил, слушал, как бесшумно снуют в темных небесах нетопыри, как слизни выползают из укрытий, и клубничные кусты тянут через дорожку свои мохнатые усы. И звезды больше не казались ему такими колючими.

Ключ от елочного сундука

За окном бушевал ветер. Раскачивал деревья, гремел колодезной цепью, гонял по двору забытое ведерко. Холодно, не погуляешь. Ваня то смотрел в окно, то книжки листал. На кухне дедушка гремел посудой. Скоро обедать, а потом можно посидеть вдвоем возле печки, посекретничать. И не забыть бы спросить у дедушки, какой сегодня день недели. Вдруг уже пятница? Тогда и до субботы недалеко, а суббота для Ваньки — особенный день: приезжает из города мама и остается до самого воскресного вечера.

Мама работала в городской поликлинике, и Ваня видел ее только на выходных. А папа вообще в другой город уехал, в командировку, но к Новому году обещал вернуться.

До Нового года оставалось две недели. Ваня уже написал письмо Деду Морозу. Сам! Вот мама удивилась! А чего удивляться, ведь Ване почти шесть лет, через год в школу пойдет. Он уже научился писать прописными буквами и читать по слогам. Его дедушка научил. У Ваньки хорошо получалось, аккуратно. И буквы были такие же, как у дедушки, — Т с завитушкой и Р с хвостиком.

В старом дедушкином доме с зелеными ставнями и красной крышей Ване жилось хорошо. Дедушка всегда был рядом, всегда находил время поговорить с внуком. Они обсуждали все на свете, от погоды и птичьих следов на снегу до космических ракет и инопланетян. На ночь дед читал Ване книжки — те самые, что когда-то он читал Ваниной маме, когда она была маленькая.

А иногда по вечерам дед снимал с гвоздя старый кованый ключ с толстой бородкой. Ключ от елочного сундука. Сундук стоял в дедовой спальне. На первый взгляд он был ничем не примечателен: большой, тяжеленный — не сдвинешь! — из темного дерева, окованный жестяными полосками. Самый обычный сундук. Но это только так казалось! Просто все волшебство у него пряталось внутри.

В сундуке хранились, как говорил дедушка, «семейные реликвии». Ваня, когда впервые про реликвии услышал, вообразил себе красивые перламутро-

вые раковины, жемчужные ожерелья и старинные монеты, как в пиратских сундуках. А оказалось, что реликвии — это старые вещи, которые принадлежали каким-то неведомым прабабушкам и прадедушкам, жившим давным-давно, еще до Ваниного рождения. Альбом с фотографиями, связки писем, круглая коробочка с пуговицами, мотки кружева, которые плела прабабушка, дорожные шахматы, в которые играл прадедушка.

А еще в сундуке жили новогодние игрушки. Потому и назывался он елочным. Игрушек было немного. Хрупкие, стеклянные, одни на прищепках, другие на ниточках. Белый зайчик с барабанчиком, серебристый дирижабль, домик с заснеженной крышей, початок кукурузы, еловая шишка и розовый лебедь, и медведь с гармошкой, и девочка в теплой шубке, и мальчик-космонавт… Иногда дедушка и Ваня доставали игрушки и рассматривали их. Мальчик очень ждал Новый год, чтобы скорее нарядить елку. Ведь игрушкам так скучно сидеть в темном сундуке!

Правда, дедушка говорил, что елочные игрушки весь год спят и видят новогодние сны. А просыпаются они, когда хозяева приносят в дом елку. Тогда стеклянный зайчик морщит свой нос, принюхивается — и радостно принимается бить лапками в барабан: «Просыпайтесь, просыпайтесь! Елкой пахнет! Новый год наступает!» Ваня весело смеялся, представляя, как потягивается медведь и берет скорей в лапы гармошку, как взмахивает крыльями лебедь, а девочка стряхивает пылинки со своей шубки и заплетает косички, чтобы быть на новогодней елке самой опрятной и аккуратной, ведь девочки — они такие…

Вот, например, Ванькина мама в детстве тоже была очень аккуратной и трудолюбивой девочкой. Об этом Ваньке рассказали ее детские вещи, что тоже хранились в сундуке: школьные дневники с пятерками и тряпичная куколка с пуговичными глазами. Мама сшила ее сама, когда ей было восемь лет.

Ваньке очень хотелось иметь свои собственные «реликвии». И он положил в сундук жестяную коробочку от леденцов, где хранились фантики от жевательных резинок, часовая шестеренка, синее стеклышко. Дедушка не возражал. Конечно! Где же еще прятать сокровища, как не в сундуке под замком!

Ключ от елочного сундука дедушка вешал на гвоздик в потайном месте. Под картиной с вышитыми лебедями. Это была старая вышивка, прабабушкина. Никто б и не догадался, что под ней — ключ висит. Этот секрет знали только трое — Ваня, мама и дед. И Ваня никому-никому не рассказывал. Даже своим закадычным друзьям, Глебу и Даше, живущим по соседству.

С Глебом и Дашей Ваня водил серьезную и теплую дружбу. Хотя Глебу было десять лет, а Даше восемь, они хорошо относились к шестилетнему Ване, не дразнили его малявкой, принимали в свои игры. Между их домами стоял забор, а в заборе пара досок раздвигались в разные стороны — проходи кто хочет! И ребята часто шмыгали в гости друг к другу.

Как-то раз они играли в пиратов. Закапывали клады, рисовали карты. Ванька решил свой клад спрятать в поленницу, в щель между поленьями. И тут он вспомнил, что сокровища-то лежат в сундуке! А дедушка, как нарочно, ушел на почту, пенсию получать. А без дедушки сундук открывать не разрешалось…

И хотя Ваня знал, что поступает нехорошо, он притащил из кухни табуретку, встал на нее и снял со стены ключ.

Еле-еле приподняв тяжеленную крышку сундука, он достал свою жестянку и тут услышал, как открывается входная дверь. Дедушка идет! Ванька скорее захлопнул сундук и запер его. Сунул ключ в карман и побежал к друзьям.

В пиратов они играли до вечера, и Ванька забыл повесить ключ на место. Через несколько дней, за обедом, дедушка спросил:

— Ванюша, ты ключ от елочного сундука не видел?

Ваня едва супом не подавился. Он испугался, что дедушка все поймет по его лицу. Но дедушка отвернулся к плите, и Ваня проговорил:

— Нет, не видел.

— Я уже всюду искал, — сказал дедушка огорченно. — Как корова языком слизала…

После обеда Ваня помчался в сенцы, где висела его старая курточка.

Но в кармане ключа не оказалось. Зато оказалась там огромная дыра… Ваня похолодел… Выходит, он выронил ключ! Но когда? Во время игры в пиратов? Или на другой день, когда с Дашей и Глебом бегал в магазин за леденцами?

Ваня ничего не сказал дедушке. А сам принялся осматривать каждый клочок земли под ногами. Прочесал и двор, и огород. Нашел пару пуговиц, пробку, жетон от ленинградского метро. Но ключ от елочного сундука пропал безвестно и на глаза не появлялся, будто наказывал Ваньку за вранье… Лежал себе где-то в траве или в грязи, ржавел, но к Ваньке в руки не шел… А в сундуке остались запертыми семейные реликвии и дедушкины воспоминания... И елочные игрушки! А до Нового года осталось всего несколько дней!

Дед с внуком продолжали жить, как жили. Варили кашу утром, днем хлебали суп, вечером пекли картошку в печке. В хорошую погоду Ваня гулял, а в дождь листал книжки с картинками. Там человек рассеянный напяливал на себя гамаши, Красная Шапочка собирала лиловые колокольчики по пути к бабушке, а горшочек все варил и варил свою кашу… Нет, книжки не радовали. Ванька с тоской смотрел в окно, а потом на деда.

Дедушка вроде был все тот же — кашеварил, топил печку, читал газеты. Но все чаще Ванька замечал на себе дедушкин внимательный взгляд. И смущенно отворачивался. Краснел.

— Уж не заболел ли? — дедушка трогал сухой ладонью Ванькин лоб. — Нет, не горячий. Ты чего нахохлился, воробушек?

— Ничего, — пожимал плечами Ваня.

— По маме скучаешь? Скоро приедет, скоро.

Ваня видел, что дедушка грустит. Они теперь часто молчали, мало разговаривали. Ванька не мог смотреть дедушке в глаза, но признаться в своем проступке боялся. Если дедушка узнает, что Ваня обманщик, то перестанет любить его, а этого мальчик боялся больше всего на свете…

Нет, нужно что-то придумать! Нужно вернуть ключ!

Ваня долго думал, как быть. И решил написать новое письмо Деду Морозу. Ведь тот исполняет самые сокровенные желания! Вот только как передать Деду Морозу письмо, чтобы ни дед, ни мама не узнали?

В тот день выпал снег. Ваня, Даша и Глеб лепили снеговиков во дворе, и Ваня спросил друзей, как их письма к Деду Морозу добираются. Он-то свое давно маме отдал. А она в городе купила марку и отправила с главпочтамта.

— А мы свои письма в морозильную камеру кладем. Они там недельку поморозятся, а потом исчезают: значит, Дед Мороз их уже забрал, — рассказал Глеб.

— И подарки мы всегда те самые получаем, что в письмах просим, — похвасталась Даша.

Ваня задумался. Морозильник у них с дедушкой был. Но вот времени не было! Успеет ли дойти письмо?

— А нет другого способа, побыстрее? — спросил он, доверчиво взглянув на Глеба. Тот ответил весело:

— Конечно, есть! Снеговая экспресс-доставка! Лепишь снеговика, надеваешь ему на голову ведерко, а в ведерко прячешь письмо, завернутое в полиэтилен или фольгу. Ну, чтобы не промокло по дороге. И все! Ночью снеговик уйдет и доставит твое письмо Деду Морозу лично в руки!

— Ура! Это то, что мне нужно! — просиял Ваня. И тут же принялся с удвоенной энергией лепить снеговика. А Глеб и Даша возводили своего неподалеку.

Их снеговик был повыше, посмешнее. Даша обвязала ему шею полосатым шарфом, а на голову надела старую шапку. Конечно, этот модник не собирался в дорогу. А вот Ваня своему снеговику на голову нахлобучил настоящую броню — старую эмалированную кастрюльку в цветочек, что валялась без надобности около забора.

— Снеговик Кастрюлькин к экспресс-доставке готов! — рассмеялся Глеб.

На шею снеговику Ваня повесил красный фликер на веревочке.

— Светоотражатель? — удивилась Даша, а Глеб похлопал Ваню по плечу:

— Молодец, Ванька, все продумал! — И пояснил Даше: — Это чтобы ночью снеговик мог вдоль шоссе идти. Любая машина его издалека заметит и объедет.

После обеда Ваня засел за письмо. Он торопился, но буквы выводил аккуратно и разборчиво, чтоб Дед Мороз все правильно понял.

В сумерках мальчик украдкой выскочил во двор. Снеговик смотрел выжидательно, будто уже знал, что от него требуется. Ваня поднялся на цыпочки, положил письмо под кастрюльку и прошептал:

— Поторопись, снеговичок, пожалуйста! Мне очень нужно, чтоб ты успел!

Кастрюлькин молчал. Наверное, он продумывал свой маршрут. Самую короткую дорогу к дому Деда Мороза.

Ваня побрел домой, не замечая, что из соседского окна за ним внимательно наблюдают. А когда совсем стемнело и в доме с зелеными ставнями погасли все огни, вдруг таинственно заскрипели доски в заборе, и к снеговику Кастрюлькину прокрались две тени.

Это были очень несерьезные тени: они все время хихикали и зажимали себе рты варежками, до того смешным и захватывающим был их замысел. А замышляли они не больше и не меньше как похищение снеговика! Сопя и перешептываясь, Даша и Глеб (разумеется, это были именно они!) вывезли санки с Кастрюлькиным в свой двор. Потом вынули письмо из-под кастрюльки и поспешили домой.

— А может, не надо? — прошептала Даша. — Нехорошо это, чужие письма читать.

— Наивная ты, Дашка, — возразил ей брат. — Письма к Деду Морозу всегда взрослые читают. Или ты думаешь, что он сам подарки всем приносит?

— Нет, я знаю, что мама с папой ему помогают, — рассудительно сказала девочка. — Сам бы Дед Мороз не успел все письма прочитать и все подарки разложить под елками. Детей-то вон сколько! В одном нашем классе двадцать восемь человек, а у многих еще братья и сестры есть!

— Вот именно, — сказал Глеб поучительно. — Сегодня нам с тобой выпала честь стать помощниками Деда Мороза! Мы прочитаем письмо и попробуем исполнить Ванькино желание. А если сами не сможем, то Ванькиной маме отдадим, когда она на выходные приедет.

Даша задумалась. Идея с чтением чужих писем ей по-прежнему не нравилась. Но Глеб говорил так убедительно. Ведь и правда, они же не из вредности! Они же хотят помочь! И девочка кивнула: ладно уж, читай.

— Ну, Ванька, молодец, упаковал на совесть, — проговорил Глеб, распечатывая послание. — Я без ножниц эту тайную депешу не вскрою, намертво запечатано!

Наконец Глеб справился с тремя слоями целлофана, в который было завернуто письмо. Стал читать, и усмешка медленно сползла с его лица, уступив место растерянности и досаде.

Он молча протянул письмо Даше. Крупными и неровными буквами там было написано: «Дарагой дед Марос ни надо мне лего и веласипет, а пусть найдется ключь от елочнава сундука».

Брат и сестра переглянулись. Они понятия не имели, что это за ключ и куда он пропал. И уж точно понимали, что не смогут осуществить это желание. Да и кто сможет? Если вещь потерялась, то найти ее поможет только счастливый случай.

— Что же теперь делать? — проговорила Даша. — Ванька же подумает, что Дед Мороз прочитал письмо и обязательно исполнит его желание… Ой, ой…

Глеб хмурился. Он изо всех сил пытался найти решение этой проблемы.

— Можно упаковать письмо и вернуть снеговика на место, — предложил он неуверенно.

— Ванька расстроится. Ты ж ему пообещал, что снеговик уйдет…

— Тогда вернем снеговика через несколько дней и в кастрюльку положим ответ. Напишем, что ключ найти Дед Мороз не может, но зато пришлет Ваньке под елку хороший подарок…

— Так лучше, — кивнула Даша. — Только, знаешь, давай не будем писать, что он не сможет найти ключ. Давай напишем, что он постарается.

Но назавтра все их планы рухнули.

Потому что похищенный снеговик взял и растаял. Утром пригрело солнце, градусник показывал плюсовую температуру, и с крыш капали прозрачные сосулькины слезы. В луже, оставшейся от Кастрюлькина, плескались веселые солнечные зайчики.

Даша чуть не плакала от огорчения, но Глеб сказал:

— Ну что ты как маленькая!? Это же всего лишь снеговик. Слепим нового, Ванька не заметит разницы. А пока спрячем кастрюльку и фликер подальше, за курятник, например.

Капель разбудила и Ваньку. Спросонок ему показалось, что кто-то стучит в окошко, и он подумал: может, мама приехала? Она иногда так делала: приезжала на другом автобусе, пораньше, стучала пальцем в стекло и смеялась, увидев ошарашенную и счастливую Ванькину улыбку.

Но сейчас за окошком не было никого.

И снеговика во дворе тоже не было! Ванька не поверил своим глазам. Торопливо, прямо на пижаму, он натянул комбинезон с курткой и выскочил во двор.

— Куда, куда, егоза? — заволновался дедушка и побежал за ним с шапкой в руках. А Ванька стоял посреди двора и озирался. Нет, снеговика в самом деле не было! Другой, которого слепили Глеб и Даша, стоял около забора и как будто удивленно разводил руками-ветками, мол, не знаю, братец, куда он делся, не заметил я, проспал! Шапка и шарф на нем намокли, сам снеговик осунулся, повесил морковный нос, но все еще не сдавался на милость внезапному потеплению. Наверно, потому, что стоял в тени.

— А мой снеговик ушел! К Деду Морозу! — похвастался Ваня, когда после завтрака встретился во дворе с Дашей и Глебом.

— Не может быть! — Даша притворилась изумленной.

— А что ты написал в письме? — спросил Глеб, и Даша по-настоящему удивленно воззрилась на него: зачем спрашивать, если они и так знают?

— Не скажу, это большой секрет, — насупился Ваня.

— Я вот один раз потерял любимую машинку, — продолжал Глеб, — и попросил Деда Мороза ее найти. Но знаешь, он не смог! Он же старенький, плохо видит. Зато под елкой очутилась новая машинка, еще лучше прежней!

— Да, лучше прежней, — повторила Даша. Теперь она поняла, зачем Глеб затеял этот разговор. Чтобы подготовить Ваньку к тому, что его желание не исполнится…

У Ваньки на глазах набрякли слезы. Не все желания сбываются? Чудес не бывает? А как же тогда новогоднее волшебство?

Даша, заметив, что Ваня вот-вот расплачется, предложила:

— А давайте в прятки играть!

Она принялась считать до десяти. Глеб подмигнул Ваньке и бросился куда-то за дом. Мест, чтобы прятаться, у них во дворе было вдоволь — за теплицами, дровяником, летней кухней, но Ванька выбрал самое потаенное укрытие, за курятником.

Там и нашла его Даша. Ваня сидел на корточках и размазывал слезы по лицу. А рядом, на влажной земле, лежала знакомая кастрюлька в цветочек. Даша охнула, и Глеб хлопнул себя по лбу. А Ванька всхлипнул:

— Кастрюлькин… он растаял… он не дошел до Деда Мороза…

После минутной паузы Глеб решительно воскликнул:

— Да это же не та кастрюля! Это наша! Мы вчера ее с Дашкой сожгли, хотели суп на обед разогреть и забыли. Вот, от матери спрятали, а то влетит же нам!

— Разве это не наша с дедом кастрюля? — с сомнением проговорил Ванька.

— Конечно, нет! Твой Кастрюлькин, небось, уже у Деда Мороза в гостях сидит, чай со льдом пьет и мороженым закусывает.

Ваня перестал плакать. Бросил последний взгляд на кастрюлю и, поверив уговорам Глеба, сказал:

— Давайте дальше играть! Чур, я снова прячусь!

Когда он умчался, Даша с Глебом переглянулись.

— Кастрюлькин обязательно вернется, — сказал Глеб сурово. — Как только выпадет снег.

Но снега все не было. Ванька гадал: вернется ли снеговик? Или Кастрюлькин остался жить у Деда Мороза? Ведь там холоднее, там не растаешь, как растаял снеговик Даши и Глеба, от которого осталась одна морковка…

В субботу приехала мама, нагруженная покупками. Оказывается, до Нового года осталось всего четыре дня, и мама привезла продукты для новогоднего стола. Покупки были по большей части скучные, с Ванькиной точки зрения: свертки с замороженным мясом и копченой рыбой, сыр и оливки, банки с майонезом и горошком. Нашлись в маминых сумках и более заманчивые пакетики — с шоколадными конфетами и длинными леденцами в ярких фантиках. Их предполагалось повесить на елку вместе с игрушками.

Веселая, запыхавшаяся, мама расцеловала «старого и малого», как она их ласково называла, и оглядела избушку. Удивилась:

— Елку еще не наряжали? Что-то вы припозднились.

Дед и Ваня переглянулись.

— Ключ пропал, — сказал дед.

— От сундука? — ахнула мама. Она тоже любила разглядывать реликвии, примерять прабабушкины бусы и платки, перебирать пуговицы в коробочке. Мама как-то рассказывала Ваньке, что в детстве очень любила играть с этими пуговицами. Там у нее были пуговица-принц и пуговица-колдун, а еще две красивые пуговицы-принцессы, из которых принц никак не мог выбрать себе невесту. Подумать только, один сундук — а столько вмещал жизней, историй и даже сказок!

— Так, может, просто взломать замок? — предположила мама неуверенно.

Ваня заметно оживился от ее предложения. В самом же деле, сундук можно открыть и без ключа! Но дедушка и слышать о таком не захотел. «Это старинная работа, умельцы делали, мастера, жаль ломать, он ведь как живой, со своей историей…» — сказал он, словно оправдываясь. И Ване снова стало стыдно. Ведь оправдываться нужно было ему…

Мама уехала. Пообещала вернуться 31 декабря вместе с папой и привезти новые елочные игрушки, раз уж старые заперты внутри сундука. «А вам задание, добры молодцы, пыль по углам обмести и елку раздобыть попушистее».

Елку они раздобыли на следующий день. Она стояла в ведре с песком, красивая и пышная, пахла смолой, хвоей и лесом. Только игрушек не хватало. Не сговариваясь, Ванька с дедом поглядели на сундук, а потом друг на друга. Дед вздохнул. А Ванька представил, как там, в темноте сундука, сидят испуганные елочные игрушки и перешептываются: «Почему никто не открывает сундук? Почему нас не достают? Нового года не будет?»

От этих грустных мыслей и от волнения за Кастрюлькина, который то ли ушел, а то ли растаял, Ванька расклеился окончательно. Он и не знал раньше, что от вранья делается так плохо. Нет, он больше не мог обманывать дедушку. И, как с крыши в снег спрыгнув, только сердце ухнуло, Ванька сказал глухо:

— Деда, прости меня… Это я ключ взял… И потерял… Я не нарочно…

Он думал, дедушка ахнет или ругаться начнет. Но было так тихо, только в печке трещали полешки и чирикали ходики на кухне, считая часы до Нового года. Ванька поднял глаза. Дед смотрел на него — ласково, грустно, понимающе, и мальчик вдруг понял, что дед с самого первого дня знал прекрасно, кто взял ключ. Ведь табуретку-то Ваня так и не успел унести назад на кухню! Так и осталась табуретка стоять возле картины с вышитыми лебедями!

Стыдно, как стыдно! Ванька почувствовал, что вот-вот расплачется, и убежал в свою комнату. Дед за ним не пошел. Вскоре загремела сковородка на кухне, потом запахло оладьями.

Наплакавшись, Ванька вышел к столу. Про ключ они с дедом не говорили. Ванька не поднимал глаз от тарелки, то и дело шмыгал носом.

К вечеру он совсем раскис, заблестели глаза, зарумянились щеки. Встревоженный дед сходил за градусником, но температура оказалась нормальная, просто наплакался Ванька, от переживаний разгорячился. Но дед уложил его в постель, напоил чаем с малиновым вареньем, жарко натопил печку, все поленья до последнего ушли.

— Деда, ты не переживай, — бормотал Ванька, засыпая, — я снеговика послал… с письмом к Деду Морозу… Найдется ключ!

— Да бог с ним, с ключом, — махнул рукой дед. — Ты только не разболейся мне, слышишь, Ванюша? Новый год завтра встречать!

Ванька глядел рассеянно сквозь дремоту и радовался, что дед не сердится, что все хорошо и легко, как раньше. Он успел еще взглянуть в окно, где сгущались сумерки и крупными хлопьями падал снег… И уснул, так крепко, как спят только наплакавшиеся маленькие дети.

Он спал и не видел, как дед пошел за дровами к сараю, как зажег фонарь и вытянул пару полешек, и как вслед за полешками выпала из своего великолепного укрытия жестяная коробочка. Посыпались на снег немудреные Ванькины реликвии, — фантики, шестеренка, синее стеклышко… С кряхтением дед присел, чтобы собрать эти сокровища, и вдруг замер, пригляделся и изумленно покачал головой…

А снег все падал и падал, как будто там, на небе, спохватились, что Новый год уже вот-вот, и нужно срочно все украсить к празднику, засыпать пушистыми белыми снежинками, засахарить ветки деревьев, взбить аккуратные сугробы, как подушки, чтобы детям было веселее в них падать и делать снежных ангелов.

Поутру дед, проснувшись раньше Ваньки, вышел расчистить дорожку от крыльца к калитке — и замер: во дворе, растопырив ветки-руки, стоял снеговик с шляпой-кастрюлей, надетой набекрень. Его залихватский вид и улыбка, выложенная из рябиновых ягод, будто говорили: «Что, не ожидали меня увидеть? А вот он я!»

Дед улыбнулся. Подошел поправить съехавшую кастрюльку, и вдруг ему в руки выпало письмо… И сразу вспомнились вчерашние горячечные слова Ваньки — про ключ, снеговика и письмо к Деду Морозу. Он растерянно огляделся, но во дворе никого не обнаружил, только ветер сдувал снежинки с крыши… И были плотно задернуты занавески на Ванькином окне…

Ванька проснулся поздно. Он чувствовал себя совершенно здоровым, довольным жизнью и очень голодным. Хотелось скорее позавтракать, выпить чаю и побежать на улицу, чтоб не пропустить приезд мамы с папой. Ведь сегодня ночью они будут встречать Новый год!

Он выглянул в окно. Ух ты, снегу намело! Какое все белое! И вдруг его сердце затрепетало. Там, во дворе, стоял снеговик! Его снеговик, Кастрюлькин! Он вернулся! Неужели принес ответ от Деда Мороза?!

Ванька за секунду оделся и вылетел во двор. Дрожащими руками распечатал конверт и стал шевелить губами, читая письмо.

Скрипнули доски забора, появились Даша и Глеб.

— Ух ты, Ванька, твой снеговик вернулся! — сказал Глеб.

— Что там написано? — спросила Даша. Хотя прекрасно знала, что: сама ведь вчера писала. О том, что ключ спрятала старуха Зима и пока не отдает. Зато положит Дед Мороз Ваньке под елку хорошие подарки. А там, к весне поближе, и ключ обязательно найдется! Не письмо, а целая сказка получилась. Глеб так и сказал: «Ну ты и сказочница, Дашка!» И сейчас она, затаив дыхание, смотрела на Ваньку: рассердится он или заплачет? Или кивнет и побежит дальше по своим мальчишеским легкомысленным делам?

Ванька не плакал. И не злился. Его краснощекое лицо расплылось в такой широкой улыбке, что Даша не выдержала, подбежала, заглянула через плечо. И ошарашенно позвала Глеба. Потому что письмо оказалось не то! Совсем-совсем другое оказалось письмо!

Печатными красивыми буквами (Т с завитушками, Р с хвостиком) в письме было написано всего три слова: «Больше не теряй».

Не сговариваясь, дети дружно перевели взгляд на снеговика. И раскрыли рты от изумления.

Потому что на круглой снежной груди Кастрюлькина, как медаль, висел на веревочке рядом с фликером большой старый ключ.

И Даша ахнула: «Ой, Глеб, смотри!» И Глеб растерянно пробормотал: «Откуда он тут взялся?» И Ванька ахнул. Засветился весь. Оглянулся на деда. А дед невозмутимо чистил снег у крылечка, и только усы его загадочно шевелились, как будто в них он прятал улыбку.

А потом время покатилось быстро-быстро. Приехали мама и папа. Все вместе они открыли сундук и нарядили елку. Зайчик на прищепке, и медведь с гармошкой, и девочка, и космонавт, — все нашли себе местечко на смолистых лапках. А рядом со старыми поместились и новые игрушки — те, что мама привезла из города. Шарики, сосульки — и снеговик, чем-то очень напоминающий Кастрюлькина. Ване почему-то казалось, что этот елочный снеговик отлично знает о происшествии с ключом. И что теперь в сундуке поселится и его, Ванькина, собственная история.

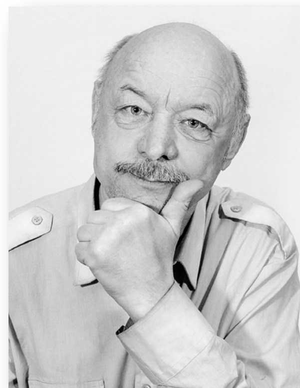
А снеговик Кастрюлькин стоял во дворе, и все ярче сияла его рябиновая улыбка. Кастрюлькин знал много тайн: и тайну ключа, и тайну письма, и тайну кастрюльки в цветочек. А еще он знал, что никогда не нужно врать своим родным людям. Ведь вранье — оно как злой северный ветер, и нельзя впускать его в свое сердце.

Это яснее ясного даже снеговикам.



Восторг прильнул к моим очам

Владимир ГРИГОРЬЕВ



Листопад

Восторг прильнул к моим очам —
Меня целует листопад
В глаза и губы, по плечам
Скользит его касанье, взгляд.

Я золотым омыт дождем,
Деревья звонки как хрусталь.
Мне ясно видно все кругом,
И диким медом пахнет даль.

Я взмою в небо, сбросив лес,
Нырну до моря листьев дна,
Я — птица-рыба, и с небес
Текут мой воздух и вода.

Как нерестующий лосось
Взойду на водопад листвы,
Раскину руки-крылья врозь
И полечу на свет звезды.

Но очи я свои храню,
В них, оживая, бьется стих,
Восторг губами к ним прильнул,
И я закрыл немедля их.

Две сосны

Две сосны у ворот —
Два недремлющих стража —
Караулят весь год
От случайной пропажи.

Только сад во дворе
Не почувствует это:
Золотой в сентябре,
В октябре он — раздетый.

Охота

Взял бы я ружьишко,
Я бы в поле вышел.
Выскочил зайчишко —
Я б дыханье слышал.

Билось бы сердечко —
Через шерстку видно.
Я б стрельнул...
словечком
Так, чтоб не обидно.

Елена ЩЕРБАКОВА

* * *

А новый день — как маленькая жизнь,
В нем — тысячи минут необычайных
И радостных мгновений тайных!
А новый день — он словно чистый лист.
А новый день — прозрачный с гор поток,
И утро новое подарит страсть полета.
Ты в этом дне — как легкий мотылек,
Неважно, что сказал и сделал кто-то.

Мы в новый день торопимся, едва
Успев проснуться, осознать, увидеть…
Не понимая, как важны слова,
Не зная, как кого-то не обидеть…
Ты тайной Мудрости души держись,
Не избежишь, увы, путей случайных…
Но каждый день — как маленькая жизнь,
В нем тысячи минут необычайных!

* * *

Давайте праздновать Осень!
Давайте проводим Лето!
Посмотрим в небесную просинь,
Там — истинный Дар поэта.
И солнечный луч заката
Прощально нас манит краской.
Мы вспомним, что было свято, —
То лето, что стало сказкой.

Все будет — лучи рассвета,
На листьях — белая проседь...
— Скажите, где ходит Лето?
— Уже без пяти Осень…

* * *

Осень — дама «за пятьдесят»,
В волосах запуталась паутинка.
Хоть глаза-то еще горят,
Видно: в серости их — грустинка.
Плачет дождь в предрассветный час
О несбыточности, о лете…
Осень серостью губит нас
И грустит обо всем на свете.
В этой серой прохладе дня —
Россыпь золота под ногами.
Сколько страсти в красках, огня,
Грустной нежности — видим сами.
Так о чем же душа болит?
Нам расскажет она едва ли…

Кто же знает, о чем грустит
Эта дама в серой вуали?



Ирина КАРНАУХОВА

* * *

Есть разные красивые слова:
Послушаешь – кружится голова…

Булат ОКУДЖАВА

Есть разные красивые слова
У Вяземского, Блока, Пастернака.
А в современном слоге нет тепла:
Он в символах простых, коротких знаках.
Как крылья подрезаем журавлю,
Мы изменяем слово, не жалея.
И бросив необдуманно: «Люблю!»,
Потом и оскорбить легко сумеем.
Есть разные красивые слова…
В них столько трепета, души безбрежной!
...Она его *соколиком* звала,
А он ее *лебедушкою* нежно.

* * *

Все краски светофора
Зажглись в осеннем парке.
Они погаснут скоро,
Оставив лишь огарки.
А листья, турбулентно
На землю приземляясь,
Становятся при этом
Лишь мусором.
Сметая
Их в кучи, дюжий дворник
Бурчит под нос сердито,
Что стал как беспризорник:
Семья совсем забыта
Из-за работы этой,

И нет на листья сбыта —
Нужны одним поэтам…
Чудесный и нежаркий
Сентябрь без ретушера:
Зажглись в осеннем парке
Все краски светофора…

Нина ДЮКОВА



* * *

Мы у походных костров
Песни хорошие пели.
Маленький томик стихов
Носили с собою в портфеле.
Нынешний мир не таков —
Другая шкала измеренья.
Мы говорили: «Любовь!»
Сейчас говорят: «Отношенья».

* * *

Сожалеть будем после.
Пусть любви нашей осень
Своей желтой листвою
Эту землю укроет.
Птичьим многоголосьем
Над верхушками сосен
Откричит, отрыдает.
В небе стаей растают
Все печали, что носим,
Будто не было вовсе…



Франко ЭННА

Римское дело комиссара Сартори

Роман

Франко Энна — самый известный псевдоним итальянского писателя ***Франческо Каннароццо*** *(1921—1990). Он был поэтом, драматургом, сценаристом, журналистом и плодовитым автором детективных и научно-фантастических романов.*

Франко Энна стал известен как писатель, который «провинциализировал» итальянскую преступность. Он использовал формат детективного романа как возможность показать свой взгляд на мир, на социальные проблемы итальянского общества.

Незнакомая столица

Из ночной мглы неожиданно вынырнул большой щит с надписью «Рим». Поезд замедлил ход и остановился у перрона. Вместе с другими пассажирами с поезда сошел комиссар Сартори.

Толчея на перроне привела его в замешательство. Чемодан бил по икрам, зонтик норовил дать подножку. Поражали неоновые вывески огромного вокзала «Термини».

Сна как не бывало. Влажный воздух с запахом дыма, газа и пыли освежил ему лицо. Он почувствовал, как давит на него высокое здание, очертания которого не удавалось различить сквозь пелену дождя.

— Док!.. Доктор Сартори![1]

Он увидел руку, машущую над толпой, и перед ним появилось пухлое, сияющее лицо бригадира Короны. Комиссар вдруг заволновался и, чтобы прийти в себя от легкой паники, охватившей его, не ограничился формальным пожатием руки, а обнял земляка.

— Хорошо доехали?.. Дайте чемодан… Ну нет, дайте его мне!.. Видели моего отца? Как он? Если бы вы знали, как я рад, что вас перевели в Рим. Нет, нет, Мариастелла ждет вас на ужин. Мы специально задержали его.

Вряд ли понял бригадир, что Сартори устал и предпочел бы сейчас лечь в постель после хорошей теплой ванны. Снаружи под навесом вокзала их ждала полицейская «пантера». Водитель по-военному приветствовал комиссара, который протянул ему руку. Затем была гонка по городу в мутном отражении света между высоких серых зданий, среди потока машин, мчащихся в хаосе. Внутри

---

[1] Доктор — в Италии вежливое обращение к человеку, имеющему высшее образование.

баров виднелись голубоватые проблески экранов телевизоров, перед которыми группками сидели люди.

Как столица, Рим показался Сартори довольно провинциальным. Мысленно он то и дело возвращался в свой родной городок, оставленный день тому назад, к родственникам и друзьям, которые сейчас либо тоже находились перед телевизорами, либо разыгрывали обычную карточную партию в кафе «Рим».

Тихая, дразнящая воспоминаниями грусть охватила комиссара. Он почти не слушал Корону, рассказывающего о коллегах, о службе, о сложном мире «виа Сан-Витале»[1].

В эту ночь Сартори плохо спал в номере гостиницы, найденном для него Короной. Без конца ходили по коридору, кто-то говорил высоким голосом, и комиссар вынужден был обратиться к портье. Потом наступила тишина, часто разрываемая треском мотоциклов и голосами выходящих из кинотеатра. В полусне он чувствовал отсутствие жены под боком. Отсутствие детей Тины и Карлы ощущалось менее остро. Его семья осталась на Сицилии.

На следующее утро в девять часов Сартори явился в Центральное полицейское управление. Начальник принял его с радушием. Они выкурили по паре сигарет, поговорили о детях и о жаловании. Голос шефа, явно истинного сицилийца, отвлек его от ближайших служебных забот.

— Давайте встретимся сегодня вечером, Сартори? Хотите? Поужинаем вместе, поговорим в спокойной обстановке. Как и вы, я сейчас один.

— Какие будут мои обязанности? Я не имею представления…

— Не будем торопиться, мой друг! У меня есть на уме кое-что для вас… А пока поработайте в Летучем отряде полиции.

Сартори ушел от начальника разочарованным.

Выйдя на улицу, комиссар решил немного побродить по городу, которого почти не знал. Бывал в Риме три-четыре раза по служебным делам. Не торопясь спустился по улице Национале и свернул в переулок. Люди здесь ходили быстро, словно спешили на важные свидания, но не сталкивались на тротуарах. Сторонились границы потока автомобилей, мотоциклов и автобусов. Много разговаривающих. Сартори на лету ухватил сицилийский диалект из разговора двух элегантных синьоров, один из них сидел за рулем длинного белого «мерседеса». Затем ему встретилась группа негров, болтающих по-французски. Прошла рядом женщина, завернутая в сари. Вводили в соблазн девушки в мини-юбках.

Зашел в ресторан, с неохотой поел, исподтишка поглядывая на девушку в мини-юбке, разместившуюся неподалеку от него.

На выходе Сартори немного задержался, пережидая начавшийся дождик. Девушка в мини-юбке столкнулась с ним на пороге, улыбнулась, будто извиняясь, и удалилась, покачивая бедрами. Больше всего ему понравились ее красивые ноги в длинных сапогах из черной кожи.

Вид этой незнакомки вогнал комиссара в меланхолию. В такие моменты он с горечью вспоминал, что ему исполнилось сорок пять лет и уже потеряны все шансы предстать в виде героя своих отроческих мечтаний. Высокий, стройный, волосы ежиком с проседью, всегда одет с иголочки (его единственной слабостью была страсть к галстукам), он знал, что может нравиться женщинам. Но когда представлялся случай «пошалить», грустное лицо жены останавливало его на пороге удовольствия.

[1] Улица, на которой расположено Главное полицейское управление.

Такси подвезло Сартори к Центральному полицейскому управлению.

Бригадир Корона уже ждал его, чтобы показать служебный кабинет, который определил ему начальник. Речь шла об убогой комнатушке с окном, выходящим во двор. Из окна не видно было неба. Зато хороший обзор на полицейские автомобили, стоявшие во дворе, и на людей, идущих по внутренним проходам.

— Как вам нравится комната, доктор? — поинтересовался Корона.

— Удивительная гадость, — буркнул Сартори.

Они сели перекурить.

Бригадир опять завел разговор об их городке Партанне, и эта болтовня начала надоедать комиссару. Пока он не хотел думать ни о чем, кроме службы.

Дверь открылась, и вошли трое: один в штатском, двое в форме. Корона представил их Сартори. Тот, кто в штатском, — фельдфебель Фантин, двое других — агенты Тортуозо и Мариани. Начальник на время, как он сказал, направил комиссару свою «команду», и эта временность положения действовала Сартори на нервы.

У Фантина вид был не особо бодрый, но, должно быть, дело свое он знал как никто другой, ибо за спиной у него было двадцать два года службы. Тортуозо, калабриец, второго срока сверхсрочной службы, казался слишком серьезным и решительным. Из трех прибывших наибольшее доверие внушал комиссару Мариани. Уроженец Реджи-Эмилии, молод, симпатичен, с хорошими манерами. Сартори сделал бы ставку на него. Он редко ошибался в своих первых впечатлениях.

Они попросили дневального принести кофе. Коридор перед кабинетом был безмолвен. Сиеста. Но немного спустя со двора выехала «пантера» с включенной сиреной, прервав на полуслове фельдфебеля Фантина, который разъяснял комиссару обязанности Летучего отряда полиции. Приятно было слушать Фантина с его венецианским выговором.

Прошло несколько дней. Ничего существенного за это время не произошло.

Сартори в сопровождении Короны подыскивал себе квартиру, по крайней мере, из четырех комнат. Он осмотрел уже несколько, но ни одна из них его не удовлетворяла.

— Хотелось бы побольше зелени, — говорил он. — Можно подальше от центра, но так, чтобы ребятишкам не надо было перебегать улицу по дороге из школы.

В этом году Тина и Карла учились в Калтаниссете, где гостили у бабушки с дедушкой.

Воскресенье было тягостным днем, несмотря на бледное осеннее солнце, освещавшее стекла окон.

Сартори оставался в постели почти до одиннадцати. Он жил в небольшой гостинице, найденной бригадиром. Комиссар отказался от приглашения на обед к Короне, хотя ему нравились привычные сицилийские блюда Мариастеллы. Вообще-то, и римская кухня была ему по вкусу, только идти далеко, а это уже мешало его привычкам.

Сартори вышел на улицу после полудня с ощущением небольшого нарушения координации движений. Причину такого нарушения он стыдился открывать кому-либо (лишь однажды признался жене): если несколько дней у него проходили без «жертвоприношения Венере», появлялась раздражительность, шла носом кровь.

Около часа дня он вошел в ресторан, где несколько дней назад видел девушку в мини-юбке и высоких сапогах. Теперь уже он кое-что знал о ней. Зовут ее Кристина Варекья, и живет она на проспекте Стацбоне Пренести-

на. Девушка была завсегдатаем этого маленького ресторанчика, и однажды, когда сидела за соседним столиком, комиссар прочитал ее имя и адрес на конверте, который лежал на скатерти рядом со столовым прибором.

Сартори даже обменялся с ней несколькими фразами, и теперь при каждой встрече они приветствовали друг друга: она — улыбкой, он — приподнимая шляпу. Голос у девушки низкий и теплый; во взгляде, который она почти всегда бросала искоса, он замечал завлекающий блеск. Ей не более тридцати, одевалась она с элегантностью, немного эксцентрично. Красивой он ее назвать не мог, но то, что она соблазнительная, сказал бы без колебаний.

Сейчас, как он и опасался, Кристина не появилась.

Это было первое воскресенье, которое комиссар проводил в Риме и поэтому не мог знать привычек девушки. Возможно, она уехала за город.

Сартори без аппетита поел запеченного молодого барашка, выпил два стакана белого вина из Кастелли и кофе. Затем не устоял перед виски и двумя вафельными трубочками по-сицилийски. После ресторана отправился в кино, где в течение двух часов поддавался соблазну стать шерифом Дикого Запада.

Прежде чем возвратиться в гостиницу, комиссар решил прогуляться в Центральное управление, взглянуть на кое-какие, не очень важные дела, которые находились сейчас в производстве.

Но Франческо Сартори, комиссар Уголовной полиции, не мог предвидеть, что это побуждение будет дорого ему стоить в будущем и предопределит поворот в его жизни. Вся вина этого обычного воскресенья была в большой неразберихе незнакомого города.

Он пересек почти пустынный коридор, поздоровался с несколькими встретившимися ему агентами, попросил одного из дежурных принести кофе и направился в свой кабинет.

Комиссар открыл дверь, и на долю секунды у него возникло впечатление, что он ошибся и находится не на пороге своего мерзкого кабинета в Центральном полицейском управлении, а в прихожей рая. Неподвижный, как статуя, не отрывая руки от дверной ручки, он созерцал предоставленный ему случаем вид. (А может, это один из его отроческих снов?)

Видение сидело в шатком креслице, положив длинные ноги крест-накрест. На ней — короткая юбочка, толстый свитер канареечного цвета с глубоким треугольным декольте и распахнутая меховая шубка. Высокие выступающие скулы, широкий чувственный рот, приукрашенный розовой помадой, длинные светло-русые волосы. Радужно-зеленые глаза смотрели с обезоруживающей наивностью, будто спрашивая: «Видите? Я никому не причиняю зла. Так сотворила меня мать-природа!»

— Вы комиссар? Вы здесь начальник?.. О, я в отчаяньи, сэр!.. Исчезла моя подруга. Может быть, убита. Она очень красивая, а итальянцы так неистовы…

И девушка протянула ему руку.

Скандинавка

Девушка обладала внешней привлекательностью, от которой захватывало дух. И в течение десяти минут, с того момента как по соседним кабинетам распространился слух, постовые, агенты и унтер-офицеры выдумывали различные предлоги, чтобы войти в комнату и выразить восхищение. Наконец Сартори выпроводил всех за дверь, за исключением бригадира Короны, который остался за писаря.

— Пожалуйста, говорите, синьорина.

Зовут ее Харриет Ларсен. Ей двадцать два года. Родилась в Швеции, в городе Линчёпинг (с двумя точками над «е», уточнила она, и бригадир со скрупулезностью отметил две точки), область Эстерётланд (еще две точки над «е»; бригадир ставил бы эти две точки всюду, чтобы сделать ей приятное).

— Продолжайте, мисс Ларсен.

Корона, удивленный этим «мисс», поднял взгляд, и Сартори покраснел.

— О, говорите, пожалуйста, по-итальянски! — воскликнула девушка. — Я знаю хорошо этот язык…

Она приехала в Италию без малого год назад. В Стокгольме познакомилась с «красивым болваном»-итальянцем, и тот убедил ее посвятить себя кинематографу. Поэтому она из Стокгольма прямиком направилась в Рим. Здесь попыталась представиться Феллини, но после долгих поисков и утомительных ожиданий в прихожих отказалась.

— Вы были знакомы с Феллини? — удивился Сартори.

— Нет, — ответила девушка. — Но все говорить большой режиссер и большая любовь к «красивым» шведкам…

— А!

— Я восхищена Феллини…

— Да, великий режиссер, — согласился Сартори.

Девушка отрицательно покачала головой.

— О, нет! — возразила она с силой. — Лишь большой блеф… Он великолепный шарлатан.

Естественно, после восстановления близкого и кратковременного альянса между областями Кампанья в Италии и Швецией, «красивый болван» сбежал. Но Харриет не упала духом и посвятила себя искусству раздеваться. Сейчас она выступает в «Гранкио Адзурро», роскошном ресторане на улице Венето.

Спустя несколько дней после приезда в Рим девушка познакомилась с «артисткой» из «Гранкио Адзурро» Катериной Машинелли, и они вдвоем сняли квартиру на улице Номентана.

Катя оказалась хорошей подругой, и Харриет полюбила ее с той теплотой, на какую только способны северяне.

— И что дальше? — подталкивал комиссар девушку, видя ее нерешительность

Шесть дней назад Катя пропала, и Харриет очень тревожилась, потому что подруга ничего не сказала о своем внезапном отъезде. Впрочем, предположение об отъезде можно и отбросить, поскольку все личные вещи Катерины Машинелли находились в квартире. Харриет добавила, что директор «Гранкио Адзурро» вне себя, так как «номер» Кати имел большой успех у публики.

— Вы убеждены, что с вашей подругой произошло несчастье?

У Харриет были опасения. Она искала в больницах, но безрезультатно. Среди уличных происшествий, о которых упоминалось в газетах, она тоже не нашла ничего относящегося к подруге. Катин автомобиль «милличенто» стоял на месте в гараже на улице Номентана.

— У вашей подруги был постоянный знакомый?

Да. Некий Тото ужасно надоедал Кате своей любовью. Харриет плохо знала его. Ей известно только, что он из Рима и работает в «Экко»[1].

— Вы знакомы с ним?

— Да.

— Можете описать его?

[1] Английский филиал американского нефтяного концерна «Эксон».

Высокий блондин, элегантный, носит очки и читает «Плейбой», один экземпляр которого всегда носит в кармане. Не один раз просил Катю выйти за него замуж. Каждый вечер после полуночи бежит в «Гранкио Адзурро» смотреть девушку своего сердца.

— Как прореагировала ваша подруга на предложение Тото?

— О, она смеяться! Катя совсем не хотеть замуж!..

— Что дальше?

— Ничего. Это все. Вы искать моя подруга, правда?

Зеленые глаза скандинавки заволокло слезами, руки с мольбой протянулись вперед.

— Сделаем все возможное, — поспешил успокоить ее комиссар. — А пока неплохо бы взглянуть на комнату, которую занимает ваша подруга. У вас есть ее фотография?

— Да, дома. Много Катиных фотографий…

Сартори бросил взгляд на Корону, на лице которого наметилась глупая улыбочка.

— Бригадир, идете со мной?

Харриет встала, следуя за комиссаром. Она была выше его, по меньшей мере, сантиметров на десять. Когда девушка запахнула полы меховой шубки, облако резких французских духов окутало обоих мужчин.

Темное дело

Дом был многоэтажный, серый, с мрачной подворотней, куда никогда не проникало солнце.

Харриет нетерпеливо направилась к лифту и на его пороге подождала полицейских.

— Возможно, Катя уже мертва, — заявила она, пока металлическая сетка поднималась на седьмой этаж.

— Что заставляет вас так думать? — поинтересовался комиссар.

Девушка дотронулась рукой до левой груди.

Квартира была меблирована с хорошим вкусом. Она состояла из трех комнат, одна приспособлена под гостиную, две другие служили спальнями. В комнате Кати было полно разноцветных предметов, от покрывала и ковриков до эстампов на стенах. Такие эстампы нравились Сартори.

— Вы позволите?

Он начал осмотр с ящиков стола, потом перешел к шкафу. Из ящиков было извлечено много журналов с картинками, их комиссар складывал штабелями рядом с кроватью. В шкафу хранилась одежда Кати. Помимо многочисленности и оригинальности одежда имела индивидуальность, определенно отражавшую образ именно этой девушки.

Корона подошел к начальнику, держа в руках большой альбом с фотографиями в обложке из красного сафьяна.

— Вот она, — произнес он.

— Да, это Катя, — подтвердила обеспокоенная и дрожащая Харриет, которая все еще оставалась на пороге комнаты.

Сартори принялся рассматривать фотографии. Альбом держал так, чтобы было видно и Короне, и Харриет, разместившимся сбоку от него.

Со снимков на него смотрела Катерина Машинелли. Маленькая, грациозная, с короткими черными волосами и гармоничным телом, она давала возможность почувствовать радость жизни.

Фотографии явно были сняты в разных номерах стриптиза. На некоторых из них за спиной девушки виднелись немного расплывчатые лица зрителей.

— Хорошенькая! — пробормотал бригадир Корона.

Сартори кивнул головой, соглашаясь:

— Выберите из них одну, наименее…

— Понял, для печати.

Комиссар повернулся к Харриет, которая с поспешностью сделала шаг назад. В ее зеленых глазах Сартори прочитал смущение, смешанное с мольбой о помощи и с каким-то другим чувством, не поддающимся точному определению.

— Когда вы видели свою подругу последний раз?

Неделю назад, в понедельник. Харриет встала около полудня и собралась в парикмахерскую. Перед тем как уйти, открыла дверь в комнату Кати и увидела подругу у телефона, еще сонную и, видимо, расстроенную.

Харриет начала говорить ей, что уходит, но Катя резко сделала ей знак не беспокоить и закрыть дверь. Этот Катин жест немного ее обидел.

— Это был последний раз, когда вы видели Катю?

— Да.

— Когда вернулись из парикмахерской, ее уже не было?

Харриет из парикмахерской не пошла домой, а направилась в ресторан, где она обычно питается. Это было в двенадцать сорок пять.

— Какой ресторан?

— Траттория на улице Кастелфилардо… Хозяина зовут Дженезио…

Корона сделал отметку в своей записной книжке.

— Тосканская траттория? — вмешался бригадир.

— Кажется, да, — ответила девушка.

— Ваша подруга тоже ходит есть в эту тратторию? — продолжал Сартори.

— Да, если не имеет других предложений.

— В тот день, понедельник, она пришла?

— Нет.

— Вы ее ждали?

— Да. Я много говорила с Дженезио…

— До которого часа вы ее ждали?

Харриет прикусила губу.

— Почти до трех. Потом ушла… — проговорила она, после легкого колебания и широко раскрыла глаза, глядя на комиссара, словно в ожидании окончательного приговора.

— Вернулись домой?

— Нет.

— Куда пошли?

Харриет пожала плечами. Совершила длительную прогулку до площади Барберини без определенной цели. Светило солнце, и город притягивал.

Сартори понимал ее. Случалось, и он в эти дни гулял без определенной цели.

— В котором часу вы вернулись домой?

— Около четырех с половиной… или в пять.

— Вашей подруги уже не было?

— Нет.

— А в котором часу она ушла?

— Этого я не знаю.

— У привратника не спрашивали?

— Нет… Зачем спрашивать? Нет причины. Катя — свободный человек…

Сартори сделал несколько шагов по комнате и приблизился к окну. Сдвинул занавеску и посмотрел на улицу. Крыши домов напротив уходили

вдаль ломаной линией. Небо заволокло тучами. Поднимался ветер. Вывешенное на балконах белье «танцевало» в пустоте.

Комиссар повернулся и посмотрел на девушку.

Ее красота, обаяние, с какой-то бесстыдной наивностью в глазах и в голосе, смущали его.

— Когда вы вернулись домой, комната вашей подруги была в порядке? — спросил он.

— Нет, — ответила Харрет. — Я делала уборку.

— Зачем?

— Не понимать… Катя моя подруга. Она делать так много раз с моей комнатой.

Сартори кивнул, соглашаясь.

— За квартирой ухаживали только вы и Катя, никто больше?

— Да.

— Вы не заметили ничего странного, когда убирали комнату подруги?

— Нет.

Комиссар прикурил сигарету и опять подошел к окну. Пейзаж с крышами притягивал его, может быть, своим убожеством. А возможно, он просто заставлял себя отводить взгляд от соблазнительной фигуры шведки. Ему не хотелось углубляться в исследование своего поведения, и он продолжил, не поворачиваясь.

— У вашей подруги был дневник?

— Дне…вник? — с расстановкой произнесла Харриет. — Что это?

— По-английски «diary»… «journal»…

— Нет у Кати дневника…

Сартори поискал пепельницу. Бригадир услужливо поставил ее на ночной столик рядом с комиссаром.

— Синьорина, скажите откровенно… Мужчины посещают ваш дом?

Харриет широко распахнула свои полные изумления глаза.

— Мужчины, здесь?! — воскликнула она.

— Да, именно это я и хотел сказать.

Девушка покачала головой.

— Никогда мужчины здесь, — заявила она с твердостью, хотя на скулах появилось странное легкое покраснение. — Мы не монахини. Свободная любовь — да, но когда мне хочется…

— Здесь, дома?

— Нет, никогда… — упорствовала девушка.

Взгляд Сартори упал на телефонный аппарат, стоявший на ночном столике.

— Телефон общий? — поинтересовался он и, видя, что девушка не поняла, добавил: — У вас один номер телефона?

— Номер один с аппаратами в каждой комнате.

— Три аппарата? — удивился комиссар. — Зачем?

— Для удобства… Мы очень ленивы.

Они прошли в небольшой коридор, где Сартори остановился и открыл стенной шкаф. Внутри находились чемоданы, всякие безделушки, теннисная ракетка и постельное белье.

— Кто играет в теннис?

— Я… Было время — очень хорошо. Сейчас — плохо…

Из коридора они прошли в гостиную.

У одного из двух окон гостиной размещался круглый столик на трех ножках. На столе стояла голубая керамическая ваза с желтыми цветами. В простенке между двух окон возвышался большой книжный шкаф, полный книг. Сартори остановился полюбопытствовать. В основном

на полках стояли учебники и справочники на английском и шведском языках. Были и романы, некоторые из них на итальянском языке, но иностранных авторов.

— Эти книги ваши?

— Да, конечно!

— Я вижу учебники по химии и…

— Я фармацевт, — объявила Харриет.

Сартори поднял взгляд. Он был удивлен. Пораженный бригадир уставился на девушку.

— Извините, — сказал комиссар. — Но тогда почему вы занимаетесь стриптизом? Вы интеллигентная, молодая, образованная… — Он заколебался. — Ну, и красивая, конечно. И насколько я понял, из хорошей семьи.

— Мне нравятся приключения, — улыбнувшись, объяснила Харриет с какой-то детской гордостью. — Жизнь — не лавка аптекаря. Любой может продавать медикаменты, немногие умеют жить… Жизнь — это движение, новизна, новые люди, новые страны… улицы, стены, деревья, море…

Казалось, она декламирует стихи.

Сартори с трудом согласился, видимо догадываясь, что в словах этой девушки, рожденной под другими широтами, таился секрет образа жизни, неразгаданный комиссаром. Несмотря на все его усилия.

— А для Кати? Что такое жизнь для Кати?

— О!.. Для Кати жизнь — это быть в богатстве, в известности… Она — хорошая певица. Может быть, и придет к славе… Чарли Фонди скоро представит ее по телевидению. Уже сделана пробная съемка…

Бригадир напомнил комиссару, что Чарли Фонди — итало-американский телеведущий, сейчас — в моде. Харриет, которая поняла сомнения комиссара, добавила:

— Чарли Фонди представляет знаменитое шоу под названием «Приветствия и поцелуи»… Никогда не видели?

— Слышал о нем, — подтвердил Сартори.

Он подошел к круглому столику и коснулся пальцем розы.

— Эти цветы — подарок?

— Нет. Я купила, в воскресенье…

Комиссар повернулся к девушке. Та смотрела на него с удивлением.

— Вспомните, что говорила подруга, когда вы открыли дверь и поздоровались с ней. В понедельник утром.

— По телефону?

— Да.

Девушка покачала головой.

— Нет. Не помнить. Может, не поняла…

— Но вы сказали, что она показалась вам раздраженной. Не так ли?

— Да, раздраженная, — призналась девушка. — Выгнать меня жестом… Никогда не поступала так со мной. Катя всегда вежливая, всегда ласковая… — Она поднесла руку ко рту, как от внезапной догадки. — Может быть, вспомнить два-три слова…

— Какие? — сразу же ухватился комиссар.

— Катя раздражена, да… Говорила громко, когда я открыть дверь. Она говорить: «Это слишком, это слишком! Я на мели…» Именно так, «я на мели».

Сартори некоторое время переваривал слова, процитированные шведкой.

— Не думаете ли вы, что ваша подруга говорила о деньгах?

— Деньги? Может быть!..

— Если так, то кто-то просил деньги у вашей подруги. Вам не кажется?

— Возможно.

— Мужчина?

— Может быть.

— Вы не знаете, кто бы это мог быть?

— Нет, не знаю.

Сартори исподтишка поглядывал на дальний балкон. Некоторое время его мысли были заняты «балетом» белья, развешанного для сушки.

— У вашей подруги были сбережения?

— Да, конечно. И у меня есть…

— Она их держит дома?

— Нет, в банке… Я тоже держу сбережения в банке…

— В одном и том же банке?

— Да.

— В каком?

— В Неаполитанском банке.

— На какой улице?

— Около Парламента… Да, улица Парламентская. Мы часто ходить слушать дискуссии депутатов… — Она улыбнулась. — Мы много смеяться. Все говорить, говорить, словами большими, как колеса грузовиков, а дела всегда идти плохо…

Корона записывал.

Комиссар огляделся. Мебель, разбросанные повсюду вещи не давали ему представления о личности Катерины Машинелли. В обстановке увиденных комнат не было ничего определенного.

— Позвольте мне взглянуть на вашу комнату.

— Мою комнату?

— Да… Подумайте хорошенько. Вы можете отказаться, если хотите. Ордера у меня нет.

— Прошу.

Харриет провела обоих мужчин по коридору, открыла дверь напротив двери Кати и отошла в сторону, пропуская комиссара.

Казалось, это комната подростка. Преобладало белое и розовое. Старинная деревянная кровать под балдахином, украшенным белыми кружевами, с длинными вуалями, спускающимися до ковра. Большая кукла с черными волосами выделялась у изголовья. На кресле два медвежонка и ослик из Сардинии «вели беседу» о таинственных происшествиях. Духи, «ее духи», заполняли каждый угол большой комнаты. У Сартори было впечатление, что открылась дверь на другую планету. За стеклами закрытого окна ветер забавлялся длинными, вьющимися растениями из зеленых и желтых лап. Налево от окна вся стена покрыта огромной увеличенной фотографией с видом ночного города, возможно, Стокгольма. Туалетный столик напоминал витрину парфюмерного магазина.

Харриет держала глаза опущенными, будто стыдилась показывать то, что, должно быть, считала своим интимным.

— Вам больше нечего сказать нам? — спросил Сартори.

Девушка тряхнула длинными светло-русыми волосами, давая понять, что сказала все.

— Если будут для нас новости, сразу же дайте знать в Центральное управление. Меня зовут Сартори.

У него было искушение пожать ей руку, но он передумал.

«Гранкио Адзурро»

Ему пришлось почти на ощупь пробираться между столиками, стульями, извивающимися, как эквилибристы, официантами и танцующими парами, то и дело сталкиваясь с кем-нибудь, невольно касаясь чьего-то обнаженного плеча или чьей-то открытой спины. В «Гранкио Адзурро» площадь открытого женского тела можно измерять десятками метров.

Это был модный ночной клуб, где в определенное время начиналась программа довольно безвкусного и шумного кабаре. Был здесь и «стрип» в виде шуточного номера, не выходящий, правда, за пределы, дозволенные Уголовным кодексом. На танцплощадке, окутанной люминесцентной темнотой, силуэты создавали видимость танца под оркестр, состоящий из пяти длинноволосых молодых людей в желто-зеленых, как у папской гвардии, удлиненных куртках.

Сартори сразу же направился к противоположной стороне, рассекая массу, находящуюся в состоянии транса.

Джино Саличе, директор этого заведения, с которым он познакомился еще днем, приветственно махнул ему рукой. Навстречу комиссару бросилась грациозная темноволосая девушка в вечернем платье, которое могло бы закрыть разве что коробку спичек.

— Выпьем бокал шампанского, дорогой? — захныкала она.

Джино Саличе издал рык слона и оттащил девушку от комиссара.

— Катись отсюда, дура!.. Это же законник! — выкрикнул он. Затем, изменив тон и выражение лица, повернулся к комиссару: — Доктор, уважаемый, какая честь! Вы прибыли вовремя. Видите, что творится? И так каждый вечер, хвала Господу и Сан-Антонио… Но что я говорю? Проходите, проходите, я предложу вам виски, какого вы никогда в жизни не пили.

В его жестах, словах и суетливости явно проступал Неаполь.

Сартори коротко ответил:

— Он прибыл?

— А как же!.. Точно, как взносы. Когда пробило полночь, появился здесь, как Луна в Марекьяро. Всегда в поисках Кати, порази его Бог…

— Где он?

— В комнате шведки. Я провожу вас.

— Не надо. Вы мне покажите…

Они прошли из «ада» в плохо освещенный коридор, пахнущий плесенью и подвалом.

— Спасибо.

Комиссар толкнул дверь без стука. Харриет прихорашивалась перед зеркалом. Высокая, хорошо сложенная — ничего лишнего, — в зеленоватом, полупрозрачном костюме «куклы», она, казалось, заполнила собой комнату. В углу, в маленьком неудобном креслице, сидел тонкий светловолосый юноша, одетый элегантно, но немного вульгарно. Единственно приятной особенностью его внешности были очки в позолоченной оправе.

— О, мой прекрасный комиссар! — воскликнула девушка, резко повернувшись к вошедшему. От радостного удивления у нее вытянулось лицо. Что-то в ее глазах вызвало глубокое смущение у Сартори. Но оно длилось лишь несколько мгновений, потому что сразу же внимание полицейского переместилось на испуганного блондинчика.

— Ну, я пойду, — заторопился юноша.

— Я искал именно вас, — остановил его комиссар. — Вы друг Катерины Машинелли, верно?

— Ну да!..

— У меня к вам есть несколько вопросов, — продолжал Сартори, придавая голосу непринужденный тон. — Садитесь, пожалуйста. — Блондинчик повиновался. — Как вы знаете, синьорина Машинелли несколько дней назад пропала, и полиция по сигналу синьорины, присутствующей здесь, ищет ее…

— Я тоже ее ищу, — произнес юноша еле слышным голосом.

— Где? Здесь, в ночном клубе?

Блондинчик покраснел.

— Вчера я съездил в Пескару… — запротестовал он. — Я подумал, что Катя уехала к матери… Надеялся на это. Но…

— Что «но»?

— Но не нашел ее.

Комиссар устроился на маленькой скамеечке между юношей и девушкой, прикурил сигарету. С виду он размышлял. В действительности присутствие Харриет, нанизывающей на себя «боевой арсенал» из черных кружев, мешало ему сосредоточиться.

— Ваше имя Тото? — возобновил расспросы полицейский.

— Меня называют так. Мое настоящее имя Сальваторе. Дамма Сальваторе.

— Римлянин?

— Ну, не совсем!.. Я родился в Анцио. Моя семья еще живет там. Именно в Анцио я и познакомился с Катериной, три года назад… Она служила няней в одной богатой семье… По крайней мере, так мне сказала.

— Вы помните фамилию этой семьи?

— Нет. Никогда не интересовался.

— Вы работали там?

— Я бухгалтер в фирме «Экко».

Комиссар затянулся и выпустил клуб дыма вниз к пыльном полу. Прекрасная шведка, попавшая в его поле зрения, была для него непреодолимой действительностью, которую не удавалось игнорировать.

— Синьор Дамма, вы пытались объяснить себе исчезновение синьорины Машинелли?

— О да, пытался!.. Но безрезультатно. — В тоне блондинчика звучала тревога. — Для меня это загадка. Я уже говорил об этом Харриет… Потому что уйти вот так внезапно, не сказав ни слова, без…

Он резко остановился. Сартори показалось, что он сейчас расплачется. Харриет надевала на себя сложный костюм в стиле «конец века».

В коридоре раздался голос: «Харриет, через пять минут!»

— О’кей! — откликнулась девушка, наконец-то одетая, чтобы потом раздеться. Она зашелестела негнущейся материей и, положив руку на плечо комиссара, тихо проговорила:

— Я иду… Когда я кончить, вы меня подождать?

И тут Франческо Сартори, полицейский из Сицилии, находящийся в зрелом возрасте, покраснел и ответил:

— О, ну не знаю. Может быть…

Девушка вышла, повизгивая, как обезьянка. Дверь закрылась, пропустив порцию отдаленных звуков «адской» музыки.

Блондин сидел с опущенными глазами.

— Будем строить гипотезы, — продолжил комиссар. — Говорю так, потому что на данный момент ничем реальным не располагаю… Если бы синьорина Машинелли была найдена мертвой, мало того, убитой, чтобы вы подумали? Я хочу сказать, появились бы у вас подозрения против когонибудь?

Юноша поднял голову и с ужасом посмотрел на комиссара.

— Убита? — у него перехватило дыхание.

— Господи, не пугайтесь! Я сказал «убита» как предположение. Сегодня я посетил отдел, где регистрируются пропавшие. За эти дни найдены две одинокие женщины. Они уже опознаны. Но это ничего не значит.

Сальваторе кивнул головой.

— Против кого у меня появились бы подозрения? — повторил он. — Вы не знали Катерину… Но почему я говорю о ней в прошедшем времени? — поспешил добавить юноша. — Катерина — хорошая девушка, вежливая со всеми, с добрым сердцем…

Большим и указательным пальцами молодой человек показал предполагаемые размеры сердца исчезнувшей девушки.

— Между вами были интимные отношения? — проявил интерес комиссар.

— Ну да.

— Вы ее считали своей любовницей или невестой?

— О, невестой, конечно!.. Я хочу жениться на ней. Но Катерина честолюбива, она стремится к богатству, к славе.

Краткий допрос закончился. Сартори отпустил юношу и прикурил еще сигарету, так и не решив, остаться ему или уйти. Остаться — означало броситься с головой в авантюру, эпилог которой он даже не осмеливался сфантазировать. Уйти было равносильно позорному бегству мужской натуры, но не чувств. Эта красивая шведка, заманчивая, таинственная, словно выпрыгнула из его давнего сна, чтобы увести в недоступные лабиринты неудовлетворенного желания.

Он остался в этих четырех стенах, узких, надушенных, с одеждой и предметами туалета Харриет, разбросанных по комнате.

Дверь распахнулась, и в комнату влетела полураздетая скандинавка с ворохом кричащей и надушенной одежды. Ее сопровождал шлейф аплодисментов.

— Вы здесь, мой милый комиссар!

Она остановилась и посмотрела на него с высоты своего великолепного для женщины роста. То, что случилось потом, было необъяснимо. Инициатива шла от обоих. Она наклонилась, он потянулся к ней, и их губы слились. Одежда выскользнула из рук Харриет, она упала к нему на колени с вихрем коротких непонятных слов.

Доска пола в коридоре скрипнула. Сартори вскочил. Это спасло его.

На пороге появился улыбающийся бригадир Корона.

— Большая новость, комиссар!

Глаза начальника испепеляли его.

— Спасибо, бригадир. Подождите меня в баре, я сейчас приду.

Корона ретировался на цыпочках. Дверь закрылась, доска в коридоре скрипнула еще раз.

Харриет взорвалась смехом, ей эхом ответил, вопреки себе, Сартори.

— Думаешь, он понял? — спросил комиссар.

Вместо ответа девушка протянула ему зеркало. Сартори похолодел: его лицо было испачкано губной помадой.

— Ты — маска! — прошептала Харриет, прижимая его к себе. Быстро поцеловала несколько раз в губы. — Ты — красивая, сладкая маска моей любви…

Он почувствовал, как растворяется в нежности, охватившей все его существо.

— Ты милый ребенок, — пробурчал он.

— Мы пойти ко мне домой вместе, потом. Ты подождать в баре…

Комиссар привел себя в порядок и вышел из каморки. Он был рассеян и оглушен, когда добрался до бригадира, который устроился за угловым

столиком у самой стойки бара. Две девушки и франт демонстрировали перед публикой неистовый танец.

— Как пришло вам на ум врываться так… — произнес комиссар, садясь перед бригадиром. Однако тон не был укоряющим.

— Извините, я не…

— Оставим… — Сартори сделал знак официанту, заказал джин-тоник, закурил. — Ну, что там?

— Автомобиль Катерины Машинелли находится в гараже Консоли на улице Номентана, где она обычно держала его. «Миллеченто-фиат» молочно-белого цвета… — Машинелли поставила его туда в воскресенье днем, и больше ее никто не видел. Я обыскал машину, но не нашел ничего подозрительного. В ящичке — сигареты «Мальборо» (три пачки), флакон с противозачаточными таблетками (шведского производства, определенно приобретенные контрабандой), книжка банковского кредита на имя Машинелли.

Сартори внимательно слушал, смакуя джин-тоник. Перед Короной стояло немецкое пиво, которое он застенчиво пил маленькими глотками.

— Ничего больше?

— Я побывал также в тосканской траттории на улице Кастелфилардо. Она принадлежит некому Арморио Дженезио из Прато. Там заявили, что последний раз видели Машинелли в воскресенье, около четырнадцати. Девушка была одна. Она поела, обменялась несколькими словами с хозяином и вышла на улицу. Казалась нормальной. Пошутила с официантом, неким Оттоне Луиджи, которого все зовут Джиджи.

Спектакль завершился в оргии кричащих нот. Пары снова начали танцевать.

— Побывал я и в Неаполитанском банке, — продолжил Корона. — До понедельника одиннадцатого числа у Машинелли было на счете два миллиона семьсот пятьдесят лир.

— Однако!

— Во вторник, то есть двенадцатого, перед банковским окошечком предстал некий Дамма Сальваторе. Он снял по чеку со счета Машинелли полтора миллиона лир…

— Интересно, — пробормотал Сартори.

— В пятницу пятнадцатого поступил чек на пять миллионов, которые были занесены на счет Машинелли…

Комиссар навострил уши.

— Чей чек?

— Некоего Томмазо Гуальтьеро Солариса. Этот синьор практически владелец завода бытовых электроприборов «Космос», расположенного километрах в тридцати пяти от улицы Понтина. Знаете, сейчас крупные промышленники выносят свои предприятия за Рим, чтобы иметь поддержку «Касса Медзоджорно»

— Интересно, какую услугу оказала Машинелли за такую сумму!

— Вот-вот! — поддакнул бригадир, сделав неспешный глоток пива. — Именно это я и хотел бы знать…

— «Космос», — проговорил Сартори, будто самому себе. — Телевидение недавно передавало рекламу этой марки. Помните лозунг? «Космос» делает вас моложе».

— Только непонятно, почему «моложе». Там медициной и не пахнет…

— Совсем недавно я говорил с Даммой Сальваторе, — сказал комиссар. — Другом Машинелли.

— А!

— Он казался в отчаянии от исчезновения девушки, которого объяснить не может. Произвел на меня хорошее впечатление. Поэтому ваше сообщение для меня неожиданность… — Сартори вздрогнул, заметив Харриет в глубине зала, и поспешил добавить: — Спасибо, бригадир. Можете идти спать, если хотите.

Пожав протянутую руку старшего по званию, Корона ушел. Комиссар, не двигаясь, смотрел на приближающуюся фигуру девушки.

Новый аспект

Он проснулся во власти приятного ощущения новизны и тут же в полумраке комнаты ощутил запах духов и женщину. Широкое белое покрывало, ниспадающее с балдахина на кровать как занавес алькова, напомнило ему место, где он находится. Стокгольм раскрывал ему свои объятья с большого фото на стене. Слева под голубой, смятой простыней, спала уставшая Харриет. Прямой профиль, полураскрытые губы, маленькие белые зубки выставили себя напоказ.

Сартори посмотрел на часы в свете тусклого ночника. Девять двадцать пять… Там, за опущенными шторами, день был в разгаре. Лил дождь, низвергая на дом потоки воды. Время от времени гремел гром.

В киоски, наверное, уже поступили утренние газеты с фотографией Катерины Машинелли и с объявлением о ее тайном исчезновении.

Он тихо спустился с кровати и направился в ванную, где Харриет приготовила ему принадлежности для бритья. Рубашка выстирана и готова для одевания.

На кухне он приготовил себе кофе и выпил две чашки. Хотел отнести напиток Харриет, но потом решил не будить ее. Платаны на улице Номентана раскачивались от ветра.

Одевшись, Сартори не удержался от соблазна осмотреть комнату Кати. Вещи и кровать в порядке. Тишина располагала к мрачным предположениям о судьбе исчезнувшей девушки.

В ванной он заметил зубную щетку Кати, вставленную в пластмассовый стаканчик с буквой «К». Кто уезжает, даже в кратковременную поездку, не забывает маленькие, необходимые принадлежности личной гигиены. Потом он допустил, что их можно купить в любом парфюмерном магазине. Но как же можно исчезнуть, не оставив и пары строчек для своей горячо любимой подруги? Почему бы не позвонить ей, даже если вынуждена срочно уехать?

Взгляд полицейского упал на альбом фотографий, оправленный в красный сафьян. Начал перелистывать его возле окна, в стекла которого бросалась непогода.

Сартори снова увидел грациозную фигурку Машинелли, сфотографированную в различных спектаклях «Гранкио Адзурро». Он сконцентрировал внимание на тех снимках, где Катя находится среди публики. На одиннадцати из шестнадцати снимков комиссар отметил мужчину с густыми светлыми усами, лысого, одетого с изысканной элегантностью.

Фотографии, очевидно, были сделаны в разное время, потому что неизвестный не всегда одет в одну и ту же одежду. На двух фото он в вечерней паре, на пяти — в сером костюме спортивного типа с галстуком-бабочкой, на двух — в рубашке и бархатном темном жилете с цветастым рисунком, на остальных — в темном комплекте, с высоким бокалом в левой руке и большой сигарой в зубах.

Внимание комиссара привлекло не только систематическое появление этого человека, но и его поведение: в нем чувствовалось что-то, ненавяз-

чиво связывающее с девушкой. Речь шла не о прямом чувстве, любви или желании, а о смутной связи, определить которую Сартори не мог. Действительно, мужчина всегда занимал столик рядом с тем, у которого фотографировалась Катя. На одной фотографии неизвестный брал букет белых роз у местной продавщицы цветов, и комиссар мог поклясться, что цветы предназначались для девушки.

Такое утверждение вдруг взволновало его, хотя точной оценки этому он дать не мог.

Комиссар снова начал рыться в шкафу, открыл все ящики. В ящичке ночного столика лежали сигареты, спички, губная помада, катушки с нитками и экземпляр «Плейбоя». В углу обложки журнала он заметил шесть цифр, написанных зелеными чернилами. Когда Сартори брал из ящичка журнал, на коврик упала тонкая шариковая ручка с зеленым стержнем.

Ему тут же захотелось набрать этот номер телефона (он не сомневался, что цифры означают номер телефона), но голос Харриет отвлек его.

— Фффранческо!..

Девушка звала его с протянутыми руками, еще находясь в оболочке сна.

— Как, ты уже готов? Уходишь? — воскликнула она, принимая за занавеской позу йога. В ее глазах Сартори прочитал глубокую преданность, которая поставила его в затруднительное положение.

— Ты же знаешь, девочка, я полицейский.

Она потянула его на себя и без слов прижала к груди. Он понял, что она плачет.

— Что с тобой, глупышка? — удивился он, отстраняясь. — Зачем эти слезы, ну?

— Я… Я глупая, — тихо проговорила Харриет. — Я очень полюбить тебя. Ты веришь, правда?

— Я верю тебе.

— А ты? Ты полюбить Харриет?

Сартори долго молча смотрел на нее, потом быстро поцеловал и шепнул:

— Пока еще я боюсь полюбить тебя, и от этого страшно…

— Я тоже боюсь полюбить тебя. Но полна любви к тебе… — У нее вырвался нервный смешок, и она потрясла головой, словно отгоняя искусительную мысль. — Но не говорить ничего сейчас, хорошо? Мы любить нашу любовь. Все говорить, да?

— Согласен, малышка!

— Что ты иметь в руке?

Сартори вспомнил, что принес с собой альбом и журнал «Плейбой». Он раскрыл альбом и показал ей лысого мужчину с густыми светлыми усами.

— Знаешь этого человека?

— Ну конечно!.. Это Гуалтьеро. Очень богатый, очень важный мужчина...

— Гуалтьеро, как дальше?

— Мы называть его Гуалтьеро и все. Кто-то называть его Гуалтьеро Космос, потому что он владеет большим заводом бытовых электроприборов. Наш холодильник тоже «Космос».

Сартори почувствовал небольшое волнение.

— Тогда я знаю, как его зовут! Томмазо Гуалтьеро Соларис…

— Правильно, Соларис! Сейчас вспомнить… Почему ты меня спрашивать о нем?

— Так, одна идея. Что ты можешь сказать об этом Соларисе?

— О, мало! — ответила Харриет, вытягиваясь в позе простодушной искусительницы. — Он — большой друг Джино Саличе. Больше того, ком-

паньон, я думаю. Или дает деньги для ночного клуба, не знаю… Гуалтьеро приехать часто в ресторан. Заказать шампанское всем. Очень щедрый. Очень щедрый и очень любезный…

— С Катей?

— С Катей, со мной, со всеми…

— Он спал с ней?

Раздосадованная Харриет уставилась на него.

— Вы, мужчины, все одинаковы, — сорвалась она на пронзительный голос. — Всегда думать об одном и том же.

— Спрашиваю тебя не из-за простого любопытства, сокровище мое. Я ведь провожу расследование дела, которое может оказаться делом об убийстве.

Девушка взяла его руку и поднесла к своим губам.

— Ты извинить меня, Фффранческо, — сказала она. — Я глупая, вот… Спала ли Катя с Гуалтьеро? Не знаю. Не думаю. Нет, уверена — не спала. У него очень красивая жена. Он очень любит ее. Гуалтьеро всегда приходит со своей женой.

— Вспомни, когда делались эти фотографии?

— Может быть, месяц назад. Может, меньше. Наверное, меньше… У Гуалтьеро была идея. Он специально приводил фотографа. Хотел ввести Катю в кино.

На обратной стороне каждой фотографии стоял штамп с надписью «Фотостудия Рамелли, улица Бабуино 9, Рим».

Сартори показал девушке цифры на обложке «Плейбоя».

— Они тебе ничего не говорят?

— Номер телефона, — пожала плечами Харриет. — Это почерк Кати. Зелеными чернилами… Я купила в субботу для Кати ручку с зелеными чернилами.

— Значит, твоя подруга записала этот номер в промежуток времени от субботы до утра понедельника.

— Да, Фффранческо… — Харриет остановилась, будто из-за внезапной мысли, и продолжила: — Я вдруг подумала, что с того момента, как пропала Катя, Гуалтьеро больше не появлялся в ночном клубе…

После этих слов Сартори было над чем подумать.

Новые сведения

В гостинице для него лежали две записки: одна от бригадира Короны, вторая от фельдфебеля Фантина. Портье, юноша по имени Джанни, который лишь несколько месяцев назад был боксером, держался почтительно. Эта почтительность почему-то действовала комиссару на нервы.

Сартори поднялся в свою комнату и позвонил на работу. На другом конце провода по стойке «смирно» встал усердный и многословный фельдфебель Фантин. Он проинформировал начальника, что полиция Пескары расспросила мать Катерины Машинелли, простую женщину, портниху. За это время она получила только пять открыток: из Рима, Милана и Сан-Феличе Чирчео[1]. На последней открытке, посланной из Сан-Феличе Чирчео, стояла дата — 13 октября. Так как девушка пропала в понедельник одиннадцатого, можно было предположить, что два дня спустя она еще была жива.

[1] Сан-Феличе Чирчео — небольшой курортный город на берегу Тирренского моря, расположенный в 100 километрах от Рима.

Комиссар дал указание Фантину попросить у синьоры Машинелли открытки от дочери, вероятно, сохраненные женщиной.

— Что касается последней открытки, то она уже в комиссариате Пескары, — доложил Фантин. — Я сейчас позвоню, и ее срочно вышлют.

— Хорошо… Да, еще одно дело, фельдфебель! — вспомнил Сартори. — Посмотрите, кому принадлежит номер телефона: восемьдесят пять двенадцать двадцать один.

— Я могу это установить в течение нескольких минут.

— Очень хорошо. Тогда сообщите мне в гостиницу. Спасибо.

Комиссар сменил одежду, надел другую пару туфель, размышляя в то же время о необходимости снять квартиру, если семья не сможет приехать в Рим до окончания учебного года.

При мысли о семье ему стало не по себе.

А Харриет?

Охваченный противоречивыми чувствами, он вдруг заметил, как растет в нем непреодолимая уверенность в невозможности обходиться без нее.

Телефонный звонок оторвал его от размышлений. Звонил фельдфебель Фантин.

— Доктор, номер принадлежит некой Коралло Элизабетте, шестидесяти лет, уроженке Фраскати, проживающей по улице Куантили, 230. Всего лишь несколько лет назад Коралло работала акушеркой…

— Смотри-ка! — воскликнул Сартори с живым интересом. — Вам нечего сказать мне по этому поводу?

— У меня не было времени узнать… — извинился фельдфебель.

— Значит, узнайте сейчас, — приказал комиссар, беря на заметку адрес женщины. — Приготовьте мне информацию до двух часов. К двум пришлите сюда, в гостиницу, бригадира Корону с автомобилем.

— Хорошо, доктор!

— Спасибо, фельдфебель. Может быть, вы дали мне хороший след.

— Надеюсь, синьор комиссар.

Сартори положил трубку, но секунду спустя опять вызвал Фантина и поручил ему собрать информацию по Томмазо Гуалтьеро Соларису, владельцу предприятий «Космос».

Начали обрисовываться контуры дела Машинелли.

Он вышел на улицу.

Дождь лил как из ведра. Чтобы не терять время, Сартори зашел в закусочную неподалеку от дворца Виминале. Заказал себе тушеное мясо с брюссельской капустой, два яйца с устрицами, бутылку «Фраскати» и сладкое.

Элизабетта Коралло, акушерка. Что там говорила Катя по телефону в тот понедельник, когда Харриет вошла поздороваться с ней? «Это слишком! Слишком! Я на мели!»

Он заказал «Джонни Уоркер», а уходя, купил бутылку виски и забрал ее с собой в гостиницу. В комнате Сартори растянулся на кровати с намерением вздремнуть. Было без двадцати два. Телефон не дал ему заснуть.

— Бригадир Корона в холле, — объявил портье.

Холл. Помещение шесть метров на четыре, со стойкой напротив входа в лифт. Очевидно, бывший боксер хотел создать иллюзию, что вы в солидной гостинице.

— Попросите его подняться.

Комиссар спустил ноги с кровати, взял два бокала. Когда Корона постучал в дверь, Сартори наливал виски.

— Добрый день, доктор. Я не помешал?

Строгий, степенный, в мокром дождевике и со шляпой в руке, он был похож на импресарио пышных похорон.

— Проходите, бригадир. — Сартори протянул ему один из бокалов. — Выпейте со мной за успех нашего расследования.

Комиссар осушил бокал залпом, Корона сделал глоток и закашлялся.

— Матерь божья, что это? Спирт? — проговорил он, восстановив дыхание.

— Виски. Никогда не пили раньше?

Бледная улыбка появилась на лице Короны.

— По правде говоря, нет, — признался он. — Но хороший. Немного крепковатый…

Бригадир присел на стул. Дождь почти прекратился. Сартори приоткрыл окно, чтобы дать выйти сигаретному дыму. Прошел трамвай, постукивая на стыках рельсов.

— Надо будет сменить гостиницу, — посетовал вдруг комиссар. — Ночью почти невозможно сомкнуть глаза. Вы мне найдете хороший пансион?

— Нет вопросов, — заверил его бригадир. Он позволил себе еще один глоток спиртного и казался удовлетворенным. Потом добавил: — Фельдфебель Фантин сделал все, что вы приказали. Мы узнали, что Соларис на последних выборах выдвигался кандидатом в парламент от партии «Социальное движение», но не был избран. Он, однако, продолжает называть себя депутатом…

— А!

— У него большая квартира в Париоли, где он живет с женой и двумя дочками — десяти и восьми лет. Жена, очень красивая женщина, славянка, в прошлом — манекенщица и натурщица… Зовут Пирошка.

«Пирошка», — повторил про себя Сартори. Это имя сразу же очаровало его, будто открыло перед ним таинственные горизонты дальней страны. Следуя внезапному порыву, он взял альбом с фотографиями, который нашел в комнате Катерины Машинелли, и открыл его наугад. Он опять увидел девушку в эротических позах и тупое лицо Гуалтьеро Солариса за ее спиной. Но комиссар искал другую персону и нашел ее в полумраке зала. Она сидела рядом с промышленником. Вот она, Пирошка. Изображение было немного расплывчатым, но достаточно ясным, чтобы составить представление о ее чертах лица. Худое треугольное лицо, мясистый рот, длинная изящная шея, высокая грудь в глубоком декольте. Сквозь длинные полуприкрытые ресницы глаза казались глубокими и бездонными. Светлые волосы уложены в гармоничном беспорядке вокруг головы.

— Вот, должно быть, она! — заявил Сартори, показывая фотографию Короне. — Мне говорили, что Соларис никогда не расстается со своей женой, даже когда идет в ночной клуб…

— Или жена никогда не расстается с ним, — резко ответил бригадир.

— Умная мысль.

На других фотографиях неизменно присутствовала та, которая, по всей вероятности, была синьорой Соларис.

Бригадир продолжил доклад:

— Вообще-то, субботу и воскресенье Соларисы провели в Анцио[1], где у них большая вилла… Владелец виллы, старый Соларис, бывший магистр. Он был очень известен перед войной…

Опять зазвонил телефон. Пробило два часа, и естественно пунктуальный, как хронометр, Фантин выполнил задание начальника.

— Ну что, фельдфебель?

[1] Анцио — город-порт, недалеко от Рима, на треугольном выступе Тирренского моря.

— Элизабетта Коралло дважды подозревалась в производстве криминального аборта. Одиннадцать лет назад у несовершеннолетней. Была освобождена из-за отсутствия доказательств. Пятью годами позже было подозрение, что она сделала аборт француженке, работавшей в Риме. И на этот раз против нее — никаких улик…

— Очень хорошо, фельдфебель.

— Бригадир Корона сказал вам о Соларисе?

— Только что мы говорили о нем. А сейчас мне нужно познакомиться с акушеркой.

Перед тем как выйти, Сартори сделал еще глоток виски. Бригадир отказался. У него уже блестели глаза, и, очевидно, по причине повышенных градусов алкоголя в напитке он глотал некоторые слова. Комиссар дружески подшучивал над ним, пока надевал дождевик. Дождь не кончался и уже начинал надоедать.

Полицейская машина с рацией ждала их у входа. За рулем сидел агент Мариани. Когда комиссар вышел, он поспешил открыть дверцу автомобиля.

Сартори в замешательстве

Улица Куинтили была периферийной улицей, грязной и запущенной, оккупированной шумными ватагами ребятишек и малолитражками, припаркованными на запрещенных стоянках. Ввиду забитых водостоков дождь превратил улицу в русло бушующей реки. Невозможно было пройти, не погрузившись по лодыжки в воду.

Автомобиль остановился у расхлябанных ворот. Сартори и бригадир выскочили из машины и побежали укрыться в подворотне, где ребятишки играли в карты. Привратницкой не было. По большим плитам двора, изношенным от времени и окаймленным сорняками, упрямо стучал дождь. В глубине, у стены, стояло несколько бидонов для мусора. Двери выходили во двор и вели в помещение под лестницей. На первом этаже вдоль фасада дома бежал залатанный во многих местах балкон с железными перилами. Запах капусты, смешанный с более сильным запахом мусора, ударил в нос обоим полицейским.

— На каком этаже живет синьора Коралло? — поинтересовался бригадир у мальчишек.

— На третьем, лестница направо, — бросил брюнет с грязным лицом.

Они вскарабкались по крутой лестнице со стертыми ступеньками. На третьем этаже Корона нажал кнопку, пристроенную на двери рядом с поблекшей карточкой «Коралло Элизабетта — дипломированная акушерка». В ответ — ни звука. Он энергично постучал.

— Кто там? — раздался голос изнутри.

— Полиция, — представился бригадир.

Дверь приоткрылась, и в щели показалось морщинистое лицо женщины.

— Полиция?

Бригадир показал свою карточку. Дверь открыли, и полицейские переступили порог.

— Синьора Коралло?

— Это я.

— Нам надо поговорить с вами. Это комиссар Сартори.

Женщина была прилично одета: в платье стального цвета ниже колен. («Для выхода», — отметил про себя Сартори.) На вид ей было лет шестьдесят, но она казалась еще полной энергии. Насупленное выражение

лица говорило о большом жизненном опыте и жизненных битвах. Волосы, собранные в узел на затылке, были окрашены в цвета от голубого до красноватого — явно с целью скрыть седину, правда, с сомнительным результатом. Типичная внешность пожилой женщины из мелкой буржуазии. Но за стеклами очков, из «замочных скважин» бегающих глаз светили хитрость и опасение.

Женщина ввела их в опрятную столовую со стенами, оклеенными обоями. Посреди стола, покрытого клеенчатой скатертью, стояла ваза с искусственными цветами.

— Проходите, пожалуйста. Могу вам предложить коньяк, кофе…

— Нет, спасибо, — отказался комиссар, занимая место у стола. Пока бригадир усаживался с противоположной стороны, он продолжал: — Садитесь и вы, синьора. Так мы можем поговорить более свободно. Вы позволите мне курить?

— Ну конечно, какие разговоры, — сказала женщина с натянутым смешком.

Она принесла пепельницу в виде раковины и поставила перед полицейским. Все ее движения только подчеркивали тревогу женщины. Она робко пристроилась на краешке кресла, как при официальном визите.

— Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали кое-что о синьорине Катерине Машинелли, более известной по имени Катя. Я думаю, вы читали в газетах…

— Я не читаю газеты. Они всегда говорят одно и то же… Вы сказали Машинелли, комиссар?

— Да, Катерина Машинелли.

Женщина покачала головой.

— Никогда не слышала этой фамилии, — твердо проговорила она и пристально посмотрела на комиссара. — Я должна была знать ее?

Сартори сделал знак бригадиру, и тот достал из папки фотографию девушки. Синьора Коралло наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть ее при свете.

— Никогда не видела, — произнесла она, наконец, возвращая фотографию. Теперь ее тон был более уверенный, словно ей удалось предотвратить нависшую опасность. Подняв взгляд на комиссара, она продолжила: — Почему я должна знать что-то об этой девушке?

Действительно, почему? Номер телефона, записанный на обложке журнала, достаточно ли его для обвинения женщины? И потом, в каком преступлении обвинить ее? Теперь уже Сартори раскаивался, что сделал этот шаг, руководствуясь больше импульсом, чем правилом. Он хотел посмотреть в лицо той, которая, по его мнению, связана, хоть и тончайшей линией, с судьбой Катерины Машинелли. И вот здесь, в чистенькой тихой столовой, он смотрел в окно квартиры напротив, на женщину, которая шила на швейной машинке. И хотя в данный момент в расчет она не принималась, комиссар запоминал ее подробно. Почему у Катерины Машинелли появилась необходимость обратиться к акушерке, если по всем свидетельствам она была современной девушкой и для защиты от случайных неожиданностей пользовалась дефицитными противозачаточными пилюлями?

— Вы собираетесь уходить? — спросил комиссар.

— Да, но я могу подождать, — ответила синьора Коралло со спокойствием.

— Значит, не роды.

Женщина рассмеялась.

— О нет!.. Я уже давно этим не занимаюсь.

Бригадир заерзал на стуле. Сартори выдохнул клуб дыма.

— Однако одно время у вас были неприятности с полицией.

— Все — клевета, — заявила женщина без признаков волнения.

— Итак, вы никогда не видели этой девушки. Подумайте хорошенько, синьора.

— Комиссар, клянусь всем святым, что у меня есть в этом мире: я никогда в жизни не видела этой девушки. Конечно, вы думаете, что при моей квалификации акушерки я могла сделать ей какую-то определенную услугу… Почему бы ей не прийти и не сказать мне в лицо, если у нее хватает наглости! У меня есть пенсия, и кроме того, я получаю пенсию моего мужа, который был железнодорожником. Вы действительно думаете, что я на старости лет вдруг захотела бы погубить себя из-за какой-то проститутки? Судя по фотографии, девушка занимается стриптизом в ночном ресторане.

Разговор уплывал.

— К сожалению, очная ставка с девушкой невозможна, — отчетливо произнес Сартори.

— Почему?

— Она пропала. Вот уже несколько дней о ней ничего не известно. Я надеялся, что вы сможете дать мне какую-нибудь информацию.

— О нет, комиссар! — возмутилась акушерка, повернув к нему пылающее лицо. — Вы ждали от меня не просто информацию, а признание вины. Я честная женщина со всех точек зрения. И в своей профессии всегда придерживалась правил совести. У меня пять сыновей, и они знают, что когда ко мне несколько раз приходили с незаконными предложениями, я выгоняла их, кто бы они ни были. Это мой принцип.

Она говорила категорично. Ее вид не оставлял возможности предположения, что она способна на нелегальную практику.

— Вы не знаете молодого человека по имени Сальваторе Дамма?

Что-то дрогнуло (по крайней мере, так показалось комиссару) в глазах акушерки. Страх? Просто опасение? Сартори не смог бы определить, но он почувствовал, что задал правильный вопрос.

— Я должна знать его? — голос женщины как-то потускнел.

— Я спрашиваю вас.

Долю секунды синьора Коралло колебалась, будто собираясь перед тем, как решиться на ответ.

— Никогда не слышала этого имени.

— А Джино Саличе? — вмешался бригадир.

Комиссар перевел взгляд на подчиненного, который вроде бы и сам был ошеломлен своим вопросом. Что взбрело ему в голову? Директор «Гранкио Адзурро», согласно наружности, больше относится к мужчинам, чем к женщинам. Но нельзя ничего знать…

— Никогда не слышала о нем.

Эта фраза становилась уже припевом.

— Извините, если я доставил вам беспокойство, — закончил Сартори, поднимаясь.

Они двигались к центру города, когда комиссар спросил Корону, всегда ли Сальваторе Дамма находится под контролем.

— Двое наших людей чередуются в слежке, — заверил его бригадир.

— Ну, а вы? Что вы думаете обо всей этой путанице? — Сартори выглядел раздраженным и растерянным. — Когда я упомянул имя Даммы, мне показалось, что тон акушерки немного изменился.

— И мне тоже. Я убежден, ей известно гораздо больше, чем она хочет нас уверить.

— Вот именно! — подтвердил Сартори.

— Будет интересно, если Дамма и эта старуха знают друг друга… — предположил бригадир.

— Вы думаете, девушка ждала ребенка, и акушерка оказала ей услугу?

Корона посмотрел на начальника.

— Да. И тогда понятно, почему Машинелли записала номер телефона Коралло. Девушка ждет ребенка. Отец знать об этом не хочет, а может быть, и она сама тоже не хочет ребенка. Кто-то сводит ее с повивальной бабкой, чтобы сделать аборт. Девушка умирает или у нее такие осложнения, от которых она вряд ли останется в живых!.. Что вы на это скажете, доктор?

— Я в этом не убежден. Вы забыли, что Машинелли очень осторожна в своих отношениях с противоположным полом. Разве не вы нашли противозачаточные таблетки в ее автомобиле?

У Короны вытянулось лицо от досады.

— Да, вы правы. Но что же тогда?

Этот вопрос повис в воздухе между запотевшими стеклами автомобиля.

Блондинчик в затруднительном положении

— Когда вы последний раз видели свою подругу?

Сальваторе Дамма, сидевший в неуклюжей позе перед комиссаром, безнадежно махнул рукой.

— Ну сколько можно говорить, комиссар? — вырвалось у него. Голос дрожал и был готов сорваться на рыданья. — В воскресенье, в воскресенье!.. В воскресенье, десятого октября. Точнее, в три с половиной утра уже одиннадцатого числа. Я провожал ее. Мы расстались около ее дома, и я ушел.

— Что дала вам Машинелли в тот вечер? Или если не в тот, то в предыдущий вечер?

— Что она могла мне дать? Она дала мне поцелуй, ничего больше.

Сартори обошел вокруг стола и схватил юношу за воротник куртки. Бригадир Корона, стоящий у двери, приготовился защитить своего начальника и земляка в случае необходимости.

— Дамма, перестаньте водить меня за нос! И не пытайтесь шутить со мной. В ту ночь девушка дала вам чек Неаполитанского банка на миллион с половиной, не так ли?

Мертвенно-бледный и дрожащий блондинчик вытаращил глаза. Комиссар отпустил его и вернулся опять за стол.

— Ну?

— Да, — еле слышно произнес Дамма.

— Когда она дала вам чек?

— Позже, утром одиннадцатого числа. Я ждал ее у выхода из банка.

— В котором часу?

— Около часа дня.

— Почему она дала вам эти деньги?

Дамма задергался на стуле, готовый впасть в конвульсии. Две слезинки прорезали ему скулы, и он поспешил яростно стереть их тыльной стороной ладони.

— Эти деньги предназначались для рекламирования Кати, — наконец решился объяснить он.

— Какое рекламирование?

— По телевидению, как певицы. Катерина — хорошая певица, и Чарли Фонди обещал сделать ей рекламу…

Комиссар и бригадир обменялись взглядами.

— Вы хотите сказать, что передали деньги Чарли Фонди? — продолжал наступать Сартори.

— Ну, так думает Катерина! — опустил глаза Дамма. — Частично это правда. Я дал Чарли Фонди миллион. Остальное…

— Остальное?

— Я взял себе…

— Большая любовь!.. — прокомментировал комиссар с презрением.

На ресницах блондинчика появились еще слезы, теперь уже бежавшие без стеснения.

— Из-за нее каждый вечер просаживаешь кучу денег, понимаете? — Дамма вдруг выпрямился. — Джин, виски, американские сигареты и все остальное в этом клубе… Она не отдает себе отчета в том, что я простой бухгалтер с тридцатью тысячами в месяц. Привыкла иметь дело с богатеями, которые каждую ночь оставляют сотни тысяч лир в карманах Джино Саличе. Я весь в долгах и не знаю, как выйти из них, не знаю, не знаю!..

Он склонил голову на угол стола и разразился бурными, судорожными рыданиями. Комиссар поднял глаза и встретил взгляд бригадира. Острая, необъяснимая жалость к блондинчику пронизала его. Он прикурил сигарету, сделал две глубокие затяжки.

В такие моменты Сартори тяготился своим ремеслом. Этому чувству способствовала окружающая обстановка: комната, патетическая фигура бригадира, шумы снаружи. В скупом свете электрической лампочки без плафона кабинет выставлял напоказ свою ущербность от длительного употребления и возраста. Деревянный пол пестрел ожогами от окурков сигарет, которые его предшественники бросали где попало. У стены справа примостилась этажерка из поблекшего дерева в шесть полок, набитая пыльными бумагами. К письменному столу примыкал низкий столик, также выцветший и ветхий, с обожженными краями от сигарет тех, кто сидел здесь. Бумаги, бессистемно собранные в коленкоровые переплеты, хранились в старом шкафу с зелеными стеклами, который удерживался в равновесии благодаря двум томам Уголовного кодекса, с силой втиснутых под одну из четырех ножек. Два шатких креслица и два стула завершали обстановку кабинета, на дверях которого много лет назад была прикреплена табличка из пластика с надписью «Сверхштатный комиссар». На столе располагались канцелярские принадлежности, напоминающие оснащение кадастров времен феодалов: пресс-папье с промокательной бумагой, испачканной чернилами; кусочек резинки, два исписанных шариковых карандаша, пузырек с красными чернилами, пузырек с черниловыводителем (как им пользоваться, Сартори не имел ни малейшего представления), вскрытые конверты (ежедневное вскрытие конвертов, присланных комиссару из других организаций, было обязанностью постового), немного бумаги с заголовками и несколько пришедших в негодность ярлыков. Как компенсация убогости на стене за спиной комиссара висела фотография Президента Республики в позолоченной рамке.

Сартори раздавил сигарету в пепельнице. Дамма успокаивался и, положив очки на стол, вытирал глаза платочком.

— Слезами ничего не добьешься, — проговорил комиссар бесстрастным голосом. — Скажите мне лучше, история с Чарли Фонди — правда или вы должны были дать эти деньги другому человеку?

— Не понимаю, — пролепетал блондинчик, водружая на нос очки.

— Не отдали ли вы эти деньги — слушайте меня внимательно, юноша! — некой Коралло Элизабетте, как выплату за особо деликатную услугу? — Так как Дамма продолжал смотреть отупевшим взглядом, комиссар продолжал: — Синьорина Машинелли не ждала ребенка?

— Катерина?.. Катерина — ребенка?.. — Дамма издал резкий смешок. — Видно, вы не знаете Катерину и современных девушек. Катерина глотала таблетки «анти-бэби» каждый раз, когда мужчина приближался к ней на расстояние не менее двух метров. Катерина беременна! Не смешите… Она скорее отрежет себе руку.

— Итак, вы заявляете, что большую часть полученных от Машинелли денег отдали Чарли Фонди?

— Конечно. Так и есть.

— Думаю, что Фонди не выдал вам расписку.

— Естественно. Если бы дело такого рода стало известно, он потерял бы пост и уважение публики.

— Где вы встречались с Чарли Фонди?

— У него дома.

— Адрес?

— Улица Льеги, 315. Последний этаж.

— Когда вы туда пошли?

— Во вторник, двенадцатого, после полудня.

— Портье дома видел вас?

— Конечно. Никто не входит в этот дом, не пройдя вначале через портье. Он отметил меня, прежде чем разрешил подняться.

Сартори сделал знак бригадиру, тот вышел из комнаты.

Комиссар продолжал:

— Когда Машинелли дала вам чек, у нее был с собой багаж? Не знаю, дорожная сумка, чемоданчик…

Дамма затряс головой.

— Нет, никакого багажа. Только сумочка.

— Она пришла пешком или приехала на такси?

— Пешком, в бар неподалеку от «Экко». Она позвонила мне на работу и сказала, что ждет меня.

— Вы не заметили автомобиля, стоящего около бара? Броский автомобиль, возможно, заграничной марки.

Еще один отрицательный жест.

Сартори прикурил сигарету, пустил вверх клуб дыма, после этого возобновил допрос:

— Скажите, вы не знаете персону, которую я недавно упомянул?

— Какую персону? Я не помню…

— Синьору Коралло Элизабетту, акушерку по профессии.

— Не знаю.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

Дверь приоткрылась. Вошел бригадир Корона, который заверил комиссара подтверждающим знаком, прежде чем пройти и сесть за боковой столик.

Зазвонил телефон. Сартори поднял трубку. На линии была Харриет, чей голос, как обычно, смутил его.

— Фффранческо, — выпалила девушка, задыхаясь. — Знаешь, кто мне звонил только что? Катя…

— Что?! — выкрикнул комиссар.

— Да, Катя, Катя! — продолжала Харриет. — Она очень рассержена на меня. Сказать, я сумасшедшая, потому что пошла в полицию… И ей не нравится, что газеты говорить о ее исчезновении. Она говорить, что оставила записку для меня перед тем, как уехать. Я нашла записку под ночным столиком. Может быть, от ветра упала…

— Что в записке? Прочитай…

— Там написано: «Дорогая Харриет, я уезжаю на несколько дней. Еду к другу. Вскоре позвоню тебе. Если увидишь Тото, скажи, что я благодарна ему за все. Потом я тебе обо всем расскажу. Обнимаю тебя. К.».

— Она сказала, где находится? — осведомился комиссар.

— Нет. Я спросить, но она сказать, что это ее секрет. Потом все объяснить. Затем связь — щелк! Ее отключили… Фффранческо, ты придешь ко мне на ужин? Позже?

— Да, да, позже! — ответил Сартори рассеянно. Положив трубку, он посмотрел сначала на Дамму, потом на бригадира. Те, конечно же, догадались.

Дамма испустил ослиный рев, его лицо засветилось от счастья.

— Что я вам говорил?! Что я вам говорил?! — завопил блондинчик, вскакивая на ноги. — Она жива, моя Тити, она жива!

Комиссар и бригадир воздержались от комментариев. Снаружи небо очищалось, и над карнизом дома появилась звездочка.

— Можете идти, — разрешил комиссар. — Но вы мне еще понадобитесь.

— Спасибо, комиссар! Спасибо за все!..

Дамма вышел из комнаты быстрым и легким шагом.

Важное действующее лицо

Комиссар Сартори провел последующие четыре дня в умственном безделии, будучи не в состоянии даже изучить ситуацию. Таинственный телефонный звонок Катерины Машинелли, ее бодрое послание, обнаруженное под ночным столиком, вынудили полицейского приостановить следствие. Но в голове у него вертелось множество вопросов.

1. Почему Машинелли уехала так внезапно, не взяв с собой даже минимального багажа?

2. Почему она записала телефонный номер акушерки, моральные устои которой вызывали сомнение?

3. Почему Томмазо Гуалтьеро Соларис внес на счет девушки значительную сумму в пять миллионов?

4. Почему Машинелли не призналась шведке, где находится в данный момент?

5. Почему Томмазо Гуалтьеро Соларис прекратил свои регулярные визиты в «Гранкио Адзурро» одновременно с исчезновением девушки?

Почему, почему, почему… И Сартори не в состоянии был выработать ответы, основанные на логике. Но он был убежден (и никто не мог разубедить его в этом), что дело Машинелли вовсе не закрыто. Пунктик, с виду незначительный, но в действительности имеющий большое значение в психологической игре событий, побуждал его вновь приняться за расследование или, по крайней мере, раскрыть подоплеку исчезновения девушки. Записка, оставленная Катериной для подруги, написана черными чернилами, а в квартире девушек была только шариковая ручка с зеленой пастой. Та, которую купила Харриет в субботу девятого октября. Кроме того, бумага и конверт, использованные для послания, были высшего качества, того типа, которое обычно называют «дипломат». А Харриет никогда не видела в руках Катерины бумагу для письма такого формата.

Какой логический вывод следовал из этих рассуждений? Вывод был один: Катерина Машинелли писала записку (Харриет опознала почерк подруги) не утром одиннадцатого октября и даже не в своей квартире по улице Номентана. Стало быть, она (или какое-то другое лицо) оставила его под

ночным столиком своей комнаты в тот же день, когда позвонила подруге и упрекнула ее, что та уведомила полицию о ее исчезновении.

К чему эта комедия?

Еще одно почему.

Тем временем Катерина Машинелли продолжала отсутствовать. И бесполезно страстный Сальваторе Дамма надоедал по телефону: «Она вернулась?.. Не звонила больше?.. Почему она не показывается?»

Было двадцать третье октября. Установилась прекрасная погода. Днем солнце грело, как в июне, и многие люди снова надели летние платья; вечером, хотя было и прохладнее, так и тянуло выйти подышать последней теплынью римской осени. В эти вечера комиссар не прекращал свои визиты в «Гранкио Адзурро», оставаясь потом в компании Харриет, чтобы «парить на крыльях любви» до квартиры на улице Номентана. Он уходил почти всегда к рассвету, довольный одними сторонами своего бытия и разочарованный другими. Уходил, чтобы уединиться в тихой и уютной комнатке пансиона «Флорида» около Монтесакро, найденной для него бригадиром Короной. Положительной стороной его нового места жительства была близость от дома шведки. Почему Сартори допустил в свою «оболочку существования» это милое существо, красивое, романтичное, которое при каждой встрече заставляло его наслаждаться радостью жизни? Он уклонялся от вопросов и не хотел заглядывать в будущее. Он хотел жить настоящим, принимая и скупые, и щедрые дары судьбы.

В этот вечер около полуночи Сартори переступил порог «Гранкио Адзурро», где творился «сущий ад». Вовсю гремел оркестр, усиленный динамиками. Официанты лавировали между столиками с подносами, бутылками и бокалами, уклоняясь от столкновений с парочками, танцующими на площадке.

Джино Саличе в безукоризненном вечернем костюме, веселый и счастливый, безумствовал среди своих клиентов, как глава школы в Античной Греции среди своих учеников. Полицейский перехватил его как раз перед очередным «порханием». Он жестом остановил его стрекотню, взял за руку и подтолкнул в сторону кабинета директора. Там, по крайней мере, он мог поговорить с ним более-менее спокойно, не срывая голоса.

— У меня к вам несколько вопросов, — начал комиссар.

— Я к вашим услугам… Нет ничего нового о бедной Кате?

Сартори сел в удобное кресло и положил ногу на ногу.

— Почему вы говорите «бедная Катя»? — спросил он, глядя на Саличе снизу вверх. Харриет дала обещание не говорить никому о телефонном разговоре с Катериной.

Джино Саличе растерялся. У него был вид, будто он просит помощи у кого-то третьего, невидимого со стороны.

— Ну!.. Я сказал просто так… Все теперь убеждены, что бедная Катя…

Он замолчал, улыбнулся, сжал свои белые, холеные руки, потом, не зная, что делать дальше, упал в кресло напротив комиссара и вытянулся в ожидании.

— Саличе, — проговорил комиссар, — расскажите мне о Томмазо Гуалтьеро Соларисе.

Очевидно, директор ночного клуба не ожидал такого вопроса. И сразу же его глазки заблестели, словно Сартори предложил ему миллион долларов.

— Комиссар, — ответил он с видимым облегчением, — вы просите меня рассказать о моем благодетеле, о лучшем клиенте «Гранкио Адзурро», и я делаю это с большим удовольствием, даже с радостью… Богатый,

благородный, корректный, всегда готовый подать руку страждущему, галантный с женщинами, даже с моими девочками, командор Соларис, про которого говорят «истинный джентльмен». Я знал его раньше, до того, как открыл этот клуб. Он был лучшим клиентом ресторана «Пендоло д'Оро» на улице Сарденья; я был тогда управляющим. Для меня он больше, чем клиент, я считаю его своим другом. Каждый раз, когда командор приходит сюда (а приходит он очень часто, почти каждый вечер), он хлопает меня по спине и говорит: «Ну, парнишка! Как жизнь?..» Вот почему все, кто окружают его, довольны им…

— Он неаполитанец?

— Да какое там!.. Из коренных, чистокровных пьемонтийцев. Его предок служил в армии Карло Альберто. Богатое семейство из поколения в поколение, а сейчас еще богаче, потому что владеет заводом «Космос», который, как вы знаете, стоит в ряду лучших производств такого типа в Европе. Давным-давно командор Филиппо Соларис, который был кассационным судьей или кем-то в этом роде, перебрался в Рим, и семейство заняло виллу в Анцио, где и живет по сей день…

Джино Саличе казался взволнованным тем, что коснулся темы, очень важной для него. Он взял бутылку, два стакана в мобил-баре, налил виски себе и Сартори. Комиссар принял предложение без благодарности.

Между тем директор продолжал:

— Старому судье сейчас восемьдесят два года. Он почти слеп и наполовину парализован, но всем распоряжается в семье. Я в этом доме свой человек. Они делают мне честь своей дружбой… Брат Гуалтьеро, который также живет в Анцио, является важной персоной в духовенстве…

— Священник?

— Да, но высокой иерархии. Я не разбираюсь в их рангах, но знаю, что монсеньор Соларис очень близок даже к Папе… Кстати, именно в доме Соларисов я и познакомился с Катей…

Сартори замер с бокалом у губ.

— Как это было? — заинтересовался он.

— Катя тогда была нянькой у Гуалтьеро. Она ответила на объявление в газете, и ее приняли на работу. О, я сразу же понял, что эта девушка классная! И сказал ей об этом. Так однажды, не помню, после какого времени службы, девушка решила приехать в «Пендоло д'Оро». Она была настоящим откровением. Когда Катя первый раз вошла в зал, мужчины и женщины онемели. Честное слово, эта девушка способна возбудить даже статую простым движением грудей!.. Ее глаза так и просят: «Возьми меня, возьми меня!..» В первый момент монсеньор Соларис готов был линчевать меня. Но он человек широких взглядов и в конце концов согласился с решением Кати…

— Послушайте, между Гуалтьеро и Катей были или есть какие-нибудь отношения?

— Что вы! Никаких! Клянусь вам! — воскликнул Саличе, разводя руками, будто его распинают на кресте. Если бы что-то было, я бы сказал… У Гуалтьеро жена — цветочек из оранжереи, существо не то чтобы редкое, уникальное. И он от нее без ума. Без ума, говорю вам, комиссар. Без ума!.. Для него другие женщины не существуют. Не единожды он говорил мне так в моменты откровения. Он уверен, никакая другая женщина не могла бы дать ему то, что дала ему жена…

Сартори поставил почти пустой бокал на столик и закурил сигарету.

— К чему тогда все эти знаки внимания для Кати? Цветы, фотографии, обещание ввести в кинематограф…

Саличе вынужден был в свою очередь поставить бокал, чтобы соединить руки и принять молитвенную позу.

— Но я же говорил вам, доктор! Потому, что Гуалтьеро хороший и щедрый… Хотите знать, в чем дело? Мне надоело работать на тех, чье единственное достоинство мешок с деньгами. И однажды я сказал об этом командору Гуалтьеро. Рассказал ему о моей идее открыть клуб — только мой, — о доходах, которые можно извлечь, и о дальнейшем пути. Думал ли я, как будет? Он дал мне денег, так, без векселей, без расписок, под честное слово… Двадцать два миллиона круглой суммой, которые я вернул ему, слава богу, до последнего сентезимо. И теперь этот клуб мой. Он не захотел взять даже сольдо, и когда приходит, платит, как все.

От воодушевления и принятого напитка директор вспотел. Он достал платочек с белой каемкой, вытер лоб и губы.

— И все же что-то связывает Гуалтьеро Соларис с Катей, — предположил комиссар. — Вы не знаете, что это может быть, если исключить половое влечение?

— Но я же говорил вам!.. Гуалтьеро считает Катю своей дочерью, тем более что девушка была няней его малюток… И еще Катя подружилась со старшей дочерью Гуалтьеро, Мариной, ей совсем скоро исполнится двадцать лет…

— У него такая большая дочь? — удивился Сартори. — А сколько же ему лет?

— Гуалтьеро? Сорок восемь… Может быть, он выглядит старше, потому что лысоват. Когда он женился в первый раз, ему было двадцать пять лет. Сразу же после рождения ребенка — я имею в виду Марину — жена (она тоже была очень красивая, мне говорили) погибла в авиакатастрофе. Она мастерски водила самолет… К сожалению, пила и изменяла мужу. Но может быть, смерть и спасла семью. Вот почему Гуалтьеро уделял внимание Кате.

— Сколько лет теперешней синьоре Соларис?

— Около тридцати… Год больше, год меньше…

Комиссар опустошил бокал и остановил Саличе, который хотел налить ему еще виски.

— А я выпью еще немного, — решил директор, поскорее наливая себе побольше.

Как раз в этот момент Сартори формулировал новый вопрос, и запястье Саличе дрогнуло, бутылка стукнулась с бокалами. Немного напитка пролилось на скатерть.

— Синьор Саличе, не кажется ли вам странным, что с исчезновением Кати Гуалтьеро Соларис прекратил свои визиты в «Гранкио Адзурро»?

Глаза неаполитанца сузились, но он не осмеливался поднять их на комиссара, а тот, напротив, следил за каждым его движением.

— Мне думается, это простая случайность! — ответил, наконец, Саличе.

Он так и не поднял взгляда, опустил нос в бокал и сделал большой глоток.

— И о некоей Коралло Элизабетте вы, конечно же, не слышали?

Ему не удалось уклониться от того, чтобы не посмотреть на полицейского. Делал он это с сопротивлением слишком очевидным, не обращая внимания на хруст своих шейных позвонков.

— Коралло Элизабетта? — Саличе тяжело дышал. — Это… Это одна из моих девочек? Что вы хотите, столько имен, что…

Сартори прервал его жестом головы.

— Это не одна из ваших девочек. Это — акушерка, которая не брезговала расходовать свое время на практику абортов.

Саличе, вздохнув с тоской, откинулся на спинку кресла.

Комиссар прикурил еще одну сигарету и посмотрел на него сквозь облако дыма.

— А вот вам и новость, — медленно произнес он. — Несколько дней назад Катя звонила Харриет.

Лицо директора вытянулось.

— Звонила?.. Катя?

— Да…

— Значит… значит, все в порядке!

Сартори покачал головой.

— Ничего не в порядке, синьор Саличе. Наоборот, если хотите, ситуация обостряется.

— Не понимаю, — пробормотал директор, уставившись на Сартори.

— В своем бодром телефонном звонке Катя не сказала, где находится, и не объяснила свой внезапный отъезд. Она только дала понять, что жива.

— И больше ничего?

— Больше ничего, — подтвердил полицейский, не отрывая взгляда от лица Саличе.

— Но это была она?

— Да, она. Харриет уверена.

Комиссар встал, а Саличе так и остался сидеть с бокалом в руке.

Пирошка

Бригадир Корона остановил автомобиль у номера восемьдесят восемь по бульвару Париоли. Сартори вышел из автомобиля и подождал, пока бригадир поставит машину на стоянку. Само здание сразу же наводило на мысль о важности проживающих здесь персон: небольшая, но широкая парадная лестница, тяжелая решетка из кованого железа, блестящие, широко распахнутые ворота и, наконец, фасад с длинными наружными балконами, покрытыми цветами, — все эти признаки свидетельствовали о богатстве.

Высокий мускулистый портье уверенно вышел навстречу полицейским, определенно с целью преградить дорогу, но когда узнал, с кем имеет дело, спрятался в свою скорлупу, как улитка.

— Прошу сюда! Вот лифт, синьор комиссар.

Полицейские взлетели наверх к аттику, как два ангелочка, и сразу же окунулись в тишину, будто попали на другую планету. Стены обшиты дубовыми панелями, на полу — густые ковры; пятнами солнечного света казались цветы, в изобилии стоящие в вазе.

Приятная на вид горничная, в белом чепчике и передничке, поручила посетителей заботам слуги-японца в полосатом пиджаке и с безупречным итальянским произношением.

— Синьора сейчас выйдет. Если хотите, пройдите пока в гостиную…

Как уже узнал Сартори, командора Солариса не было, поэтому комиссар настоял на беседе с синьорой.

Пока они ждали, бригадир осматривался вокруг, вытаращив глаза. У него захватывало дух от окружающей роскоши.

— Бог ты мой! — пробормотал он, усаживаясь на краешек кресла. — Вот это жизнь!..

Комиссар горько улыбнулся.

— Видите, вон там картина? — сказал он вполголоса.

— Фигура женщины с высоким воротником?

— Да… Это Модильяни. Знаете, сколько она стоит?

— Не имею представления.

— Наверняка около пятидесяти миллионов.

— Боже! — тяжело вздохнул Корона. — Этого мне бы хватило на всю жизнь… А они держат ее здесь, на стене.

Он замолк и резко повернулся. Одна из дверей распахнулась от руки японца, и появилась высокая гибкая женщина. С легкой улыбкой на устах она направилась к комиссару. Тот медленно поднялся.

«Пирошка», — подумал Сартори, и ему показалось, что такое имя совершенно точно подходит этому милому светловолосому существу, которое протягивало руку.

— Вы действительно комиссар полиции? — спросила синьора Соларис, располагаясь в кресле напротив Сартори. Мини-юбка из голубого материала приподнялась, открывая для обозрения худые, почти подростковые ноги. Ее акцент никак не раскрывал славянское происхождение.

Комиссар улыбнулся, затем представил бригадира, которому женщина слегка кивнула.

— Прошу извинить за беспокойство, синьора, — начал Сартори. — По правде говоря, я бы предпочел поговорить с вашим мужем. Но раз я уже здесь…

— Мой муж на работе. Знаете, он…

— Да, знаю. У меня назначено встретиться с ним днем. Но и вы можете быть полезны, в какой-то мере…

Синьора Соларис не проявила беспокойства.

— Пожалуйста, комиссар.

— Я вижу, вы очень хорошо говорите по-итальянски.

Женщина издала звонкий смешок, потом возразила:

— Но не настолько хорошо, чтобы принять меня за итальянку.

— Ну, если честно, я знал, что командор женат на иностранке! А так действительно бы поверил, что вы итальянка.

Голубизна ее глаз вдруг потеряла свою чистоту. Легкая тень, как опасение, помутила взгляд. Руки соединились, пальцы принялись комкать край платья.

— Вы хотели поговорить со мной, комиссар… — решилась, наконец, женщина.

— Да… Я расследую исчезновение девушки, которая занималась стриптизом в «Гранкио Адзурро», некой Катерины Машинелли. Вам она, очевидно, известна как Катя…

Женщина внимательно слушала его.

— О, Катя!.. — воскликнула она. — Конечно, знаю. И мой муж ее знает… А что, Катя исчезла?

— Газеты много писали об этом, — заметил комиссар.

Синьора Соларис покраснела.

— Я редко читаю газеты, — проговорила она с некоторым усилием и опустила глаза, не заметив взгляда, которым бригадир обменялся с начальником.

— Разве ваш муж не говорил вам? — настаивал Сартори.

— Нет. Я редко вижу мужа, а когда мы вместе, то говорим о вещах более личных… Но не понимаю, чем могу быть полезна вам в этом деле?

— Расскажите о Кате, — мягко подталкивал ее к разговору комиссар. — И как мне кажется, вы знали ее под настоящим именем. Или я ошибаюсь?

Снова ярко вспыхнуло красивое точеное лицо Пирошки.

— О да!.. Я знала Катерину еще до того, как она стала танцовщицей. Она служила нянькой в нашем доме. Милая девушка со всех точек зрения.

Видите ли, комиссар… Катерина и сейчас была бы с нами, если бы не ее тщеславие. Работа няни — это ей как трамплин для прыжка. Я хочу сказать, Катерина приняла наше предложение, чтобы уйти из-под контроля матери. Так она мне не раз говорила в минуты откровения… Мы все хотели ей хорошего, и она начала хотеть хорошего… Правда, отвечала нам признательностью. Мы считали ее членом семьи. Она стала подругой Марины, дочки моего мужа. Марина и Катерина почти одних лет… очень похожи, только Катерина брюнетка, а Марина — блондинка. — Женщина нервно закурила сигарету, дерзко положила ногу на ногу, быстро выдохнула клуб дыма. — То, что Катерина решила заняться стриптизом, было чистой случайностью, и в этом надо упрекать не девушку, а владельца «Гранкио Адзурро»…

— Джино Саличе, — прервал ее Корона.

— Да, его!.. Мы знакомы с ним много лет. Джино — старый и добрый друг моего мужа. Именно он вложил в голову Катерины эту идею… Вот с тех пор у девушки появилось сильное стремление. Я пробовала отговорить ее, но безрезультатно. В доме все переживали из-за этого решения, особенно мои дети. Но Катерина была непреклонна. Позже, когда она уже выступала перед публикой, мы начали посещать «Гранкио Адзурро». Должна признаться, Катерина действительно раскрылась необыкновенно. Своим внешним видом она больше привлекала мужчин, когда была одета, чем раздета. Я женщина и замечаю такие вещи…

Синьора Соларис раздавила окурок сигареты в пепельнице. Ее лицо покрылось капельками пота. Очевидно, сказывалось большое внутреннее напряжение, потому что комната снабжалась кондиционером и одежда ее была легкой, из тонкой ткани.

Комиссар наблюдал за хозяйкой, изучая ее реакции.

Бригадир Корона нервничал.

— Синьорина Машинелли продолжала посещать ваш дом? — спросил комиссар.

— Нет, — голос женщины звучал решительно. — Ни здесь, в Риме, ни наш дом в Анцио, который является жилищем моих свекрови и свекра… Как видите, комиссар, я не знаю, что сказать вам. К тому же исчезновение Кати меня вовсе не удивляет.

— Почему?

Прежде чем ответить, женщина закурила сигарету.

— Видите ли, поступки Катерины всегда были неожиданными и непредвиденными. Представляете, когда она получила от нас письмо с извещением, что ее выбрали «бэби-систер», то уехала из Пескары, даже не попрощавшись с матерью. Та, бедняжка, чуть с ума не сошла от горя. Катерина всегда так поступает: думает только о себе и никогда о других. Иногда мне даже приходилось напоминать ей написать письмо матери. Очень эгоистична, вот!..

Пирошка вдруг успокоилась, словно освободилась от груза или предотвратила угрозу.

Вдруг, кажется, до нее дошло, что она не выполнила обязанности хозяйки, и порывисто осведомилась:

— Будете что-нибудь пить? Признаюсь, ваш визит, тем более то известие, которое вы принесли, расстроили меня… Томмазо получит удар, когда узнает, что его куколка пропала… Томмазо — это мой муж. — Она испуганно поднесла руку к горлу. — Господи, Катя действительно пропала? Что это значит, комиссар?

— В настоящее время не знаю, что ответить вам, синьора. Еще немного терпения. Когда вы последний раз видели Катерину? Где?

— Последний раз? — повторила женщина, уставившись на угол хрустального столика. — Разве вспомнишь? Прошло не очень много времени… Во всяком случае, не больше месяца. В ночном клубе, естественно. Катерина подошла к нашему столику, как всегда, и выпила с нами бокал шампанского…

— И ваш муж преподнес ей цветы? — поинтересовался комиссар легким тоном.

— Цветы? Может быть!.. Томмазо очень галантен с красивыми женщинами.

— Синьора, вы ревновали его к Катерине? — пустил стрелу Сартори.

Мускулы женщины окаменели; ее глаза потеряли красивую глубину — будто в зеркало воды брошен камень.

— Ревновала? — воскликнула она. — Боже мой, вы задаете странные вопросы!.. Жена всегда ревнует своего мужа, которого любит. Однако к Катерине у меня никогда не было этого чувства…

— Какие отношения между вашим мужем и Машинелли?

Большой палец синьоры Соларис буквально раздавил сигарету.

— Комиссар, перестаньте водить меня за нос и скажите откровенно, что у вас на уме?

— Абсолютно ничего, синьора, — мягко произнес Сартори. — Я хочу только понять. Хочу узнать, кем он был для Катерины Машинелли. Вот и все.

— Вы хотите узнать, был или есть мой муж любовником Катерины?

— Да, — улыбнулся комиссар. — Хотя для вас подобная гипотеза просто смешна…

Камень, в который было отлито лицо Пирошки, разбился от улыбки удовлетворенного тщеславия.

— Вы сами ответили себе, комиссар, и должна сказать, в высшей степени галантной фразой. Спасибо.

Сартори поднялся, за ним последовал бригадир и почти сразу же встала синьора Соларис.

— Я вам очень благодарен за терпение, — сказал комиссар, глядя в глаза женщине. — Надеюсь, у меня не возникнет больше необходимости беспокоить вас. Хотя и буду немного сожалеть об этом…

— Еще одна галантность? Спасибо, доктор Сартори. Я буду помнить о вас…

Пирошка проводила их до двери и пожала руки обоим. Когда дверь закрылась, комиссару показалось, что он услышал, как женщина глубоко с облегчением вздохнула.

Вслепую

Бригадир постучал в дверь кабинета доктора Сартори. Получив разрешение, он вошел и протянул начальнику конверт.

— Здесь открытка, которую Машинелли написала матери. Только что пришла из полицейского участка Пескары.

— Ну, наконец-то! — выразил удовлетворение начальник.

Комиссар достал из конверта открытку и осмотрел цветную иллюстрацию с характерным морским пейзажем. На обратной стороне было отпечатано: «Сан-Феличе Чирчео. Отель «Гранада». Вид с веранды». Надпись повторялась на французском, английском и немецком языках. Рука, мало привыкшая писать, оставила адрес: «Синьоре Матильде Машинелли, Виколо Сан-Себастьяно, 11/а, Пескара». Текст звучал так: «Я развлекаюсь

и думаю о тебе. Катерина». Почтовый штемпель, довольно неясный, от тринадцатого октября.

— Я хорошо осмотрел ее, — доложил Корона. — Ничего особенного, мне кажется. А вы что думаете, доктор?

— Ну!.. Дата действительно тринадцатое, правда?

— Почти определенно — да. Я прочитал ее через увеличительное стекло. Кто знает, почему штемпели нашей почты всегда неразборчивы. Когда я получаю письмо от моей сестры, которая живет в Швейцарии, меня всегда удивляют их штемпели. Они кажутся напечатанными.

— Да… Вам известен этот отель «Гранада»?

— Никогда не слышал о нем. А что?

— Обычно клиенты гостиниц покупают открытки у портье… Может быть, Катя сделала то же самое…

Комиссара прервал телефонный звонок. Трубку снял Корона.

— Кабинет доктора Сартори…

В последующие пять секунд он соединил пятки вместе и уставился взглядом в стену.

— Да, синьор комиссар полиции… Сейчас, комиссар. Слушаюсь!

Сартори нахмурил брови, когда Корона положил трубку.

— Это был синьор комиссар полиции. Хочет поговорить с вами, сейчас…

— А вот и козел отпущения… — пробормотал Сартори, вставая.

Когда он выходил из комнаты, бригадир смотрел на него, как смотрят на осужденного, идущего в газовую камеру.

— Входите, Сартори, входите!.. Мне кажется, вы неплохо выглядите. Пожалуйста, садитесь… Выпьете со мной кофе?

Сердечный прием начальника полиции успокоил Сартори. И пока начальник заказывал дневальному кофе, он устроился в небольшом кресле с твердой спинкой, расположенном справа от письменного стола. Комната была обширная, обставлена хорошо, но без излишеств. Единственной роскошной вещью в помещении был элегантный книжный шкаф, полный кодексов и томов в красивых переплетах. В углу рядом со шкафом выделялся большой деревянный глобус.

— Что вы мне можете сказать об этой танцовщице?.. Как ее звать?

— Машинелли. Катерина Машинелли, более известная как Катя.

— Да, именно она… В каком состоянии следствие?

Сартори быстро ввел его в курс дела, рассказал о последних этапах расследования. Начальник не прерывал доклад ни разу, но пока слушал, глаза его превратились в две булавочные головки.

— Ум! — прокомментировал он в конце, несколько раз качнув головой. — Интересная ситуация. Мне кажется, вы на правильном пути… Я согласен с вами; эта девушка ни в чем меня не убеждает…

Они выпили кофе, закурили сигареты. Некоторое время комиссар полиции курил молча, потом резко повернулся к Сартори:

— Знаете, полчаса тому назад мне позвонил один депутат и заявил протест против вас.

— Против меня? — удивился Сартори. — Но почему?

— Очевидно, вы кому-то наступили на мозоль, — ответил начальник легким тоном. — Если верить этому депутату, вы позволили себе клеветнические инсинуации в отношении того, о котором только что рассказывали…

— Командор Соларис.

— Вот именно, командор Соларис, владелец «Космоса» и т. д. и т. д. — Начальник положил локти на стол: — Видите, что мне приходится выслу-

шивать? Если мы выполняем свой долг, они говорят, что мы вмешиваемся не в свое дело, преступаем закон и т. д. и т. д. Медлим мы или двигаемся в каком-то направлении, все равно все против полиции. Знаете такую песню? В которой говорится… — Он принялся петь ужасным, низким голосом: — «Если ты красив, в тебя бросают камни…» и т. д. и т. д. Но мне наплевать, знаете? И вы также наплюйте, друг мой… Мы не политики, мы полицейские. Наша профессия — правосудие… Идите только вперед, и все будет хорошо. Что касается депутатов, их я беру на себя.

Они обменялись крепким рукопожатием. Сартори вышел в коридор, довольный собой, но озабоченный.

Долгая прогулка в автомобиле, сначала по автостраде Христофора Колумба, потом по побережью от ворот Остии[1] до Торваяники[2], прошла хорошо. Бригадир Корона вел машину молча, и в какой-то момент под теплым солнцем поздней осени комиссара сморил сон. Ему снилась Харриет, которую в последние дни видел лишь мельком.

Проснулся он после Анцио.

Бригадир повернулся к нему с улыбкой.

— Как чувствуете себя, доктор?

— Хорошо. Где мы?

— За Анцио. Скоро будем в Сан-Феличе Чирчео… Хороший денек, правда?

Да, день был хороший! А он вместо того чтобы наслаждаться в компании с той, которая ему очень нравилась, вынужден заниматься погоней за сумасшедшей девушкой, может быть, уже убитой.

Сартори продолжал слушать Корону, который говорил о Сицилии и об их местечке. Эти разговоры всегда нагоняли на него скуку, наверное, потому, что вызывали в нем сожаление.

Автомобиль карабкался по дороге, идущей на подъем от широкого морского пролива. Два больших торговых судна маячили на горизонте. Несколько рыбацких домов были разбросаны тут и там вдали от берега.

Отель «Гранада» — белая конструкция в мавританском стиле — с радостью принимал посетителей. Сквозь окна в решетках виднелись большое патио и внутренняя часть со спуском к волнорезу.

Так как автомобиль не имел отличительных знаков и мужчины были в штатском, портье встретил полицейских широкой улыбкой.

— Синьоры желают комнаты? У нас они прекраснейшие, с видом на море, горячая и холодная вода…

— Полиция, — объявил Корона, и портье сразу же замолчал, закостенев. — Комиссар Сартори хотел бы задать несколько вопросов директору.

— А пока я охотно выпил бы кофе, — сказал комиссар. — Где у вас бар?

— По лестнице налево.

Они спустились по лестнице и попали в залитое солнцем помещение бара. Оно напоминало аквариум с полом из голубой майолики и окошечками в виде иллюминаторов.

Полицейские смаковали кофе, когда к ним подошла грациозная подвижная девушка лет двадцати пяти в обтягивающих брюках.

— Комиссар Сартори? Я — синьорина Форезе, владелица отеля… Чем могу быть полезна?

---

[1] Остия — ближайший к Риму морской курорт, в устье р. Тибр. От итальянской столицы туда всего полчаса езды.

[2] Торваяника — курорт на берегу Тирренского моря.

Она посмотрела на полицейского взглядом, в котором смешались интерес и восхищение. У нее был чуть длинноватый носик и широкий чувственный рот.

— Катерина Машинелли, — задал вопрос комиссар. — Это имя вам ничего не говорит? Девушка, брюнетка, немногим больше двадцати, она, вероятно, гостила здесь числа с одиннадцатого и позже…

— Это имя я слышу впервые, — ответила синьорина Форезе.

Бригадир показал ей фотографию Кати. Девушка внимательно посмотрела на нее.

— Так, на первый взгляд, не знаю почему, это лицо мне кажется знакомым… Как, вы сказали, ее зовут?

— Катерина Машинелли.

Синьорина Форезе отрицательно покачала головой.

— Нет, нет, наверное, я ошибаюсь, — заверила она.

— Что вы хотите сказать?

— Что никогда не видела этой девушки.

— Будет лучше, если мы взглянем на книгу записей посетителей, — подсказал Сартори.

— Да, конечно.

Девушка отдала распоряжение по внутреннему телефону. Спустя минуты две горничная в белом жакете принесла ей книгу записей, открытой меньше чем наполовину.

— Какого числа, вы сказали?

— Одиннадцатого. Она должна была прибыть днем, если мои расчеты правильны.

Бригадир исподтишка бросил на начальника восхищенный взгляд. Синьорина Форезе пролистала несколько страниц назад и начала читать список фамилий. Дойдя до тринадцатого числа, она подняла голову.

— Никакой Машинелли. Ни одиннадцатого, ни двенадцатого…

— Позвольте мне посмотреть?

— Пожалуйста.

Комиссар провел по странице указательным пальцем. Вдруг палец остановился; бригадир даже подскочил.

— Смотрите сюда, — показал комиссар.

Корона опустил голову, синьорина Форезе наморщила лоб. В строчке, указанной комиссаром, стояло имя, важность присутствия которого никто из полицейских в данный момент пока еще не уловил: «Марина Соларис, отец — Томмазо Гуалтьеро, рожденная в Риме, проживает там же, профессия — студентка университета».

— Нашли что-нибудь? — поинтересовалась синьорина Форезе.

— Может быть. Расскажите мне об этой клиентке… Марине Соларис. Я вижу, она приехала одиннадцатого числа, как раз в тот самый день.

Девушка кивнула головой.

— Да, около четырех дня, — уточнила она. — Я помню ее хорошо, потому что она прибыла на «Мустанге» цвета зеленого горошка.

— Не понял.

— Цвет зеленого горошка — это цвет, который мне нравится, особенно у автомобилей, — объяснила синьорина Форезе. — Машина была с римским номером, и синьорина Соларис как-то неуверенно управляла ей. Настолько неуверенно, что чуть не наехала на Джачинто, швейцара у входа. Может быть, нервничала. Не знаю…

— Почему вы решили, что она нервничала?

— Ну, это общее впечатление, я бы сказала. Ее поведение, манера ходить, немного неловко… Вначале я думала, что она застенчива или плохо

видит, хоть и носит очки. Но потом увидела ее возможности. Она не вылезала из бара, где слушала музыку и пила виски…

— Девушка носила очки, вы сказали? — спросил комиссар.

— Да. Но часто поднимала их или снимала, держа в руках, когда танцевала.

— Сколько дней она пробыла?

— Надо посмотреть. — Синьорина Форезе снова взяла книгу. — Вот, до шестнадцатого… И уехала шестнадцатого вечером.

— Также в автомобиле?

— Да.

— Чем она занималась эти пять дней?

— Ничем особенным. Как я уже говорила, допоздна торчала в баре. Вечером смотрела телевизор. Только музыкальные спектакли. Мы частенько сидели вместе у телевизора, и с каждым разом синьорина открывалась все больше и больше…

— В каком смысле?

— О господи, я не могу объяснить!.. Сначала сдержанная, застенчивая, как мне казалось; затем стала более экспансивной… У нее был веселый характер, вот! Милая девушка… Но всегда, как сказать, немного боязливая…

Бригадир обменялся взглядом с комиссаром.

— Она встречалась с кем-нибудь в эти пять дней? — снова начал разговор Сартори.

— Нет, ни с кем, — с уверенностью проговорила хозяйка отеля.

Комиссар удивился.

— Синьорина, не хотите ли вы меня уверить, что за пять дней девушка ни разу не вышла из гостиницы и ее никто не посетил?

— Именно так, комиссар: она никуда не выходила, и к ней никто не приходил. Принимала солнечные ванны, внизу, на волнорезе, когда не дул ветер. И носила с собой какие-то книжки весом по килограмму…

— Какие книги?

— Судя по заголовкам, что я видела, — по истории искусства. Я занималась в лицее и немного разбираюсь в этом… Она сказала, что готовится к экзамену. На самом деле только перелистывала. Почти как я, когда ходила в школу…

— Значит, по-вашему, девушка приехала отдохнуть? — сказал комиссар.

Хозяйка отеля недоуменно посмотрела на полицейского.

— Чтобы отдохнуть!? — удивилась она. — Да, возможно! Но поверьте, вид у нее был не усталый. Она была олицетворением здоровья…

Наступило долгое молчание. Через открытую застекленную дверь слышался шум прибоя. Синьорина Форезе предложила напитки и сигареты. Бригадир Корона, выбравший «Чинзано», кажется, искал на дне большого пузатого бокала выход из этой запутанной ситуации.

К их разговору внимательно прислушивался бармен, который стоял за длинной стойкой, покрытой голубыми и желтыми пластинками майолики. Это был смуглый юноша — типичный южанин — с густыми бровями и угреватым лицом. На вид — под тридцать. Когда он, подав напитки и сигареты, в очередной раз возвратился за стойку, комиссар, наконец, заметил его присутствие.

— Вы знали синьорину, о которой мы только что говорили, правда? — неожиданно обратился к нему полицейский.

Юноша вздрогнул. Бригадир и хозяйка повернулись к бармену.

— Да, синьор, — подтвердил бармен после некоторого колебания.

— Что вы можете сказать о ней?

— Ну, это красивая девушка, конечно!.. Когда она не отправлялась в бассейн, то всегда находилась здесь…

— Мне кажется, вы немножко ухаживали за ней, нет? — намекнул Сартори с улыбкой.

Бармен покраснел, взгляд его заблуждал по сверкающей металлической поверхности стойки.

— Саверно, скажи комиссару все что знаешь, — подтолкнула его синьорина Форезе.

— Я… я не позволяю себе ухаживать за клиентками, — отрезал юноша, хотя его тон никого не убеждал. — Конечно, это не составляло бы труда… если бы я хотел. Понятно было, что ей нужна компания…

— Из чего вы это поняли?

— Из ее поведения… Ей нравилось шутить, нравилось пить и слушать музыку. Знала кучу анекдотов и умела рассказывать их. Какой-то был даже грязный.

— Ага! — воскликнул комиссар. — И ваши отношения с синьориной всегда были корректные.

— Я вам сказал, синьор, что никогда не позволил бы… — слабо запротестовал юноша. — Я здесь простой бармен, а синьорина была клиенткой.

— Саверно — парень на месте, — вмешалась хозяйка отеля. — Он работает у нас почти три года, и у меня никогда не было причины жаловаться на него…

Зазвонил телефон. Саверно подошел к нему, снял трубку и через несколько минут повернулся к хозяйке.

— Синьорина Джанна, к вам пришли.

Девушка извинилась и удалилась.

Комиссар встал и подошел к стойке.

— Послушай, Саверно, — тихо проговорил он. — Я тебя ни в чем не обвиняю, но у меня такое впечатление, что ты не совсем откровенен со мной…

— Клянусь, синьор комиссар…

— Подожди. Если тебе удалось войти в интимные отношения с девушкой, это твои дела. Но мне хотелось бы знать. Это важно. Сейчас, пока синьорины Форезе нет, ты можешь говорить свободней…

— Синьор комиссар, я не хотел бы никому причинить вреда. И потом, если хозяйка узнает, что я…

— Я же сказал тебе, что синьорина ничего не узнает.

Бармен покорно вздохнул.

— Ну ладно! — пробормотал он, опуская глаза. — У нас… у нас были близкие отношения.

— Ты можешь сказать ясней? — Полицейский перешел на фамильярный тон. — Хочешь сказать, что девушка спала с тобой?

Бармен утвердительно кивнул головой.

— Да, если быть откровенным, я должен сказать, что она спала со мной… Это случилось на второй день ее приезда… Девушка здорово напилась.

— Ты пошел в ее комнату?

— Да.

— Днем?

— О нет!.. Я пошел к ней в два часа ночи и пробыл там пару часов. Конечно, нелегко забыть такую девушку… — Саверно отважился посмотреть на комиссара, к которому теперь присоединился бригадир Корона. — Но зачем вам нужно знать, что я… Надеюсь, девушка не хочет причинить мне неприятности. Насколько я понял, она очень опытна в любви.

— Ага!.. Ну, пусть тебя это не тревожит. Девушка ничего не сказала мне против тебя. А после того раза вы еще встречались наедине?

— Да, каждую ночь. Когда она решила уехать, то предложила мне сопровождать ее в Рим. Сказала, что найдет мне хорошее место в каком-то ночном клубе. Потом написала мне открытку из Анцио…

Комиссар встрепенулся.

— Открытка у тебя с собой?

— Да, я ее сохранил.

Он открыл ящичек стола, достал оттуда открытку с иллюстрацией и протянул полицейскому. Это был вид колоннады Анцио. Адрес гласил: «Синьору Саверно Котти, отель «Гранада», Сан-Феличе Чирчео». Текст был следующим: «Помню о тебе. Жди письма. М.».

— Господи, — прошептал бригадир.

— Открытку я возьму с собой, — заявил комиссар. — Благодарю тебя, Саверно. Ты мне очень помог. И не волнуйся, твоей хозяйке я ничего не скажу.

Бригадир спросил:

— А письмо, о котором говорится в открытке, пришло?

— Нет, я ничего не получал, — заверил бармен.

— Она оставила тебе адрес? — проявил интерес комиссар.

— Она сказала, что сама напишет.

— У нее был с собой багаж?

— Да, конечно. Три чемодана, мне кажется… Два больших и один средний.

— Новые?

— Нет, не новые…

Комиссар закурил и выпустил вверх клуб дыма.

— Ты не заметил, девушка не носила парик? — продолжил он. — Я хочу сказать, она действительно была блондинкой? Может, красилась под блондинку?

Саверно с изумлением посмотрел на полицейского.

— Вы что, прорицатель? Нет, она не была блондинкой. Девушка была брюнеткой. Ее волосы обесцвечены перекисью. А настоящие волосы у нее черные как ночь. Но женщины, знаете, всегда стараются изменить цвет…

Комиссар молча согласился, думая о чем-то другом.

— Хорошо. Ты тоже со своей стороны помалкивай о нашем разговоре. Если тебя попросят с этой работы, позвони мне в Центральное полицейское управление, в Рим. Я должен знать, где тебя искать, если ты понадобишься. Всего хорошего, Саверно.

— До свидания, синьор комиссар.

Сартори вышел на лестницу и глубоко вдохнул морской воздух. На небе появлялись звезды.

Дело запутывается

Автомобиль возвращался в Рим. Комиссар молча созерцал морской пейзаж, тонувший в сумерках. Прохладный воздух пах сыростью и травами.

Корона нарушил молчание.

— Значит, это была она?

— Это была она, — подтвердил Сартори усталым голосом. — Мы обнаружили следы Катерины Машинелли, окрашенной под блондинку, в очках и с фальшивыми документами. Все ведет к Соларисам. Сомнений нет.

— Только неизвестно, почему она выдавала себя за Марину Соларис.

— Да, неизвестно! — Комиссар посмотрел на часы: — Половина девятого. Остановимся в Анцио. Хочу познакомиться с семьей Соларисов…

Бригадир нажал на акселератор.

Анцио встретил их легким туманом, в котором свет фонарей становился мерцающим. Регулировщик показал им дорогу к вилле Соларисов. Поместье находилось немного в стороне от городка. Туда вела дорога без асфальта, которая кончалась перед ржавой решеткой. Сквозь металлические прутья виднелось несколько довольно старых хозяйственных построек, примыкающих к большому дому, и конюшни, расположенные четырехугольником. В этом большом дворе, освещенном фонарями, работали со скотом крестьяне. Под аркой здания, которое собственно и являлось виллой, стоял мерседес с белым кузовом.

Так как ворота были распахнуты, бригадир завел автомобиль вовнутрь и остановился рядом с мерседесом. Человек в рубашке, жилете и в сапогах быстро направился к прибывшим, ведя на поводке овчарку, скалившую зубы.

— Спокойно, Рекс! — предупредил собаку человек. Потом он повернулся к полицейским, выходившим из машины. — Добрый вечер, синьоры… Меня зовут Радико, я — управляющий поместьем. У синьоров встреча с кем-нибудь из хозяев?

Его тон был несколько высокомерным. Это был высокий, мускулистый человек лет пятидесяти с густыми, закрученными вверх усами, которые, по всей видимости, являлись его гордостью, так как он не переставал с любовью поглаживать их.

— У нас нет встречи ни с кем в особенности, — ответил Сартори, — но я думаю, нас все равно ждут. Доложите командору Соларису: комиссар Сартори и бригадир Корона.

Ни один мускул не дрогнул на сухом лице управляющего.

— Командор еще не вернулся.

— А чей это автомобиль?

— Монсеньора Солариса…

Корона знаком указал комиссару на номер машины: «Государство-город Ватикан».

— Тогда доложите монсеньору, — настаивал комиссар. — Тем временем мы подождем командора. Думаю, он не слишком задержится, правда?

— Нельзя сказать. У командора нет постоянного расписания. Иногда он приезжает сюда, а иногда едет спать в Рим.

— Хорошо, я поговорю с монсеньором и судьей Соларисами.

Управляющий отрицательно покачал головой.

— С монсеньором — возможно, — объяснил он, — а с судьей — нет.

— Почему? — спросил Сартори, начиная терять терпение.

— Судья почти слепой и глухой, кроме того, парализован. Знаете, годы. Как-никак, он разменял девятый десяток.

— Согласен, поговорю с монсеньором. А пока постарайтесь разыскать командора Солариса и попросите его приехать как можно быстрее.

— Я провожу вас, — предложил Радико.

Они прошли через створки огромных дверей, пришедших в упадок, и начали подниматься по лестнице из белого камня с изношенными от времени ступеньками. Маленькая лампочка без абажура разрывала тьму. На стенах были заметны контуры выцветшей от времени буколики.

После двух пролетов лестницы трое мужчин очутились в обширной полутемной прихожей, обставленной старинной пыльной мебелью.

— Прошу вас, синьоры, следуйте за мной…

Управляющий пошел дальше. Они пересекли большую тихую комнату со стенами, покрытыми гобеленом и большими мрачными картинами. Экскурсия завершилась в гостиной с позолоченной мебелью, со средневековыми доспехами по углам и с громадными китайскими вазами, полными цветов. Атмосфера в этом старинном доме была удручающей.

— Пожалуйста, проходите. Я доложу о вашем визите монсеньору…

Управляющий двинулся, но комиссар знаком остановил его.

— Да, послушайте! Я бы хотел поговорить с синьориной Соларис…

Радико развернулся вокруг невидимой оси и посмотрел на полицейского без всякого выражения на лице.

— С синьориной Мариной? — отчетливо произнес он, почти не двигая губами. — Ее нет…

— А где же она?

— В Риме, уже несколько дней.

— Но она живет здесь?

— Да, а сейчас занимается в университете, и я не знаю… Пойду навещу монсеньора. Извините, я на минутку.

Радико вышел, щелкнув каблуками. Корона принялся рассматривать живописного воина на старом, большей частью испорченном от времени холсте в позолоченной раме.

Монсеньор

Он был высокий и худой, даже тощий, неопределенных лет (ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти), однако в нем чувствовалась физическая сила, и в выверенных жестах, и в открытом прямом взгляде. Сложенные вместе руки напоминали руки фехтовальщика; возможно, они переданы ему по наследству от какого-нибудь кавалера из прошлых поколений. На нем были бумазейные брюки и черный свитер.

Когда монсеньор переступил порог, то направился прямо к комиссару, словно решил напасть на него. Но ограничился лишь тем, что остановился перед ним и произнес холодным как сталь голосом:

— Добрый вечер. Вы спрашивали меня?

Он даже на мгновение не сомневался, что обращается к комиссару, а не к кому-нибудь другому, хотя бригадир и одет более прилично, и внешне ничем не отличался. Управляющий остался на пороге.

— Я бы хотел поговорить с вами, монсеньор, — проговорил Сартори. — Конфиденциально, если вы не возражаете…

Не поворачиваясь, монсеньор сделал знак, и Радико вышел, бесшумно закрыв за собой массивную потрескавшуюся дверь.

— Прошу, присаживайтесь.

Все трое уселись в удобные кресла с черно-белой полосатой обивкой. Священник положил ногу на ногу и закурил длинную тонкую сигарету. В его одежде и поведении не было ничего от священника. Он напоминал мелкого помещика из деревни, привыкшего приказывать и видеть повиновение.

— Говорите, комиссар…

Так как фраза осталась незаконченной, полицейский поспешил добавить:

— ...Сартори.

— Ах, да! — воскликнул монсеньор Соларис. — Ваше имя для меня не ново… Вы были у моей невестки, в Риме.

Его тон был твердым, обвиняющим, бледные и холодные глаза угрожающе сузились.

— Действительно.

— Я должен сказать вам, доктор Сартори, что не одобряю вашего поведения, — продолжал монсеньор Соларис. — Расспрашивая жену моего брата, вы позволили инсинуации о морали ее мужа…

— Минуточку, монсеньор, — оборвал его Сартори, сжав зубы. — Хотя вы служите в Ватикане, это не означает, что можете давать рекомендации по моей работе. Повышайте голос в стенах вашей маленькой империи. Но за ее пределами вы должны подчиняться законам Итальянской Республики, как и другие граждане. То же самое можно сказать и о членах вашей семьи.

— Полно, полно! — попытался успокоить его священник, который понял, что зашел слишком далеко. — Я не хотел…

— Нет уж, монсеньор Соларис. Вы хотели и вы сказали… Не только сказали, но и заставили вмешаться одного из ваших депутатов, чтобы помешать расследованию уголовного дела, которое в дальнейшем может вылиться в серию преступлений. Вы, конечно, одобрить такое не можете… По крайней мере, я надеюсь!..

— Комиссар, вы меня оскорбляете! — выкрикнул монсеньор Соларис.

— Тогда старайтесь не оскорблять работников полиции. Я нахожусь здесь в силу моих служебных обязанностей и пытаюсь пролить свет на исчезновение одной танцовщицы из ночного клуба, одно время находившейся в вашем подчинении…

— Не в моем подчинении, — уточнил монсеньор Соларис, — а моего брата Томмазо.

— Согласен, в подчинении вашего брата Томмазо. Это педантство. Она служила вашей семье, и поэтому вы обязаны дать полиции показания, которые могут способствовать решению этого дела. Вам следовало бы оценить тот факт, что я сам пришел сюда, а не пригласил вас в свой кабинет. Но если вы предпочитаете…

— Ладно, комиссар, успокойтесь! — прервал его монсеньор примирительным тоном. — Извините меня. Просто я нервный человек… Все мы нервные в этой семье. Эта девушка сведет нас с ума…

— Катерина?

— Да нет же! Я говорю о моей племяннице Марине. Катерина меня совершенно не интересует!.. Ну, конечно, мне было бы неприятно, если бы произошла беда… Марина — причина нашего горя. Не то, что она плохая, боже упаси, но от нее всего можно ожидать. Ах, современная молодежь! Нет больше религии, поверьте мне… Не желаете аперитив, доктор? И вы, синьор…

— Нет, — ответил Сартори за себя и за Корону. — Расскажите лучше о вашей племяннице.

Монсеньор Соларис вдруг встал, прошелся по комнате, извлек из шлема рыцаря пепельницу и потушил в ней сигарету. Бригадир Корона ликовал в душе по поводу успеха, достигнутого начальником в стычке со священником.

— Марина — девушка современная, — возобновил разговор монсеньор, усаживаясь поудобнее, — и ей свойственны ошибки всех современных девушек, которые думают, что могут господствовать над миром… Родители говорят «белое», а они говорят «черное». Родители стараются преподнести им вечные истины, но это как о стенку горох…

— Не хотите быть более точным, монсеньор?

Прелат закурил еще одну сигарету, прежде чем ответить.

— Не вижу, какое отношение может иметь моя племянница к исчезновению Катерины. Да, девушки хорошие подруги, они очень симпатизировали друг другу, когда Катерина служила у нас, но я не думаю, что…

— Позвольте решать мне, монсеньор, — возразил комиссар. — В процессе расследования я могу допустить, что пути, а может быть, и интересы вашей племянницы часто пересекались с путями и интересами пропавшей девушки.

— Ну уж! — не выдержал монсеньор Соларис. — Вы меня поражаете, доктор.

— Напротив, это действительно так. Вот почему мне захотелось встретиться с вашим братом и племянницей Мариной. Поэтому я и приехал к вашей невестке, которая, между прочим, была очень любезна со мной и проявила чуткость.

— О, в этом Пирошка — святая женщина! — возвысил голос священник, как будто произносил надгробную речь. — Конечно, Марина и Катерина имели свои маленькие тайны. Катерина — девушка опасная…

— В каком смысле?

— Опасная для девушки из хорошей семьи, — с каким-то неудобством подчеркнул священник. — Секс. Все плохое в обществе происходит из культа секса. Никакой морали, никакой стыдливости… Моя племянница, вероятно, соблазненная такими перспективами, тоже следует влияниям времени. Знаете, она ведь хотела стать танцовщицей, как Катерина. Поэтому однажды я вынужден был даже надавать ей пощечин… Уму непостижимо! Я вижу ее редко, потому что постоянно в поездках, но каждый раз, когда мы встречаемся, ссоры не избежать. У нее нет ни крошки уважения к моей сутане… — Монсеньор Соларис вытер пот льняным платочком. — В следующий раз Марина вбила себе в голову, что может стать бортпроводницей, и послала запрос с этой целью в «Алиталию». К счастью я вовремя узнал и смог действовать, оставаясь в тени. Теперь она хочет стать киноактрисой. Вообразила себя Брижит Бардо или что-то в этом роде.

— Разве Марина не учится в университете?

— Она поступала в университет, но еще не выдержала экзамены. У нее нет желания учиться. Однажды, знаете, что сотворила моя племянница? Так как у нее красивое тело, она заплатила фотографу, чтобы тот сфотографировал ее обнаженной; снимки решила послать в мужской журнал для публикации. Позор, настоящий позор! В этом случае я также вовремя вмешался и предотвратил угрозу. Подумать только, что после смерти дедушки Марина унаследует состояние, которое приблизительно составляет миллиард. Я говорю ми-лли-ард… И это не считая наследства, уже завещанного ей бабушкой. Правда, оно перейдет к ней только после замужества…

Монсеньор потушил остаток второй сигареты.

— Вы сказали, что не часто видите свою племянницу, — продолжил комиссар. — Как давно вы ее не видели?

— Не могу сказать точно. В начале октября я был в Индии с одним прелатом из Ватикана и вернулся числа восемнадцатого или девятнадцатого. Знаете, с тех пор я еще не видел Марину.

— Значит, если я вас правильно понял, вы не видели ее с конца сентября.

Священник утвердительно кивнул головой.

— Точно, с конца сентября. Вообще, около месяца… Не могу понять только, почему мой отец, который с ума сходит от своей внучки, не спрашивает о ней. На прошлой неделе, когда я заезжал домой ненадолго, она была здесь. В ее комнате слышалась музыка, включенная на полную мощность. Я постучался и попросил уменьшить громкость. Знаете, что она ответила? Чтобы я шел к черту!

— Ваш управляющий сказал, что синьорина Марина находилась несколько дней в Риме, сдавала экзамены в университет…

— Марина? Если это правда, я съем собственную шляпу. Если Марина была в Риме, значит, она раздваивалась. Причем та половина была с каким-нибудь негодяем. Сейчас она связалась с «длинноволосыми» и пропадает на площади Испании, одетая как оборванка. Там ее можно найти на лестнице. Пару месяцев назад я застал ее врасплох здесь, у ограды, в объятиях какого-то бородатого типа, похожего на разбойника. И знаете, эта распущенная девчонка заступилась за своего кавалера! А что делать, она — дочь моего брата, и я должен делать все возможное, чтобы помочь вывести ее на путь послушания.

С минуту комиссар был занят тем, что закуривал сигарету, потом спросил:

— Когда ваша племянница бывает в Риме, она ночует у своего отца?

— Хотите пошутить? — грустным тоном произнес монсеньор Соларис. — После смерти матери Марина всегда тяготилась опекой отца. Ее отношения с родителями очень натянутые… Где-то у нее есть убежище. Впрочем, эти грязные битники спят где попало.

— Монсеньор, вы полагаете, что Катерина Машинелли способствовала тому толчку, который привел Марину к теперешнему образу жизни?

— Честно говоря, не знаю, как и насколько она могла повлиять на мою племянницу. Считаю, что дружба с Катериной действовала как катализатор брожения в уме Марины. Несомненно одно, Марина начала выдавать номера уже после того, как Катерина появилась в нашем доме. Ну, что вам еще сказать? Впрочем, сейчас бесполезно искать виновных. Надо спасать…

В соседней комнате послышались шаги. Дверь открылась, и появился управляющий.

— В чем дело, Марко? — резко бросил священник.

— Мне не удалось найти командора. Он уже убыл из офиса.

— Хорошо, спасибо. — Священник обратился к полицейскому: — Комиссар, почему бы вам не остаться здесь на ужин? Мой брат не должен опоздать. Он будет польщен, мне кажется.

— Согласен, монсеньор. Спасибо также от имени бригадира Короны.

Монсеньор Соларис дал указания Радико, и тот быстро вышел из комнаты.

— Я познакомлю вас с моим отцом, — возобновил разговор священник. — Сейчас он просто старик, но в свое время был известным судьей и выдающимся человеком.

— Синьорина Марина не будет ужинать с нами? — поинтересовался Сартори.

— Нечего и надеяться. — Священник встал, прошелся по комнате, взял из стеклянного шкафа бутылку и три бокала. — Выпьем по бокалу в качестве аперитива. Это наше вино, потому чистое на сто процентов.

Они выпили понемногу шипучего вина с приятным вкусом. Далеко в ночи лаяли собаки. Слышалось мычание со двора, скрипела телега. Вдали что-то кричал управляющий. Где-то накрывали на стол; об этом известил на мгновение звон столовой посуды.

Монсеньор Соларис снова наполнил бокалы. Послышался грохот въехавшего во двор автомобиля. Чуть позже, вместе с первыми каплями дождя, застучавшими по стеклам, в коридоре раздались тяжелые мужские шаги. На пороге появился немного запыхавшийся Томмазо Гуалтьеро Соларис. Он был одет с изысканной элегантностью, но выглядел уставшим и удрученным. Редкие светлые волосы были в беспорядке и придавали ему молодежный вид. Он был похож на того Солариса, которого комиссар видел на фотографиях в альбоме Кати. У него не было внешней схожести

с братом-священником, но оба имели нечто общее, что на мгновение приоткрывало породу, какую-то внутреннюю силу и твердость — богатство, идущее из глубины веков.

— Добрый вечер, синьоры. Я не опоздал к ужину?

Круг

Пожилая женщина в черном переднике накрыла на стол в огромном обеденном зале, свод которого терялся в темноте. Со стен зала, из полумрака, смотрели на гостей рыцари и кавалеры в париках. Во главе длинного стола, покрытого белой скатертью, сервированного хрустальными фужерами и тарелками, окаймленными золотом, сидел старый судья; его управляющий перенес из инвалидной коляски в высокое кресло с мягкими подлокотниками. Очевидно, в молодости глава семьи был мужчиной гигантского роста, если сейчас, почти в девяносто лет, больной и наполовину парализованный, он господствовал над присутствующими своей внушительной фигурой. Его почти потухшие глаза, казалось, силились еще разглядеть, отыскать правду в маразме нынешней жизни. У него не хватало сил есть самому, поэтому Марко Радико кормил его с ложечки, вытирал ему губы, наполнял фужер, каждый раз после очередного такого действия отступая назад за спину старика.

На другом конце стола сидел монсеньор Соларис, по случаю надевший черную рясу. Справа от него находился Сартори и далее — бригадир Корона; напротив них расположился командор Соларис, изо всех сил старавшийся оживить вялый разговор.

Если бы комиссару не сказали, что старый судья полуглухой и почти слепой, он бы никогда не подумал об этом; старик, как любопытный петушок, прислушивался к тому, что говорилось вокруг.

— Кто эти синьоры? — спросил вдруг старый Соларис, перебивая сына Томмазо, который говорил о сложностях работы предприятия.

— Это мои друзья из Рима, папа, — поспешил ответить командор, опережая ответ управляющего. — Доктор Сартори и его сотрудник…

Голос Томмазо Солариса, который он повысил, чтобы услышал судья, прогремел в стенах столовой и заставил вздрогнуть служанку, вошедшую с огромной тарелкой баранины под соусом.

— Сартори? — переспросил судья.

— Да, папа.

— Это врач? Почему он пришел в наш дом? Кто болен? — настаивал встревоженный судья.

— Нет, папа, он не врач, и никто не болеет, — успокоил его Соларис. — Думай только о еде…

— Где Марина? Может, она больна? Почему мне не показывают Марину? Что вы с ней сделали? Уже два дня я ее не вижу… Если вы не приведете мне Марину, видит бог, я лишу вас наследства!

— Марина в Риме у Пирошки, — сказал командор Соларис, — и с ней все в порядке…

— Вы думаете, я впал в детство… Увидите, каким большим будет ваше удивление, когда я уйду из этого грязного мира…

Наклонившись к комиссару, священник сказал вполголоса:

— Марина — его навязчивая идея. Он обожает внучку, которая напоминает ему жену, то есть, нашу мать. Ее тоже звали Марина.

Управляющий положил руку на плечо судьи, тот вдруг затих и с трудом принялся за еду. Служанка обошла всех с принесенным блюдом, раздала нарезанный хлеб и большие бокалы вина, затем вышла, волоча ноги.

Дождь усилился, и теперь в нем чудился шум моря. Где-то в доме хлопали ставни. Слышались шаги и голоса женщин, потом хохот, гаснущий за длинной чередой открываемых и закрываемых дверей.

— Пирошка, — снова принялся ворчать судья, будто разговаривая с самим собой. — Что за имя? Мне по сердцу Марина… Марина читает мне письма и книги, которые я люблю…

— Ему нравится слушать голос моей дочери, — пояснил Томмазо Соларис, обращаясь к комиссару, — даже если не понимает, что она ему читает…

— Я понимаю, я понимаю! — сурово прервал его судья. — Это ты никогда ничего не понимаешь… Ты родился кретином и останешься кретином! И теперь тебе здорово пощипали перышки с твоим предприятием. Кто вбил тебе в голову стать промышленником? Ты хорош только когда живешь от ренты и когда тебя водят в постель проститутки …

— Папа, у нас гости! — сухо предупредил его прелат.

— А ты молчи, фальшивый иезуит! Все вы только думаете, как бы присвоить мои денежки… Ну ничего, завещание поставит вас на место!..

— Довольно, папа! — взорвался Томмазо.

— Да, довольно, довольно. Так будет лучше. Марко, отвези меня в мою комнату.

— Синьор судья, вы окончили? — спросил управляющий.

— Кончил, кончил!.. Синьоры, мое почтение и мои извинения.

Марко Радико поднял хозяина на руки, опустил на сидение коляски и выкатил коляску из комнаты. Комиссар проводил фигуру старого Солариса взглядом, полным симпатии.

— Наверное, он был очень строгий в свое время, — заметил Сартори, принимаясь за еду.

— Строгий? Скажите лучше ужасный, — возразил командор. — Когда он своим голосищем подзывал к себе сыновей и племянников, мы моментально превращались в ребятишек. Сейчас он уже тронулся умом. В его годы это понятно…

Ужин подходил к концу.

— Пройдемте в гостиную, — предложил Томмазо Соларис.

Марко Радико принес напитки и кофе, после чего ретировался на цыпочках, закрыв за собой дверь. В камине потрескивали дрова, взрываясь искорками, и это скрашивало тяжелую атмосферу комнаты.

Монсеньор Соларис встал после того, как выпил кофе. Он пожал руку обоим полицейским и извинился, что не может остаться дольше, так как завтра должен уехать очень рано.

— Еще виски? — поинтересовался Томмазо Соларис, когда брат вышел.

— Нет, спасибо, — отказался комиссар. — Уже поздно.

— Уже… Почти одиннадцать… — пробормотал командор, бросив взгляд на большие настенные часы, придвинутые к камину. Опустошив свой бокал, он продолжил: — Ну вот, мы одни. Знаю, что вы искали меня несколько дней, сначала в «Гранкио Адзурро», потом в моем доме в Риме. Я к вашим услугам, комиссар.

— Расскажите мне о Катерине Машинелли. О Кате, если вы предпочитаете. Это не суть важно…

Командор Соларис согласился. Сейчас он казался более старым и уставшим, чем вначале.

— Я не много могу сказать вам, комиссар. Моя дочь Марина и Катерина или одна из них, должно быть, что-то натворили, но что, точно не знаю.

— Вы отдаете себе отчет в важности вашего заявления?

— Это правда.

— Почему вы несколько дней тому назад перевели пять миллионов на счет Катерины Машинелли? — вдруг спросил комиссар.

— Я? — удивился Томмазо Соларис. — Я дал Кате пять миллионов?

— В филиал Неаполитанского банка в Риме поступил чек с датой пятнадцатого октября для выдачи всей суммы на имя Катерины Машинелли.

— Комиссар, клянусь вам, что ничего не знаю! — Командор резко оборвал себя, как от внезапной мысли. — Разве только…

— Что разве только?

— Разве только моя дочь, комиссар… Ведь так легко вырвать бланк из блокнота и подделать подпись, особенно если это подпись отца…

— Вы обвиняете свою дочь в подделке чека и незаконном присвоении денег, командор.

Томмазо Соларис откинулся в кресле, как от удара кнута.

— Боже мой, действительно! — воскликнул он со стоном. — Однако это может быть правдой, несмотря на то, что речь идет о моей дочери. Конечно, на суде я не подтвержу такое, чтобы не навредить… С чего это мне давать пять миллионов Кате? И если бы я дал их или хотел дать, то никогда бы не подписал чек, никогда бы не дал наличными. У меня не было для этого мотива, уверяю вас.

Потянулась длинная пауза. Над виллой прокатился гром. Бригадир Корона сидел неподвижно, как статуя, держа в руках бокал.

— Знаете, где была ваша дочь днем одиннадцатого октября? — спокойно продолжал вопросы Сартори.

— Днем одиннадцатого? Как вам сказать? Марина уходит и приходит, пропадает и появляется… Днем одиннадцатого? Нет, ее не было, ни здесь в Анцио, ни в Риме. Это я могу вам гарантировать…

— А Катерина? Вы не знаете, Катерина Машинелли была с вашей дочерью?

Командор вскочил на ноги и закричал:

— Откуда мне знать!? Я ей не нянька. Мне надоела моя дочь, а тут еще одна, такая же взбалмошная. Судя по тому, что я о них знаю, обе они вполне могут быть сейчас в Перу. Что может сделать отец, если дочь выскользнула из-под контроля?

— Ваша дочь богата?

— Богата, конечно. Но на бумаге.

— Объясните подробнее, пожалуйста.

— Марина богата, но не может располагать наследством моей матери до тех пор, пока не вступит в брак с дворянином. Да, я знаю, это может показаться парадоксальным, но таково было последнее желание моей матери. Если Марина не вступит в брак с дворянином, ни она, ни я, ни мой брат не получат наследство; оно уйдет в детский дом. Уму непостижимо, правда? Но это так… А дело идет почти о восьмистах миллионах в недвижимом имуществе, землях и остальном… Больше того, прибавьте сюда то, что мой отец оставит ей еще около миллиарда. В то время как моим детям останутся крохи. И несмотря на это, моя дочь обращается ко мне за десятью тысячами лир… Нет ничего удивительного, если она подделала мой чек к выгоде своей закадычной подруги…

— Намекаете на Катерину?

— Вот именно.

Томмазо Соларис, не вставая, налил себе виски и выпил его двумя длинными глотками.

Комиссар был в нерешительности.

Корона казался обескураженным.

— Вы знаете, что с одиннадцатого по шестнадцатое число этого месяца Катерина Машинелли находилась в отеле «Гранада» в Сан-Феличе Чирчео, выдавая себя за вашу дочь?

Командор Соларис смущенно посмотрел на полицейского.

— Что вы сказали, комиссар?

— Именно так!.. Так к чему же эта комедия?

— Не знаю, что и предположить, клянусь вам!

— Какие отношения были между вами и Катериной? — начал сызнова Сартори.

— Ничего интимного, комиссар, если это то, о чем вы думаете, — ответил Томмазо Соларис решительным тоном. — Я не буду размениваться с девчонкой, которая, между прочим, была нянькой моих детей. Я хотел ей только хорошего, как своей дочери, поверьте… Во всяком случае, никаких прецедентов не было, я хочу сказать…

Он оставил предложение незаконченным.

Комиссар встал, за ним последовал бригадир Корона.

— Я приму к сведению все, что вы сказали, командор, — произнес он официальным тоном. — Благодарю вас за гостеприимство и ваше терпение. Думаю, что вынужден буду побеспокоить вас еще раз в ближайшее время…

— Я в вашем распоряжении, комиссар.

Он проводил их до дверей, где в молчаливом ожидании стояли управляющий и овчарка.

— Спокойной ночи, командор.

— Спокойной ночи, доктор Сартори, бригадир…

Томмазо Соларис остался смотреть вслед автомобилю, который под сильным дождем направлялся к решетке. За его спиной как статуи высились тени управляющего и овчарки.

Комиссар обдумывает ситуацию

Не зная почему, Сартори сердился на самого себя. Причина недовольства, которая оправдывала бы это состояние души, была неизвестна.

В чем он ошибался?

Он действовал, следуя логике или интуиции? Знал, что находится на правильном пути, но никак не мог разобраться в этой путанице гипотез, предположений, противоречий. Ко всему этому добавлялись уклончивые или просто лживые объяснения людей, прямо или косвенно вовлеченных в дело Машинелли.

Одно было определенно: между Мариной Соларис и Катериной Машинелли должен быть сговор с самого начала этого необычного дела.

Утром одиннадцатого октября Катерина пропадает, бросив работу и дом. Пропадает неожиданно (по крайней мере, с виду), не предупредив свою подругу Харриет, не взяв с собой даже зубную щетку. Однако после визита в отель «Гранада» это обстоятельство объяснилось: Катерина располагала полным гардеробом Марины Соларис, с помощью которого выдавала себя за свою подругу.

Зачем эта подмена личности?

У Катерины был также паспорт Марины, из чего следовал вывод, что молодая наследница была на это согласна. Но в этом пункте возникало другое соображение: был ли Томмазо Соларис в курсе необъяснимой комедии, сыгранной со всей предусмотрительностью?

В ответе на этот вопрос, может быть, и содержалось решение всего дела. Но допустив правдивость рассказа командора, комиссар приходил к

заключению: Катерина согласилась выдавать себя за подругу, чтобы сделать нечто полезное для Марины. Иными словами Катерина Машинелли должна была заставить поверить кого-то, что с полудня одиннадцатого до шестнадцатого числа того же месяца Марина Соларис находилась в отеле «Гранада» в Сан-Феличе Чирчео.

Где находилась в этот период Марина?

И где она находится в настоящее время?

Если принять противоположную гипотезу, что Томмазо Соларис был в курсе подмены девушки, то почему согласился с этим камуфляжем?

И опять возникал тот же вопрос: где была Марина Соларис между одиннадцатым и шестнадцатым октября? И где находится сегодня, двадцать шестого октября, на четырнадцатый день исчезновения ее подруги Катерины?

Были ли вместе обе подруги?

Что они сейчас затевают?

Мягкий голос Харриет, вытянувшейся рядом с ним под одеялом, прервал ход его беспокойных мыслей.

— Фффранческо!..

Ее рука легла ему на грудь. В полумраке комнаты, только что рассеянном солнцем, которое касалось подоконника, глаза девушки горели желанием.

— Дорогая, уже поздно!.. Почти одиннадцать.

— Фффранческо! — шепнула она, наклоняясь к его губам.

Со сладким возбуждением он прижал ее к себе, и на многие минуты дело Машинелли перестало существовать для него.

Окончание следует.

Перевод с итальянского Валерия ЧУДОВА.



Татьяна ШАМЯКИНА

Как жила элита при социализме[*]

Более чем субъективные мемуары

Часть 2

Литературные нравы

В газете СБ («Беларусь сегодня») от 28 апреля 2018 г. на целую полосу помещен материал под общей шапкой «Самые загадочные авторы», где среди прочих имеется заметка и о предполагаемых авторах белорусского «Сказа про Лысую гору». Вот эта заметка: «Говорят, в 1970-х таксисты на минском вокзале торговали из-под полы не только водкой, но и самиздатовскими рукописями этой поэмы. Очень остро и безумно смешно в ней описывались быт и нравы белорусской писательской тусовки. Вот собрание членов союза писателей, где делят дачные участки. Сколько интриг, страстей! Выезд на место, а это Лысая гора под Минском. Постройка дач. Какой-то редактор «припахивает» молодых авторов, чьи имена будет открывать в своем журнале целый год. Другой, преподаватель, эксплуатирует студентов. Невероятный поиск удобрений, склоки с соседями… Неизвестного автора предали анафеме и не одно десятилетие разгадывали его личность. Увы, разгадка уже в перестроечное время не принесла спокойствия в тусовку. Ибо авторов оказалось двое: поэты Микола Аврамчик и Нил Гилевич. Причем последний стал утверждать, что текст в основном принадлежит ему. Аврамчик настаивал на своем вкладе… Оба автора ушли в мир иной вместе с реалиями совписа».

Заметка написана в той же ернической, разухабистой манере, что и сама «поэма». Но вряд ли стоило в наше время рекламировать эту достаточно низкопробную поделку, кстати, совсем не смешную.

Действительно, в 1990-е гг. упомянутые в газетной заметке авторы спорили о своем приоритете. Однако эти годы недаром названы «лихими». В то время, вместе с так называемыми «рыночными отношениями», выплеснулось наружу самое подлое, мерзкое, греховное, что есть в людях, уничтожались прежние кумиры, ценности, эстетические и нравственные нормы, вообще все, что создано в СССР, в том числе и хорошее.

Быть сатириком, ниспровергателем презираемого в то время «сталинского колхоза» — Союза писателей — считалось почетным. Вот поэты и схлестнулись. Однако в дальнейшем, помудрев в силу возраста, да и изменения общественной атмосферы, Гилевич и Аврамчик о своем авторстве вдруг замолчали. Разумно. Стыдно стало за недомыслие молодости. Сейчас, когда практически все герои поэмы ушли в мир иной, вспоминать сей злобный пасквиль просто неприлично, тем более ставить в один ряд с «Повестью временных лет», «Речью Мелешки», «Энеидой наизнанку».

---

[*] Первая часть опубликована в № 9 за 2013 г.

Известнейший критик Дмитрий Бугаев, один из несправедливо высмеянных в поэме лысогорцев, в предисловии к изданию поэмы в перестроечном 1988 году, подчеркивал, что произведение это — не документальное, а художественное, да еще сатирическое, потому здесь многое преувеличено, подано в карикатурно-юмористическом, гротескно-сатирическом освещении. Дескать, настоящая сатира не обходится без преувеличения и заострения. То есть, видный критик благодушно стремился авторов обелить. При всем уважении к моему учителю Дмитрию Яковлевичу поспорю с ним. Преувеличение в данном случае — ложь. Например, скажу о Шамякине — тогда секретаре Союза писателей. Как он попал в поэму, с какой стороны, вообще совершенно непонятно. Дачный кооператив относился к Литфонду, а не к Союзу писателей, и распределяли участки деятели Литфонда. О Шамякине сказано несколько крайне невнятных строк и подано так, будто он тоже участвовал в дележке, борясь за какие-то приоритеты. Но мой отец и к распределению участков не имел ни малейшего отношения как секретарь СП, даже не смел вмешиваться, и на дачу не претендовал, так как у него уже была своя. Что же касается его дачи, приглашаю всех читателей на нее посмотреть в местечке Ждановичи (ранее дачный поселок № 1). Любопытное зрелище в силу закона контрастности: жалкая, ушедшая в землю халупа в окружении шикарных трехэтажных особняков, возведенных на месте таких же убогих строений нуворишами, возникшими неизвестно откуда в 1990-е. Тогда наши соседи, деятели науки и искусства, будучи не в силах содержать даже лачуги, продавали их торгашам-махинаторам и вообще проходимцам, сумевшим отхватить куски народного добра разными незаконными методами.

Вот бы поэтам-конкурентам обрушить свой праведный гнев, свою разящую сатиру на неимоверно расплодившихся воров и мошенников. Но нет, о новых хозяевах жизни мастера слова застенчиво молчали. Они спорили о том, как издевались над своими коллегами, выставляя их на всенародный позор. А нынешние журналисты напомнили о так называемой поэме, чтобы заинтригованные современные читатели с ней познакомились, хлебнули ядовитого пойла, и чтобы многие названные в ней литераторы остались в народной памяти только своими грехами. Так, любимый молодыми белорусами Владимир Короткевич и в будущем народный по званию поэт Рыгор Бородулин в «поэме» обеспокоены лишь тем, будет ли рядом с дачным поселком магазин, где можно приобрести выпивку. Зато Нил Гилевич, красиво названный в произведении «другом всех славян» (переводил с некоторых славянских языков и неплохо на этом зарабатывал), благородно отказался от дележки, так как снимал дачу на Нарочи, рядом с классиками — Михасем Лыньковым, Максимом Танком, Аркадием Кулешовым.

Но что же с героями «поэмы» происходило на самом деле? Как и в любом коллективе (в то время большинство учреждений и предприятий организовывали кооперативы), писатели тянули участки по жребию. Землю под подобные садово-огородные товарищества колхозы и областные власти всегда предоставляли самую худшую, бросовую, потому захватывать лучшую, как обвиняет автор «поэмы» функционеров Литфонда, совершенно бессмысленно — все участки оказались очень плохие. Но везде, в том числе в писательском коллективе, совершенно негодную землю, любовно приложив к ней руки, облагораживали и превращали в цветущий рай. Почему-то об этом молчание. А при дележке эмоции неизбежны, тем более писатели — всегда люди тонко чувствующие, легко ранимые. В общем же все проходило гораздо спокойнее и приличнее, чем изображено в «поэме». Скорее всего, автору хотелось кипения страстей — литература ведь вообще скучна без драматичных перипетий.

Вслед за эпизодами распределения участков в произведении идут строфы, рассказывающие об обустройстве дачников, причем все подано в совершенно вульгарной, китчевой манере, где тема фекалий становится центральной. Своим хамством, вызывающим цинизмом, пошлостью «Сказ…» предвосхитил будущую

расхристанность художественных текстов, снятие всех нравственных и эстетических запретов в массовой культуре постсоветского времени.

Можно было бы посчитать неформальную лексику и самый площадной юмор продолжением вербальных народных традиций, потому что подобные вещи в народной среде существовали. Но существовали непечатно и не с конкретными именами. В данном случае ради острого словца оскорбляли уважаемых людей, например, доцентов и профессоров, коим уделено немалое внимание. У всех здесь указанных (Дмитрия Бугаева, Степана Александровича, Ивана Науменко, как, кстати, и у Нила Гилевича) я училась и в разгар дачного бума занималась в аспирантуре на их кафедре, потому была в курсе всех дел «дачников». Никаких студентов на строительство никто не привлекал, как намекает автор, а работали собственные дети владельцев соток — тогда студенты.

Будучи большими марксистами, чем сам К. Маркс, авторы (или автор) радели якобы за коллективизм, выступали против частнособственнических инстинктов. Но осмеивать стоило бы явление, а не конкретных людей. Сравнение с «Энеидой наизнанку» неправомерно, так как в поэме XIX века показаны выдуманные, несуществующие языческие боги. Это действительно удачный прием, и это весело, остроумно — художественно. А злобно высмеивать, утрируя с немалой примесью лжи, своих товарищей по цеху вряд ли достойно. Тем более что в основе, под прикрытием высоких слов, обычная зависть, причем даже не творческая, а человеческая.

В «поэме» высмеивался горячий энтузиазм, но и неизбежные слабости бывших крестьян, ставших писателями. А крестьянские корни поразительно живучи в каждом белорусе — со всеми архетипическими особенностями, характерными для крестьянского сословия. И страсть к собственному клочку земли (вспомним гениальную «Новую землю» Якуба Коласа) неистребима. Причем в 1990-е гг., когда предполагаемые авторы вели позорную полемику, именно садово-огородные участки — в точности по Коласу — буквально спасали от голода миллионы людей. Воистину: «Зямля не змяніць і не здрадзіць…»

Мой любимый мастер слова Константин Паустовский говорил: «Писатели все должны понимать спокойнее и добрее, чем другие люди». Часто так и бывает, но, к сожалению, этого не скажешь об авторах «Сказа…».

Кстати, и в среде дворян, даже творческих личностей, нравы тоже не отличались христианским благочестием. До XIX в. писатели зависели от воли властителей, а с XIX в. — от пристрастий капризной публики. И всегда за свой престиж у монарха или у читателей несчастные (потому что несвободные) литераторы боролись — далеко не самыми благородными методами. Люди во все времена и везде — люди. Среди них — самые разные, причем очень часто в *творчестве* писатель выглядит гораздо лучше, чем носитель его таланта — человек. Такова наша природа.

В 1845 г. Ф. М. Достоевский напечатал повесть «Бедные люди» и буквально в одни сутки стал знаменитым — два великих вершителя судеб писателей в 1840-х гг. Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский объявили Достоевского лучшим среди молодых русских авторов и вторым после Н. В. Гоголя. И тут же на застенчивого молодого человека — Федора Михайловича — обрушились поклеп и травля. К сожалению, заводилой здесь выступал еще один замечательный русский мастер слова — И. С. Тургенев. Да и Н. А. Некрасов присоединился, посчитав все неумные анекдоты о Достоевском забавными шутками.

Правда, ради справедливости нужно сказать, что когда от чахотки умер В. Г. Белинский, богатый И. С. Тургенев подарил его вдове и дочери деревеньку. Однако в известных мемуарах гражданской жены Н. А. Некрасова Авдотьи Панаевой, уведенной поэтом у друга и коллеги, Иван Сергеевич неизменно предстает исключительно в негативном виде, что тоже не есть правда.

Известно, какой беспрецедентной травле со стороны либерально-демократической интеллигенции подвергался Н. С. Лесков после его антинигилистических романов «Некуда» и «На ножах». Уже тогда гениальный поэт и мыслитель Федор

Тютчев с удивлением писал о парадоксальной зависимости монархической власти [а в дальнейшем — любой власти. — *Т.Ш.*] от тирании пошлого либерализма («чем либеральнее, тем они пошлее»). В основе такой *постоянной* зависимости — комплекс неполноценности, вечный страх прослыть «лапотниками» перед «просвещенной» Европой.

И как же сильна эта традиция: хотя Николай Лесков и признан русскими литературоведами несомненным классиком, однако упоминается он на протяжении XX и XXI вв. чрезвычайно редко. Молодежь его практически не знает. В советское время за демократизм мастера выдавалось его страстное желание жить по совести, что и определило нравственную высоту и его личности, и его творчества. А на рубеже 1980—1990-х гг., когда «властителями дискурса» усиленно расшатывались устои, готовился развал СССР, и негативное изображение инсургентов чрезвычайно ценилось, Лесков с его отрицанием радикалов, на удивление, по-прежнему в загоне: все же в чем-то другом, очень существенном, он явно не угодил либеральной публике, которая с XIX века неизменно определяла и общую идеологическую атмосферу, и литературную моду — при всей якобы свирепой царской цензуре. И это во времена господствующей идеологической установки — «самодержавие, православие, народность»!

В советское время тоже не без цензуры, хотя, естественно, идеологемы выдуманы иные. В 1924 г. по распоряжению одного из главных чекистов Якова Агранова ОГПУ арестовало четырнадцать молодых поэтов и других деятелей искусства во главе с другом Сергея Есенина Алексеем Ганиным. Дело об «Ордене русских фашистов» закончилось расстрелом семерых из них. Остальные на длительные сроки угодили в лагеря.

В 1933—1934 гг. сфабриковано подобное же дело — русских славистов, когда судили более семидесяти человек, в том числе выдающихся лингвистов и литературоведов — Н. Дурново, А. Селищева, В. Виноградова, А. Седельникова. Двадцать восемь из них погибли. Наука о генезисе, истории, культуре славян была надолго ликвидирована и по существу не оправилась от удара до сих пор. Помню, в мое студенческое время упоминание о славянофильстве как идеологическом направлении считалось дурным тоном. Всегда и везде — только русские революционные демократы: В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Но и сегодня главное идейное противоборство среди литераторов на протяжении двух веков — XIX и XX — от студентов тщательно скрывается.

В 1920-е годы, редко упоминаемые в негативе современными либералами, далеко не все так благостно. Будучи всесоюзно знаменитым, Владимир Маяковский обитал в каморке для прислуги роскошной квартиры своих друзей — Осипа и Лили Брик, связанных с чекистами и по существу определявших литературную атмосферу того времени, уже тогда невероятно дурно пахнущую, о чем широкая публика совершенно не знает. Скажем, Осип Брик ратовал за отмену искусства как такового. К сожалению, и сам Маяковский не без греха: он презрительно называл Осипа Мандельштама и Анну Ахматову «внутренними эмигрантами», именно он возглавил травлю Бориса Пильняка и Евгения Замятина — первую в СССР кампанию подобного рода.

На протяжении десятилетий беспримерному поношению подвергался Михаил Шолохов, якобы укравший свой гениальный роман «Тихий Дон». Немало усилий в реанимации этой травли в послевоенное время приложил другой известный писатель, но далеко не обладавший шолоховским талантом, — Александр Солженицын.

Михаил Булгаков отомстил своим многочисленным гонителям, выведя их в качестве негативных персонажей в «Мастере и Маргарите».

Гениальный композитор и мудрый человек Георгий Свиридов писал в мемуарах уже в постсоветскую эпоху: «Дети тех, кто сжил со свету М. Булгакова, теперь славят Булгакова, пишут о Булгакове, хвалят Булгакова, говорят «наш Булгаков», «великий Булгаков» и т.д. Ставят Булгакова, причем ставят на свой лад,

переделывая, меняя смысл на противоположный. Христос у Булгакова — недосягаем в своем страдании и в своем величии…»

О том, как пострадали в 1930-е гг. белорусские писатели, широко известно. Известно и кто писал на них доносы. Клеветнические рецензии и литературоведческие статьи, например, Лукаша Бенде и Алеся Кучера, тоже правомерно рассматривать как основание для практических оргвыводов со стороны правоохранительных органов. Тот же незабвенный Дмитрий Яковлевич Бугаев рассказывал нам на лекциях, что в газетах 1930-х гг., сохранявшихся в Национальной (тогда — Ленинской библиотеке), все разгромные рецензии оказались кем-то вырезаны, так что послевоенные поколения филологов познакомиться с ними не могли.

Послевоенная история литературы — своя, чрезвычайно интересная тема. Здесь мне уже многое известно не из книг и лекций, а из первых уст современников.

Наиболее часто упоминаемым делом о погроме Компартией литературы до сих пор остается Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г., в результате чего пострадали Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Однако в недавней книге известной российской исследовательницы Аллы Марченко «Ахматова: жизнь» предстает несколько иная картина, в которой неблаговидно выглядят не столько партийные функционеры, сколько литераторы. Действительно, второй человек в государстве Андрей Жданов выступил с роковым докладом, цель которого, по *моему мнению*, — консолидировать народ в восстановлении страны, для чего и требовалось идеологическое обеспечение, то есть литература определенного типа и настроения, именно та, которую мы относим по разряду «социалистический реализм». Однако такой доклад всегда готовится не одним человеком. Докладчик при разработке тезисов доклада указал на идею, а конкретные фамилии «зарвавшихся» литераторов предстояло назвать самим писателям. Литературная общественность Ленинграда, «(особо обиженная успехом послевоенных выступлений Ахматовой и Зощенко) назвала именно их» (А. Марченко).

Другой известный литературовед, чрезвычайно осведомленный, так как отец у него тоже был литературоведом, Дмитрий Урнов, пишет о закулисной стороне тогдашних событий: «В творческой среде шла своя борьба — за власть в литературе». И далее: «Информация запрашивалась сверху — подавалась снизу <…> Не надо называть имен, но не надо и на власть сваливать». Имеется в виду — не называть имен клеветников, уничтожавших, действуя через власти, своих конкурентов. Так, у Ахматовой оказалось много завистников, тем более, незадолго до рокового Постановления ее посетил атташе английского посольства Исайя Берлин, а сын Черчилля устроил под окнами квартиры поэтессы пьяный дебош. Вот и формальный повод. А чем же провинился Михаил Зощенко? «“Кого же мог травить тишайший Михаил Михайлович?” — спрашивает дотошный изыскатель. Для кого тишайший, а кому ненавистный — был секретарем правления Ленинградского отделения Союза писателей, поддерживал “своих”, а кого не поддерживал, те и отомстили…» (Д. Урнов). Очень точная характеристика нравов — и не только того времени.

Так что все здесь сложнее, чем выглядит в агитпропе — еще советском, хрущевском, когда был осужден культ личности Сталина и, соответственно, буквально все связанное с ним. Мало кому известно, что уже спустя месяц после позорного Постановления Александр Фадеев, тогдашний председатель Союза писателей СССР, не посмотрев на мнение ленинградцев, восстановил Ахматову в членах Литфонда СССР. Она вновь стала получать пенсию, а главное — рабочую карточку. И далее руководство СП, не афишируя, потихоньку, но неуклонно и успешно реабилитировало опальных писателей. Им доставали дефицитные путевки в санатории, продвигали их произведения в редакциях.

А. Марченко и Д. Урнов показывают *неординарность* сложившейся ситуации. Драматизм положения известных литераторов несомненен, но также несомненны усилия начальства Союза писателей их минимизировать.

Конечно, отношения творческих людей с властями всегда оказывались достаточно сложными и нередко драматичными.

Иван Шамякин рассказывал о начале своей литературной деятельности, когда он в 1948 г. перебрался из провинции, где работал учителем, в Минск и поступил в Высшую партийную школу. Тогда же уже очень известный поэт Максим Танк был назначен главным редактором журнала «Полымя». Именно редакция «Полымя» в Доме печати, случайно уцелевшем от бомбежек во время войны, стала своеобразным клубом, где собирались тогдашние литераторы. Было их в то время — членов Союза писателей — немного, около пятидесяти человек. Жили дружно и весело, несмотря на бытовые трудности. В мемуарных заметках о Максиме Танке «На камне, железе и золоте» И. Шамякин писал, как восхищал его юмор великого поэта: «Но вместе с тем, чувствовал, что весь его юмор бытовой, никакой политики! Шутил он как бы оглядываясь. Меня это удивляло, а временами даже разочаровывало. Позже я понял причину такой настороженности и осторожности, понял и мудрость Танка. Поэт, который, казалось, возносился в поднебесье в стихах, был трезвым реалистом. Но я, вчерашний комсорг дивизиона, все еще оставался идеалистом, хотя и писал романы и учился у лучших реалистов — классиков. Теперь могу заключить: вернувшись с фронта победителями, мы принесли необычную политическую наивность. Не только я, но даже такой настоящий реалист, смельчак, юморист, как Андрей Макаенок, оба мы считали, что активное участие в такой войне (у Андрея — тяжелое ранение) дает нам индульгенцию от любых политических обвинений. Подбирали повторно отпущенных на волю «декабристов» — мы же оставались почти равнодушными. Во-первых, молодые, мы не знали ни Скригана, ни Шушкевича, ни Федоровича. Что это за люди? Мол, те, из органов власти, которым надлежит все знать, знают этих «повторных» лучше. Началась борьба с космополитизмом, значит, продиктована высокой политикой, мудростью вождя. Правда, арест Хаима Мальтинского меня поразил: Хаим был моим первым редактором. Андрея возмутил: Хаим, комиссар батальона, потерял на войне ногу, имел три или четыре ордена. Такой воин, считали мы, да, наверное, считали все, действительно имел право на высшую охранную грамоту. Какой вред державе, партии мог нанести офицер, инвалид, коммунист Мальтинский? Разве что единственный его грех — пишет свои стихи (хорошие стихи в переводе на белорусский) — на идиш? Но мы же интернационалисты, так нас воспитывали с первого класса школы. Закончила воспитание война. Есть один враг — классовый. В этом мы были убеждены. Теперь я понимаю: Максим Танк не верил в индульгенции, охранные грамоты, врученные ему подпольем в Польше, войной с фашизмом. Оттуда и настороженность, и осторожность, которую я тогда, идеалист, не мог объяснить» [здесь и далее перевод с белорусского мой. — *Т. Ш.*].

Осторожность старшего поколения литераторов, много переживших, можно понять. «Наивность» же фронтового поколения писателей, то есть тех солдат и офицеров, которые вступили в литературу во время войны и после нее, я объясняю для себя иначе. Среди этих писателей — Иван Мележ, Василь Быков, Иван Шамякин, Алексей Кулаковский, Владимир Карпов, Андрей Макаенок, Иван Науменко, Алексей Пысин, Алесь Савицкий и многие другие. Это поколение чрезвычайно плодотворно работало в 1940—1970-е годы, даже несколько и позже, но все же наиболее значительные произведения созданы в отмеченный период. Фактически писатели-ветераны как наиболее активная часть литераторов сформировали белорусскую послевоенную литературу, которая именно *благодаря им* стала широко известной в мире.

Великая литература Беларуси — можно с полным правом говорить о ее несомненном величии — возникала на волне оптимизма и ликования от Победы, счастья жить на мирной земле, радости ее обновления. Причем стремительный взлет литературы наблюдался в 1960-е гг. Но он был обусловлен вовсе не «*хрущевской* оттепелью», не разоблачениями этим негодным руководителем «культа личности

Сталина», а специфическим периодом в истории Советского государства, когда послевоенные лишения остались позади, страна отстроилась, народ стал жить хорошо, но сохранялась еще *инерция* ощущения Победы и связанные с ней удивительно теплые, сердечные, дружеские отношения между людьми.

Кстати говоря, докладом Никиты Хрущева на XX съезде КПСС советские ученые не занимались. А вот иностранные авторы (Дж. Гетти, Р. Торстон, Г. Ферр, С. Виткрофт, Р. Девис), которых никак не заподозришь в симпатиях к Сталину, исследовали доклад серьезно, обстоятельно, глубоко и доказали лживость Н. Хрущева буквально по всем пунктам.

«В 60-е СССР на пике своего развития. Паритет с США, полет Гагарина, беспрецедентный экономический рост, строительство жилья для народа, лучшие в мире системы образования и здравоохранения — это была «лебединая песня» социализма. Народ поверил в «очеловечивание» власти, был готов к созидательному труду. Но власть не смогла распорядиться народной инициативой», — пишет русский писатель Юрий Козлов.

От властей вообще редко исходят изменения к лучшему — как правило, это заслуга народа. Номенклатура всегда прежде всего заботится о себе. А именно с Хрущева номенклатура, пощипанная Сталиным в 1937 году, почувствовала свою безнаказанность.

Я сама ностальгически зачарована шестидесятыми — лучшего времени за весь XX век не было. Но, повторяю, особая атмосфера той эпохи вызвана совсем другими процессами, чем принято считать. Перестроечные либеральные идеологи все упростили, создали примитивный миф, а мы с тех пор бездумно повторяем очевидные глупости о «хрущевской оттепели» в то время, когда все гораздо сложнее, объемнее, диалектичнее. Впрочем, сложность и диалектика в наше время никому не нужны, более того, пугающи… Кстати, замечу, что в сами шестидесятые, да и позже, вплоть до «перестройки», слово «оттепель» вообще широко не употреблялось.

В 1960-е гг. белорусская литература считалась одной из самых развитых в СССР, да даже и в Европе. Причем наибольшую известность имели преимущественно авторы военного поколения. Сегодня значение их произведений, по большому счету, еще больше возрастает — ведь это свидетельства *непосредственных участников* событий, которые успели их глубоко и всесторонне осмыслить.

Удивительной оказалась плеяда творцов. Писатели военного призыва — А. Кулаковский, А. Пысин, А. Макаенок, И. Шамякин, И. Мележ, В. Быков, И. Науменко, А. Савицкий — являлись по существу первым полностью *советским поколением*, родившимся и сформировавшимся уже в советской стране. И идеологию первого в истории социалистического государства их жизненный опыт в общем подтверждал: СССР победил в самой жестокой, кровопролитной из всех известных войн, необычайно быстро, без посторонней помощи, возродил народное хозяйство, осуществил космический проект, стал по многим экономическим показателям второй супердержавой в мире. Значит, приходила к выводу наиболее *думающая* часть общества — писатели, — социальный строй этой державы самый справедливый и правильный.

В то же время мастера пера — люди умудренные и умные — не могли не видеть и недостатки системы: глупость в управлении войсковыми операциями, бездушие бюрократов в отношении простых людей в тылу.

Поколение Победителей вообще во многом *по-другому* воспринимало жизнь, чем творцы довоенного времени. Авторы, влившиеся в состав Союза писателей после фронта, были социально *уверены в себе*, в своей правде и жизненном предназначении. Ведь они привыкли к инициативе, к самостоятельному принятию решений в условиях самых необычных и даже часто невыносимых. Они каждый по-своему, соответственно своему феноменально богатому жизненному опыту, смотрели на мир и умели видеть в нем разные стороны — иначе не сформировались бы как творцы.

Писатели-ветераны — на самом деле не наивные юнцы, как несколько лукаво пишет Шамякин, а очень серьезные люди, знающие относительно себя, что свою главную задачу в жизни, свою, без преувеличения, планетарную миссию они выполнили честно, достойно — спасли мир от самой реакционной силы в истории. Именно их правдивые произведения и мужественная позиция, вообще в целом их *пребывание* в обществе, создавали ту неповторимую *атмосферу*, которой характеризуются 1960-е годы и которую абсолютно неправомерно приписывают невежде Н. С. Хрущеву, деятелю неумному, но хитрому.

Правда, в конце 1940-х гг., о которых и вспоминает в мемуарах мой отец, еще не все молодыми авторами осмыслено до конца, и тем не менее их «наивность»— это на самом деле уверенность в себе, потому что они — *Победители*. Да и сам И. Шамякин в романе «Тревожное счастье» писал, что за четыре года войны они все повзрослели на двадцать лет. Действительно, вспоминая то поколение и сравнивая с последующими, уже достаточно инфантильными, я вижу мудрость, честность и благородство наших отцов, наших наставников.

Что же касается периода борьбы с космополитизмом в заметках Шамякина, то, как отмечает чрезвычайно осведомленный русский поэт Станислав Куняев, многолетний главный редактор журнала «Наш современник», это был, на самом деле, упреждающий удар тогдашнего председателя Союза писателей СССР Александра Фадеева против кампании, что велась против него и его круга. Он знал, что чрезвычайно мощный партийно-идеологический клан в недрах самого ЦК КПСС пытается его свергнуть и поставить на освободившееся место более подходящую для них фигуру — Константина Симонова. Прежде чем началась борьба с космополитизмом, в литературных кругах развернулась атака против окружения А. Фадеева — драматургов А. Софронова, В. Вишневского, А. Сурова, Н. Вирты с целью вытеснить их пьесы из репертуара и заменить своими авторами. Рецензии тогдашних театральных критиков поражали злобностью и непримиримостью. И вот тогда, почувствовав опасность, мудрый и опытный А. Фадеев, заручившись поддержкой сподвижника Сталина Георгия Маленкова, нанес удар первым.

Таким образом, за разными явлениями в литературе как советского, так и постсоветского времени нужно видеть более глубокие их корни. В то время сложился такой политический момент, когда антипатриотические силы осмелели и решили провести «разведку боем» по разрушению основ социализма. Да только руководители Союза писателей их переиграли. Больше это не повторится *никогда*…

Вообще, нельзя ничего понять в реалиях времени, если не знать *главного противостояния* в советской литературе, начавшегося, впрочем, задолго до революционного 1917 г. (еще М. В. Ломоносов боролся против немецкого засилья в России). Все время шла борьба между двумя идеологическими тенденциями, как пишет Станислав Куняев, «условно говоря, патриотической и “интернационалистской”, пытающейся гальванизировать послереволюционную антирусскую направленность, которая была решительно подорвана во время Великой Отечественной войны».

От себя скажу, что идеологический отдел ЦК КПСС постоянно *балансировал* между этими двумя силами, стараясь равномерно распределять как блага, так и наказания. Лишь период «борьбы с космополитизмом» можно считать нарушением баланса, реваншем за «дело Ганина» (да и убийства С. Есенина, как сейчас уже доказано) и «дело славистов». Впрочем, пострадавшие отделались легким испугом — «никого ведь из критиков-космополитов не расстреляли и в лагеря не сослали. Даже из Союза писателей никого не исключили» (Ст. Куняев).

Зато кратковременное потрясение многому научило: с тех пор «испуганные» изменили тактику и начали расшатывание устоев планомерно и методично, но с малого — насаждения социальной апатии, тоски, безнадежности у охваченного энтузиазмом и жаждой творчества народа. Об этом — многие кинофильмы, песни бардов, подпольная литература. Позже — чернушные фильмы, маргинальный рок, уголовный шансон, постоянный пошлый стеб в журналистике. А уже «пере-

стройка» конца 1980-х гг., как пишет умнейший Александр Проханов, — «это мощнейшее, набиравшее обороты, организационное оружие, которое послойно уничтожало все опоры, символы, институты советского государства». Причем дело велось чрезвычайно умело, так как оказалось, как видится сегодня, хорошо подготовленным. Социолог Сергей Кургинян отмечает: «Горбачевская «перестройка» (декоммунизация) — насилие. Неслыханное насилие: информационное, психологическое и метафизическое».

Подоплеку подобных, набирающих обороты, явлений молодые белорусы, ветераны войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов, конечно, не знали. А вот в 1950-е и особенно в 1960-е, когда уже маститые к тому времени белорусские писатели дружили и активно сотрудничали с русскими и украинскими авторами, разговоры на эту тему в нашем доме шли постоянно, едва ли не ежедневно. Обсуждали не достоинства и недостатки разных произведений — для того хватало разных заседаний и страниц журналов, — а политику, в том числе, как принято было провозглашать, «политику партии в области литературы».

В постсоветской же России борьба писателей, условно говоря, «славянофилов» и «западников», еще более обострилась. Только никакого баланса уже и в помине нет. Убедительную победу, как и стоило, *исходя из тенденции*, ожидать, одержали литераторы прозападно-либерального лагеря. Достаточно посмотреть, кого издают массовыми тиражами, кому дают премии, кого посылают на международные форумы, кого ставят в театрах и в кино. Все эти писатели ныне активно обслуживают установившийся в РФ буржуазный режим, олигархат, ограбивший народ, внушают населению, что возврата к социализму быть не может, воспитывают гедонизм, потребительство и равнодушие к родной стране, а значит, и к собственной судьбе. Примеров — тысячи.

В мае 2018 г. известный в РФ писатель Юрий Поляков в одной из острых статей цикла «Желание быть русским» писал: «…что касается знаковых для русского самосознания памятников, то тут просто беда! Плисецкой памятник есть — Улановой нет. Мандельштаму есть — Заболоцкому нет. Бродскому есть — Рубцову нет. Ростроповичу есть — Свиридову нет…» Как горько замечал Юрий Кузнецов о своих собратьях: «Молчите, Тряпкин и Рубцов, // Поэты русской резервации».

Всемирно известный скульптор, бывший советский диссидент Михаил Шемякин, которого никак не заподозришь в симпатиях к социализму, видит несправедливость, пошлость и подлость ныне утвердившегося строя и высказывается на этот счет более чем зло: «Наворовано много. Теперь надо создать такую идеологию, которая была при царизме: сиди, русский мужик, и не рыпайся. Слушай, что тебе барин говорит. У тебя лапти есть — и ладно. А нам не мешай кататься на яхтах и “бентлях”».

Весной 2018 г. российские власти специальным указом разрешили крестьянам собирать в лесу валежник. Вот уж облагодетельствовали — совсем в духе высказывания Михаила Шемякина! Чиновники не понимают, насколько это унизительно для русского человека — победившего в самой страшной войне, осваивавшего космос, создававшего замечательную науку и технику.

Чиновники вообще не привыкли учитывать *достоинство* человека, в том числе чиновники от науки и образования и в том числе в Беларуси. Для них такого понятия не существует. Ведь при капитализме человек — товар, и в каждом власть предержащем это понимание, пусть и подсознательно, засело накрепко. Впрочем, все начиналось еще при советской власти, при Хрущеве. И. Шамякин вспоминает одного из таких деятелей в мемуарной статье «Воспитатель». Речь в ней о крупнейшем идеологе компартии — сначала в Беларуси, потом на союзном уровне — Василии Филимоновиче Шауро. Шамякин приводит многочисленные примеры столкновений людей искусства с этим партийным бюрократом. Между прочим, я в то время училась в школе с сыном Шауро — Михаилом. Его очень не любили — за эгоизм, заносчивость, за все те качества, которые уже проявились в «золотой молодежи», детях государственного и партийного чиновничества. При

том, что именно у нас в элитной школе оказались примеры прямо противоположные — скромные, тихие, дружелюбные дети высших руководителей Беларуси того времени Киселева, Машерова, Притыцкого. Своего сынка Шауро воспитывал одними методами, творческих людей — другими, гораздо более жесткими.

И. Шамякин пишет: «Василий Быков и Алесь Адамович неоднократно были на приеме у Шауро, как правило, после зарубежных командировок — с отчетами. Неразговорчивый Василий об этом не рассказывал, Алесь рассказывал нам с Андреем с юмором, как Шауро их воспитывает. Воспитатель!» И тут же — об итоге деятельности этого кичившегося своей коммунистической принципиальностью функционера: «Когда Горбачев и Яковлев с помощью Шауро развалили партию, и бывший заведующий отделом вынужден был очистить дачу ЦК, то вместе с другим добром вывез 200 (!) оригинальных картин художников из всех республик. Плюс скульптуры, отлитые из ценных металлов». А повзрослевшие детки подобных деятелей завладели намного большим имуществом — тем, что создавался всем народом на протяжении десятилетий.

Впрочем, в Беларуси работали и другие чиновники, честные и неравнодушные к людям, — как правило, прошедшие войну, и Шамякин их тоже вспоминает — проникновенно, тепло. Но больше всего он пишет о братьях-писателях. Ссылаюсь на Шамякина потому, что именно он оставил *наибольшее число* мемуарных произведений и воспоминаний о коллегах. В том числе коллегах из других республик. Так, подробно описывает он все перипетии «Дела Пастернака» в связи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго».

В те нервные и для властей, и для писателей дни Шамякин находился в Москве на редколлегии издательства «Советский писатель». Вечером, когда отец «заседал» со своим другом — русским поэтом Николаем Рыленковым — в ресторане новой гостиницы «Украина», к ним присоединились знаменитый Александр Твардовский и его заместитель по журналу «Новый мир» Александр (Зиновий) Кривицкий. Именно от них Шамякин и Рыленков узнали о перипетиях в судьбе Пастернака.

Первоначально Борис Леонидович отдал роман в «Новый мир» — тогда самый авторитетный общественно-политический и литературно-художественный общесоюзный журнал. Мнения членов редколлегии журнала двоились и троились. Сам главный редактор — Александр Трифонович — склонялся к печатанию. Но пока раздумывали, роман издали в Италии. Это был скандал. Печатание в «Новом мире» отпало. И тут же Пастернаку была присуждена Нобелевка.

Требовалось доказать, что премию присудили не за художественные достоинства произведения. Впрочем, именно в области литературы политическая подоплека присуждения Нобелевской премии просто поражала знающих людей своей явной тенденциозностью. И оставалось подобное положение дел надолго, пока, в конце концов, в 2018 г. Нобелевскую премию по литературе, совершенно себя дискредитировавшую, решили вообще не присуждать. А в то время, которое описывает И. Шамякин, советские власти постановили: Твардовскому написать заключение по роману и подписать у всех членов редколлегии, которые, естественно, роман читали, и не по одному разу. После многочасового объезда коллег — по всей Москве и в дачном поселке Переделкино — Твардовский «остужался» в ресторане, поскольку кипел гневом. Зная его слабость, которую в редакции журнала сотрудники дружно *поощряли* (всегда с утра у него в сейфе стояла бутылка коньяка от подчиненных), к Твардовскому для общения с членами редколлегии приставили надзирателя — заведующего отделом пропаганды ЦК. Поэт не стеснялся в выражениях, проклиная партийных бюрократов и их опеку над творческими личностями.

Хотя продолжали пить всю ночь в номере Шамякина (сам он пить умел и всегда знал меру), Твардовский явился на следующий день на пленум СП как стеклышко, правда, опоздал.

Знаковый для истории советской литературы пленум Шамякин описывает подробно — как никто другой, поскольку вел записи. Привожу его рассказ вкратце.

Шамякин и другие «националы» примкнули к группе тогдашнего председателя Союза писателей СССР Алексея Суркова. Именно ему в 1941 г. Константин Симонов посвятил гениальное стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Кстати, как раз Сурков, после войны — один из руководителей СП, — сыграл главную роль в облегчении судьбы М. Зощенко и А. Ахматовой. Потому Шамякин Суркова любил, хотя и писал о нем с юмором. Сурков отличался чрезвычайным красноречием, произносил вдохновенные речи без записей — всегда очень долго и витиевато. И на пленуме он выступил первым, причем говорил «без злости, снисходительно», излагал ситуацию как забавную байку. Рассказал всю историю публикации злополучного романа, хвалил Пастернака-поэта. «Но так и не сказал, с какой целью собрались члены секретариата, правления, актив. Не имел еще председатель определенных указаний. Верховный идеологический орган нередко по мелочам давал конкретные указания, а по серьезным, важным предлагал разбираться самим. Так было в Москве, так было у нас».

После Суркова все выступавшие осуждали Пастернака, но «мягко, незло, как бы подстилая соломку, чтобы не мулко ему было на даче в Переделкино». Только один человек, впрочем, очень авторитетный, — Илья Эренбург (автор термина «оттепель») — защищал лауреата. Затем вновь говорил Сурков — и соглашаясь с Эренбургом, и споря с ним.

Шамякину запомнилось выступление тогда знаменитой Веры Пановой. Слова ее дышали злобой, но ни одного адреса не было названо — ни самого Пастернака, ни СП, ни Хрущева.

С моей точки зрения, практически все выступавшие продемонстрировали в риторике высший пилотаж — сказать многое, но ничего не сказать.

Потом опрашивали представителей от союзных республик. На первом месте всегда и везде — Украина. Правда, представитель от Украины, друг Шамякина, выдающийся писатель Михайло Стельмах, перед пленумом мудро уклонился от присутствия на нем, сославшись на здоровье. Следующие по рангу — белорусы. Шамякин встал и сказал, что роман не читал. Кто-то засмеялся. Кто-то выкрикнул: «А кто читал?» Но Сурков выгородил Шамякина, красиво поговорив не о романе, а о чести советского писателя. Затем выступали другие «националы».

Кто-то не из великих и знаменитых, а из подпевал и прихлебателей предложил заставить Пастернака отказаться от премии. На том и порешили. Составили комиссию для беседы с Пастернаком, куда вошли маститые, его ровесники, — Алексей Сурков, Константин Симонов, Вадим Кожевников (автор романа и сценария кинофильма «Щит и меч»). Твардовский отказался: мол, он все сказал в своем заключении.

Через несколько дней состоялось общее собрание и в Союзе писателей Белоруссии. Выступал Шамякин — «ведь он имел счастье слушать московских корифеев», как сам пишет с иронией. Данный эпизод в родной организации Иван Петрович вообще описывает с юмором, впрочем, его потаенный смешок все время ощущается и в предыдущем рассказе. На собрании присутствовал сам «великий идеолог» Шауро, потому следующий за Шамякиным оратор — директор Института литературы академик Василий Борисенко — волновался и в своей речи несколько раз вместо «Пастернак» сказал «Пестрак». А Пилип Пестрак сидел тут же, в первом ряду. Пестрак был чудаковат (не диво — одиннадцать лет отсидел в одиночке в польской тюрьме Лукишки), потому зал замер, ожидая его реакцию. Уже после выступления Петруся Бровки, председателя СП Беларуси, Пилип Семенович «не спеша пошел к трибуне со своим до дыр протертым портфелем (шутили, что торба эта — из Лукишек еще), раскрыл портфель, достал какие-то бумаги, нацепил очки — словно испытывал нетерпение слушателей. А сказал одно предложение: «Академикам нужно выступать по писаному», — и пошел с трибуны.

Зал взорвался хохотом. Слова эти стали крылатыми.

Бровка не мог не осведомиться у начальства, как прошло мероприятие, ожидая похвалы. Спросил у Шауро, когда тот в нашем кабинете одевался:

— Ну, как? По-моему, все хорошо.

— Балаган.

Бровка позеленел.

— Этот Пестрак! Василию простительно — он волновался…

— Дело не в них.

А в чем? Разгадать мы так и не смогли, даже с помощью мудреца Глебки, почему такое серьезное обсуждение стало балаганом».

Настоящую подоплеку истории с «Доктором Живаго» писатели узнали довольно скоро. Но все равно и в писательской среде, и в обществе укоренилась традиция считать Пастернака несчастным страдальцем, мучеником, жертвой. Помню, как рассказывали нам, студентам, о нем на лекциях — буквально со слезами жалости и умиления. И лишь в 2014 г. чрезвычайно авторитетная «Литературная газета» опубликовала официальное сообщение об «операции “Живаго”»: «Рассекречено около 130 документов ЦРУ, подтверждающих версию, согласно которой это ведомство принимало непосредственное участие в публикации и распространении романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». В рамках кампании по борьбе с коммунистическим строем американская разведслужба организовала выпуск запрещенной в СССР книги на Западе, а также распространение романа среди советских граждан, — сообщает газета «Вашингтон пост». Документы предписывали ни в коем случае не демонстрировать, что к изданию причастна “рука правительства США”. Текст романа был получен ЦРУ в январе 1958 г. секретным пакетом из британских спецслужб. В пакете находились два рулона фотопленки страниц рукописи, которую удалось вывезти из СССР».

Оказывается, не так уж сильно заблуждались «злопыхатели», «травившие» автора. Правда, его не только не выслали из страны, но даже из Литфонда не исключили. Однако слоган «не читал, но осуждаю», прозвучавший на описанном пленуме СП в отношении романа, широко пошел в народ, естественно, в самом издевательском для властей и их прихвостней смысле. А по-моему, ничего особенного в этом афоризме нет: осуждался сам факт передачи романа за границу. У нас считается позорным для писателей — и справедливо — сотрудничать с советскими чекистами, но почему-то не осуждается *сотрудничество с зарубежными спецслужбами*. Известный российский социолог Сергей Кара-Мурза называет подобные вещи *аутизмом* общественного сознания.

В дальнейшем ЦРУ принимало еще большее участие в истории создания и популяризации книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Сия операция вообще завершилась блестяще, так как произведение во многом способствовало подрыву доверия народа к советской власти.

Осведомленный русский публицист Андрей Фефелов пишет на этот счет: «Миф о ГУЛАГе был ловко, цельно и талантливо сконструирован на Западе. Солженицын озвучил его через существующую до сих пор масонско-протестантско-разведывательную структуру YMKA, которая плотно занималась нашей страной еще со времен российской империи».

По свидетельству почти столетнего публициста, ветерана войны, Владимира Бушина, первое издание «Архипелага…» изобиловало фактическими и орфографическими ошибками. Потом Александр Исаевич, конечно, по нему прошелся и объявил произведение художественным, а вовсе не документальным. Но дело уже было сделано.

Постоянные вопли о ГУЛАГе, о штрафбатах, «кровавой гебне», «тупом совке» во времена «перестройки» и позже буквально забили мозги не только простым обывателям, но и бывшей советской интеллигенции.

Некоторые из моих студентов, посмотрев любимый народом советский фильм «Девчата», совершенно искренне недоумевали: почему по сюжету фильма строятся дома для семейных пар — ведь действие происходит в одном из поселков ГУЛАГа, и герои — репрессированные? Стереотип: если речь о лесозаготовках — значит, ГУЛАГ. Детей за их наивность, невнимательность и

феноменальное незнание жизни осуждать нельзя — им так, постоянно и систематически, внушали родители и педагоги. А родителям и педагогам — агитаторы и пропагандисты из СМИ в годы «перестройки» и «лихих девяностых». Причем манипуляция сознанием оказалась настолько мощная, что верили любому бреду: скажем, указывалось количество репрессированных большее, чем граждан СССР в 1937 году. Тут уже не аутизм, а настоящая массовая шизофрения. Причем давно доказано реальное число привлеченных к суду, не превышающее за тридцать три года (1921—1954 гг.) чуть более четырех миллионов, в большинстве случаев — за дело: вредительство, коррупцию, настоящий шпионаж, а во время войны — службу в полиции, дезертирство и т.д. В наше время известны абсолютно точные цифры: по политическим статьям в указанные годы было приговорено к смерти 642 980 человек, к лишению свободы 2 369 220 человек. Тоже много, но в *ельцинское* криминальное десятилетие погибло гораздо больше — граждане вымирали по миллиону в год (убийства, самоубийства), и каждый пятый ребенок — беспризорный.

Мало кто знает, что уже в 1938 году, то есть после психоза ежовских репрессий, началась реабилитация невинно осужденных. Вернулось из заключения около 800 000 человек. Именно тогда вернулся и мой дед по маме Филат Азарович. Причем, в отличие от неутихающих истерик либеральной публики, самих репрессированных и их потомков, мои родные, мама и ее сестры, всегда говорили о страданиях отца с его слов: «Значит, *так надо было*», подчеркивая «надо было». Истинно народный, христианский взгляд на вещи…

Но такого понимания — как у Ф. Достоевского, который был благодарен судьбе за каторгу, потому что в страданиях душа возвышается, — я ни разу не прочитала в многочисленных писаниях либералов. Писатели, конечно, всегда более осведомленные, чем основная масса народа. Но многие из них, почувствовав конъюнктуру, сами активно участвовали в создании пропагандистского мифа, ничуть не стремясь обнажить *всю* правду…

Среди других негативных явлений, распространенных в писательской среде, нельзя не назвать существование так называемой «переводческой мафии». Безусловно, не в Беларуси. А в Москве писателей из национальных республик переводили очень широко, и многие провинциальные, из союзных и автономных республик, авторы, скажу честно, прославились благодаря талантливости своих российских переводчиков. Помню, как Шамякину постоянно предлагали свои услуги разные литераторы из Москвы и Ленинграда. Сначала у отца были действительно выдающиеся переводчики-ленинградцы — Аркадий Островский и Иосиф Кобзаревский. Но когда они умерли, взялись за дело москвичи. Через немалое время И. Шамякин совершенно случайно узнал, что один из его переводчиков просто распределяет куски романа среди своих студентов, и те белорусского автора буквально штампуют. Оплачивался труд молодых копейками, а вот официальные переводчики, чего многие нынешние читатели, скорее всего, не знают, получали в советское время 40 % от общего гонорара. Так что перевод тогда — дело чрезвычайно выгодное.

Еще один способ заработка — кино. В то время экранизировали произведения писателей, в том числе белорусских, достаточно активно. Переведены на язык киноискусства почти все произведения В. Быкова, В. Короткевича, И. Шамякина, «Люди на болоте» И. Мележа. Шамякина экранизировал и один из очень известных тогда российских режиссеров. Здесь широко распространенная практика была такая. Сценарий всегда писал сам писатель. Режиссеры таким делом обычно себя не утруждали. Но настаивали, чтобы их имя стояло в титрах как соавторов сценария. Естественно, гонорары делились. Никто из обделенных писателей никогда не роптал: ведь кино — наилучший популяризатор их творчества. К тому же, режиссеры в процессе съемок действительно часто вносили изменения в сценарий, правда, далеко не всегда в лучшую сторону. Из-за порчи своего произведения белорусский драматург Андрей Макаенок даже поссорился

с закадычным другом Петром Василевским, снявшим по пьесе Макаенка «Левониха на орбите» неудачный кинофильм «Рогатый бастион».

Однако всегда неизбежные в творческой среде недоразумения между советскими писателями и шалости с гонорарами не идут ни в какое сравнение с теми ожесточенными боями, которые развернулись во время «перестройки» и после развала СССР. Еще в конце 1980-х писатели, наконец, официально разделились по той линии, которая существовала *всегда* — «славянофилов» и «западников». Сразу после ГКЧП в 1991 г. они уже дрались чуть ли не врукопашную, во всяком случае, была попытка насильственного захвата помещений. А затем в течение многих лет бурно делили имущество. В результате все лишились всего, поскольку действительно немалым достоянием (домами творчества, поликлиниками, издательствами) завладели более ловкие, чем литераторы, дельцы, всегда умевшие ловить рыбку в мутной воде. Для того ее, воду, и мутили. За материальные блага (в частности, за дарованные Сталиным дачи в Переделкино, которые ранее обзывались «золотыми клетками», а сейчас благословляются) идут сражения и в наше время, причем даже в организации писателей, казалось бы, одного идеологического лагеря.

Практически никто из нынешних читателей не знает о подписанном в 1993 г. двумя известными белорусскими писателями, вместе с еще сорока российскими либералами, скандального, совершенно позорного письма президенту РФ Б. Н. Ельцину — с гневными призывами подвергнуть репрессиям просоветски настроенных деятелей культуры. С этими своими заклейменными коллегами еще несколько лет назад белорусские авторы обнимались под коньячок в кафе ЦДЛ.

Такие вещи не забываются! Куда там осуждение Бориса Пастернака за Нобелевскую премию — детский лепет по сравнению с мерзким доносом, направленным против своих же собратьев по профессии.

Конечно, хочется реабилитировать соотечественников. Ведь известно, как «подписываются» подобные письма. Звонит писателю, а иногда даже его жене, некий инициатор очередного письма властителю, кратко излагает суть, не вдаваясь в подробности, и как правило, заручается согласием на подпись. Скорее всего, так оно и было. Правда, если вспомнить публицистические выступления одного из подписантов в 1990-е годы, его обеление латышских фашистов, его мечты о скорейшем вымирании ветеранов Великой Отечественной войны, которые мешают продвижению страны по пути демократии, то вопросы все равно возникают. Второй подписант, мой глубоко уважаемый наставник, судился в то время с компартией. Можно иметь разные политические взгляды, можно состоять не только в компартии, а и в некоем сообществе «просвещенных», но стоило бы сохранять в себе нечто, что выше политики и идеологии…

Удивительное дело! Вместе с изменением общественного строя кардинально изменились и нравы, отношения между людьми. А ведь в советское время преобладали все же дружба и теплота в отношениях.

Действительно, невозможно постоянно писать о негативе — в то время, когда хорошего было больше.

Еще в советское время писателей, бывало, обвиняли в групповщине. Скажем, белорусы делились на так называемых «западников» и так называемых «восточников». Считалось, что первые тяготеют к Польше, вторые — к России. Однако все это было глубоко внутренне и известно лишь «посвященным», потому что внешне никак не проявлялось. Разве что в более интенсивном общении между «своими». Да и то: «западнику» Янке Брылю и «восточнику» Ивану Шамякину подобное формальное деление совсем не мешало быть очень хорошими соседями и видеться часто. А когда они из белорусских классиков в начале XXI столетия остались одни, то и совсем относились друг к другу исключительно трогательно.

В России все подобные вещи проявлялись более резко, обнаженнее, но и об этом широкая публика абсолютно не знает. Не знают студенты-филологи, да и многие преподаватели. Табу до сих пор — даже тогда, когда разделился единый

Союз писателей, причем и в России, и у нас. То есть налицо свершившийся факт, который хорошо известен, — не стоит ли, наконец, обнажить его *генезис, развитие, приведшее к определенному итогу*?

Но боимся по-прежнему.

Не могу не сказать и о нынешней тенденции поменьше упоминать имя И. Шамякина — наиболее, по мнению журналистов, да и некоторых литературоведов, «просоветского». А между тем на протяжении полувека, если быть честными, именно И. Шамякин пользовался наибольшей любовью читателей. Об этом свидетельствуют очень многие факты. Но что до мнения народа нынешней элите?!. С грустной улыбкой вспоминаю искреннее недоумение наших уважаемых академиков, которые, взявшись в 2010-е г. готовить к изданию 23-томное Собрание сочинений И. Шамякина, поразились *глубине* произведений прозаика. А где же вы раньше были? Конечно, с высоты времени все видится ярче, отчетливее... Что же касается современных бойких журналистов, то их невежество, в том числе в области литературы, не побоюсь этого слова, ошеломляет.

Однако возвращаюсь к хорошему. Групповщиной ни в коем случае нельзя считать *дружбу* между писателями. Действительно, очень хорошая мужская дружба была у «триумвирата» — Петруся Бровки, Петра Глебки, Кондрата Крапивы, у Василя Быкова и Алеся Адамовича, у Андрея Макаенка и Ивана Шамякина.

Так, Бровка, Глебка и Крапива, признанные корифеи, — абсолютно разные по характерам, психотипам, по творчеству, — дружили очень искренне и самоотверженно. Они даже дачи себе построили рядом — несколько в стороне от поселка, где у горсовета выкупили участки Пилип Пестрак, Иван Мележ, Иван Шамякин. Что стало сейчас с нашей дачей, я уже писала. Дети Мележа перестроили свою, доставшуюся от отца, собственными руками; наследники Пестрака свою продали, и там сейчас — шикарный особняк очередного нувориша.

Исключительной сердечностью отличалось отношение старших писателей к младшим. *Забота о смене* — характерная особенность самого духа писательской корпорации. Путевку в литературу Ивану Мележу дал Кузьма Чорный, Ивану Шамякину — Михась Лыньков, Владимиру Короткевичу — Максим Танк, Евгении Янищиц — Нил Гилевич, Алесю Рязанову — Олег Лойко. Собственно, свои кураторы-опекуны были у каждого из начинающих. Старшие писали внутренние рецензии, предисловия к сборникам молодых, редактировали их произведения, включали, часто слишком рано и незаслуженно, в разные комиссии, советы, команды для зарубежных поездок, активно помогали в печатании, в получении премий, квартир и прочих льгот.

Регулярно, не менее двух раз в год, Союз писателей налаживал семинары для молодых литераторов, где старшие проводили мастер-классы, читали лекции, разбирали произведения. Обычно эти семинары проходили в Доме творчества писателей «Королищевичи», что километрах в двадцати от Минска, а затем в Доме творчества «Ислочь» под Раковом. Здесь молодые имели возможность пообщаться не только с маститыми, но и друг с другом, а также отдохнуть, хорошо поесть в течение нескольких дней, насладиться природой.

Быт

В связи с Королищевичами пришла пора сказать и о быте.

Деревянный дом в Королищевичах под Стайками после войны принадлежал председателю Президиума Верховного Совета Наталевичу, но за провинность (его дочери покрестились) он лишился поста и, соответственно, «охотничьего домика». Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, новый руководитель республики, отдал дом Союзу писателей Белоруссии. О Пономаренко Шамякин в своих мемуарах пишет с сарказмом, но большинство писателей, с которыми я разговаривала, послевоенного властителя, любимца Сталина, хвалили.

До строительства литераторами своих дач именно Королищевичи оказались местом работы, отдыха, да и образования. Так, тот же Шамякин писал о ежевечерних кострах М. Лынькова, где собирались слушатели, а классик рассказывал молодым писателям разные истории из литературной жизни. Михась Тихонович ведь вступил в литературу еще в 1920-е г., за его плечами — богатейший жизненный и литературный опыт. Его рассказы — настоящий университет для молодых, которые в подавляющем большинстве не имели высшего филологического образования. Уже за ними, ветеранами войны, придет «университетское поколение».

Помню, младшие упорно допытывались у М. Лынькова, да и у П. Бровки, К. Крапивы, об обстоятельствах смерти Янки Купалы. Все классики излагали примерно одну версию, но при этом у слушателей неизменно оставалось впечатление недоговоренности, неясности, туманности. Когда меня, школьницу, отец возил в Москву, мы неизменно останавливались в гостинице «Москва», и папа показывал мне ту лестницу, с которой упал великий поэт. Оступиться там было невозможно. Другие версии, которые стали плодиться уже в конце 1980-х, тоже не вызывали большого доверия. Но характерно, что старшие писатели, присутствовавшие в тот день в гостинице (именно от них шел Я. Купала в свой номер), как договорились хранить тайну, так и молчали до конца жизни, и никто не смог их растормошить и выбить правду. Но правду они знали…

В Королищевичах любил отдыхать и Якуб Колас. Очень многие, кто не имел дач, также брали путевки в Дом творчества. Так, доценты и профессора с нашей кафедры — все члены СП, быстренько, за пару месяцев, отчитав курсы лекций, уезжали в Дом творчества и вдохновенно писали книги, издавая каждый год не по одной. И ведь действительно славный оказался период для творцов — и в художественном творчестве, и в научном! Взлет литературы, взлет литературоведения. Попробовали бы мы сейчас, тоже люди, худо-бедно пишущие, ежегодно с университетской кафедры удаляться на несколько месяцев для творчества! Тут на пару дней из-под бдительного ока чиновников не ускользнешь. В наше время строгое начальство должно знать, где находится тот или иной профессор, чем он занимается. Не проходит дня, чтобы нам за каким-нибудь делом не позвонили, не вызвали. Кроме того, от нас требуют научную работу, но времени на нее не дают, загружая бесчисленным количеством документов, но уже в электронном варианте. Цифровая экономика! А наши наставники в «тоталитарном СССР», никакими пустыми бумагами не обремененные, жили и творили буквально в райских условиях, всегда пользовались поддержкой деканата и ректората. Нужно, наконец-то, это признать. Все познается в сравнении. Потому о тех, кто не имеет возможности сравнивать в силу возраста, вынуждена сказать: «А судьи кто?..»

В доме в Королищевичах было четырнадцать комнат. По сторонам, с отдельными входами, — комнаты с просторными верандами, куда обычно поселяли литераторов с семьями. На первом этаже основного корпуса — две очень большие комнаты, туалет и кладовая. Несколько маленьких помещений — на втором этаже, и там же холл, на который выходили пролеты широкой лестницы. По сравнению с сегодняшними отелями и домами отдыха, конечно, бытовые условия достаточно убоги. Но после войны люди совсем не притязательны. Наоборот, они считали, что их обеспечили всем необходимым для творчества. И это правда. Даже то, что на трапезы в столовую нужно было ходить метров за 200—500 (сейчас мне сложно определить расстояние), воспринималось как комфорт — моцион. После работы за письменным столом приятно пройтись по живописной дорожке среди густого леса, причем в компании, в приятной беседе. А кормили замечательно. Причем бывало, что зимой оставалось пару писателей, а все равно Дом творчества работал, и несколько десятков человек обслуживали немногочисленных творцов.

Летом отдыхали с детьми. Уже когда я училась в школе, установилась практика на зимние каникулы также отправлять детей в Королищевичи кататься на лыжах. Обычно с ними ехали несколько родителей, которые и присматривали за

остальными. Никаких историй, конфликтов, происшествий не помню. Мы, дети, как и наши родители, очень любили Королищевичи.

Даже когда был построен роскошный Дом творчества «Ислочь» (мой отец курировал его строительство), некоторые старшие писатели отдавали предпочтение патриархальному старому дому.

Правда, недолго. Один из авторов «Сказа про Лысую гору», став первым секретарем СП, продал в разгар перестройки Дом творчества в Королищевичах какому-то предприятию. Уже тогда началась оголтелая, иначе не скажешь, кампания по зарабатыванию денег. А после уничтожения СССР и создания независимой Беларуси последующие руководители Союза писателей развалили, погубили, утратили и Дом творчества в Ислочи, и поликлинику, и много чего другого, чем владели писатели, что построили за собственные деньги (отчисления от гонораров в Литфонд).

Не буду о грустном…

Белорусским литераторам давали путевки и в санатории, а также в Дома творчества союзного подчинения. Самыми шикарными и престижными считались Дома творчества в Коктебеле, в Ялте, в Гаграх (Абхазия) и на Рижском взморье в Дубултах (Юрмала).

В Дубулты всей семьей мы поехали в первый раз, когда я была в классе седьмом. Конечно, для нас — настоящая Европа. Хотя родители приучали детей не завидовать. И все же многое запало в память. Мы ехали на машине, и нас поразил контраст между ветхими хатками, даже полуземлянками, в белорусских селах и комфортабельными двухэтажными коттеджами в прибалтийской сельской местности. Как же хуторянские нации (латыши и эстонцы), никогда не имевшие собственной аристократии, так быстро, так комфортабельно устроились! Еще одно доказательство, как и в случае с нашей профессурой: если создать условия, то все достижимо, и результат поразителен. Известно, что Прибалтийские республики в СССР всегда были дотационные. То, что забиралось от Беларуси и Украины, шло им…

Недаром мой будущий наставник, руководитель дипломной работы и кандидатской диссертации Иван Яковлевич Науменко очень скептически относился ко всему прибалтийскому, даже, на удивление, к красотам природы. Помню, уже во второй наш приезд в Дубулты, когда там отдыхал и Науменко, поехали мы на экскурсию в Сигулду. Изумительная природа, извилистая река Гауя, величественные замки, гроты. Для нас — диво, а Иван Яковлевич на все восторженные рассказы гидов скептически усмехался и неизменно задавал каверзные и даже довольно циничные вопросы. Я, по юношескому недомыслию, удивлялась: что на всегда добродушного Ивана Яковлевича нашло, откуда такое раздражение? Вообще он чуть ли не единственный в Доме творчества действительно работал — писал то ли роман, то ли докторскую диссертацию. Никогда не играл в карты, не травил анекдоты, не лежал часами на пляже, а если там и появлялся, то неизменно — жарким летом! — в теплом джемпере. Стоял на дюне и смотрел вдаль, на море. Нахальные, острые на язык москвичи считали белоруса чудаком. А Науменко, ветеран войны, постоянно сравнивал, и боль за свою разрушенную родину в этой полностью сохранившейся чистенькой, прилизанной, бюргерской Латвии невольно вызывала его неоднозначную реакцию.

Вообще же отличие скромных представителей белорусской элиты, сохранявших лучшие народные черты, от разодетых во все заграничное москвичей-мещан, да и литераторов-«баев» из среднеазиатских республик, всегда на курортах бросалось в глаза.

Из всех домов творчества «Коктебель», пожалуй, самый респектабельный. Мы с мужем бывали там не раз. Любила каждое лето приезжать чета Гилевичей, отдыхал Максим Танк с семьей, Алесь Адамович… Вообще многие. Прекрасная возможность общаться литераторам из разных республик, а также заводить и деловые знакомства.

Удивительная эта местность — Коктебель — восточный берег Крыма. Неприветливая, на первый взгляд, степь, окаймленная горами, как-то быстро

забирала людей в плен, буквально влюбляла в себя. Во многом очаровывались под влиянием искусства — главным образом, поэзии и живописи старожила этих мест Максимилиана Волошина.

М. Волошина как поэта Серебряного века обычно относят к творцам второго ряда. Вряд ли правомерно его принижать. Волошин — и художник крупный, и мыслитель глубокий, и личность исключительно яркая. Настоящий элитарий!

Волошин в полной мере genius loci (дух места), и Коктебель в XX в. невозможно представить без колоритной фигуры поэта и памяти о нем. Его до такой степени отождествляли с Коктебелем, что в одной из скал, окаймляющих Коктебельский залив, современники видели профиль Макса. Как писал он сам: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, // Судьбой и ветрами изваян профиль мой». А на горе с другой стороны залива поэт похоронен, как бы заключая, обрамляя собою, своей романтической душой эту часть Черноморского побережья, воплощаясь в пейзаже и тем самым поэтизируя его.

Именно М. Волошин художественно открывает крымский пейзаж. Это открытие основано и на глубоком чувстве природы, и на хорошем знании истории, археологии, геологии края. Среди поэтов своего поколения М. Волошин отличался удивительными познаниями в географии, ботанике, сельском хозяйстве родного Крыма. Коктебель очень напоминал ему Древнюю Грецию — здесь уникально сочетаются горы, море и степь. Своей эрудицией М. Волошин близок белорусскому классику — Владимиру Короткевичу, который, кстати, не любил отдыхать на курортах, а любил путешествовать.

Уже с 1911 г. в Коктебеле в доме у Волошина начинает собираться литературная молодежь — в недалеком будущем многие приятели поэта станут лучшими писателями Серебряного века, а некоторые — и советской эпохи: Алексей Толстой, Николай Гумилев, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Максим Горький, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Грин. Из художников — Василий Поленов, Александр Бенуа, Константин Богаевский и многие другие. Постепенно в доме М. Волошина и вокруг него складывается особый мир, где привычки богемы, игровой стиль жизни сочетаются с плодотворным творчеством. Этот стиль — сочетание богемности с креативностью — станет традицией для многих представителей российской элиты.

Волошин отличался исключительным гостеприимством, и еще до революции 1917 г. его усадьба стала чем-то вроде Дома отдыха для работников искусства. Он не брал со своих гостей денег, наоборот, сам их кормил и давал приют в своем оригинальном доме. Считалось, что Коктебель — это своеобразная республика со своими нравами, обычаями и даже костюмами, а ее признанным архонтом был, конечно же, сам М. Волошин. В советское время традиция продолжалась, и количество гостей еще и увеличилось.

М. Волошин преобразил ранее заброшенный край. Так, он научил местных крестьян делать маленькие домашние мельницы. У него были богатые не только географические, но и хозяйственные познания. По его рекомендациям велись горные разработки и археологические раскопки.

М. А. Волошин удивительно умел заразить своей любовью к Коктебелю других людей. Благодаря ему все увидели прелесть этого места — голубого залива и полуголой степи у подножия древнего вулкана.

Коктебель очень романтичен, даже в чем-то сказочен. Эту его сказочность М. А. Волошин умел очень искусно показывать в стихах и особенно в своих рисунках.

Деятельность М. Волошина — яркий, очень показательный пример того, что может сделать представитель *настоящей элиты*.

В 1932 г. Максимилиан Александрович Волошин умер. В доме осталась его вдова Мария Степановна. На базе их усадьбы Союз писателей СССР уже официально создал Дом творчества. Я помню, в 1960-е и в начале 1970-х гг. Мария Степановна была уже очень пожилой женщиной, но достаточно подвижной, хотя и ходила с палочкой. Сложная по характеру, она, тем не менее, пользовалась без-

мерным уважением писателей, поскольку все в Доме творчества дышало духом Волошина. Тогда Дом Поэта еще не был музеем, и вдова приглашала осмотреть и даже поработать в кабинете Волошина только избранных — кого сама пожелает. На балконе-крыше дома проходили поэтические вечера — снова-таки исключительно с избранной публикой.

Именно традиции Дома Поэта и сделали советский курорт «Коктебель» таким притягательным.

Вообще советские дома творчества — совершенно уникальное и замечательное явление. Больше нигде в мире такого не было. За небольшую плату в лучших, самых здоровых и красивых местах СССР были созданы все условия не просто для отдыха, а и для плодотворной работы творческих людей. Самый знаменитый Дом творчества писателей СССР как раз в Коктебеле. Его известность росла уже в 1930-е годы. Затем, во время войны, он несколько пострадал. Но в 60—70—80-е годы побил все рекорды популярности. Отдыхать в Доме творчества писателей в Коктебеле модно и престижно. Сюда стремились попасть не только писатели — причем самые известные со всего СССР, но и спортсмены, кинорежиссеры, актеры. Каждое лето вблизи Дома творчества снимались художественные фильмы, например: «Алые паруса», «Анна Каренина», «Плохой хороший человек», «Это сладкое слово — свобода» и многие другие. Сам Дом творчества занимал огромную площадь с большим тенистым парком, где было построено множество отдельных домиков — и деревянных, и каменных. Их не было при М. Волошине, но многие деревья, им посаженные, сохранились. Посмотреть на знаменитое место приезжали тысячи людей со всего Советского Союза, так что в парк и на пляж, принадлежащие Дому творчества, в конце концов, стали пускать строго по пропускам. Однако по-прежнему центром всего курорта являлся Дом Поэта — Дом-музей М. Волошина.

После развала СССР Коктебель, как и весь Крым, оказался во владении независимого государства Украины. Дом творчества, который создавался за средства СССР, и прежде всего России, стал принадлежать только Союзу писателей Украины, и теперь творцы со всей огромной страны не могли сюда приезжать. Дом и парк пришли в упадок, в запустение, все имущество разворовали. И только в последние годы Дом Поэта отремонтирован и снова возродился. Здесь ежегодно проводятся волошинские фестивали и научные конференции. Место уже не так модно, как было в начале XX в. и при советской власти, но все же притягательно: оно все овеяно памятью о присутствии здесь множества знаменитых людей, об их замечательном творчестве. Коктебелю посвящены художественные альбомы, сборники стихов, рассказов, повестей, научные монографии.

Коктебель — тот редкий случай, тот уникальный феномен, когда маленький поселок превратился в духовный центр творческой интеллигенции огромной страны. Заслуга здесь, прежде всего, талантливого человека — М. А. Волошина.

В истории литературы не так много эпизодов, когда присутствие выдающейся личности озаряет собою местность, делает ее знаменитой. В качестве примера можно назвать, скажем, остров Сахалин. Трехмесячное присутствие на нем Антона Павловича Чехова сделало царскую каторгу известным регионом и как бы возвысило, особенно в советское время, его жителей. В Пятигорске все проникнуто памятью о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. В Санкт-Петербурге существует туристический маршрут «По местам Достоевского», а в Москве сами почитатели творчества Михаила Булгакова содействовали созданию ореола вокруг квартиры, якобы описанной в «Мастере и Маргарите».

Насчет квартир. В первом своем эссе я подробно описала «писательский дом» по улице К. Маркса, 36 в центре Минска, где наша семья, как и многие другие писательские семьи, прожили самые счастливые годы. Свои «писательские дома» были, конечно, и в других столицах союзных республик.

В Москве партийную, советскую и военную элиту поселяли в так называемом «Доме на набережной», построенном еще в 1930-е гг. и вошедшем с того

времени в городскую мифологию. Специальные дома именно для писателей стали строить с 1929 г. Первым был дом на улице Фурманова, где, между прочим, получил квартиру и Михаил Булгаков, автор бессмертного высказывания о том, что москвичей «испортил квартирный вопрос». Совершенно справедливо. Но, помучившись в неприглядных комнатушках в Москве в начале 1920-х гг., Михаил Афанасьевич во второй половине того же десятилетия уже снимал трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме. А потом получил и в писательском. Обычно ее называют маленькой, но, судя по разным упоминаниям мемуаристов, в ней было четыре комнаты. Правда, в более престижном писательском доме в Лаврушинском переулке ему квартиру получить так и не удалось.

Конечно, апартаменты Михаила Булгакова действительно нищенские по сравнению с теми условиями, в которых жил, например, Алексей Николаевич Толстой, «советский граф», как его называли. Иван Бунин в своих мемуарных заметках «Третий Толстой» вспоминает о встрече с бывшим другом в Париже в 1936 г., когда Алексей Николаевич уговаривал Ивана Алексеевича вернуться в Россию, приводя такие доводы: «Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету…» Все было правдой. Бунин не стал приводить другие аргументы Толстого, полагая, что эмигрантская публика, для которой он писал, ему бы все равно не поверила — слишком неправдоподобно. А между тем, действительно, Толстой имел две роскошные квартиры — в Москве и в Ленинграде, наполненные персидскими коврами, антиквариатом, картинами-подлинниками известнейших мастеров, которые писатель собирал. Когда он писал роман «Петр I», то окружил себя вещами из эпохи Петра — XVII—XVIII веков. Имел такую возможность.

И ладно бы Алексей Толстой — все же граф, стремление к роскоши у него, можно сказать, в крови. Однако и пролетарские кумиры этим же отличались. Современный писатель и исследователь литературы Андрей Воронцов пишет о Маяковском, что тот, неоднократно выезжая за границу, вовсе не стремился к общению с коммунистами, простыми людьми. Нет, он выступал исключительно за деньги, в основном перед русской эмиграцией и американскими евреями, выходцами из России. «Оно и понятно: на советские рубли автомобиль для Лили за границей не купишь! А ГПУ, агентами которого состояли Осип и Лиля Брик, делало вид, что этого не знает».

В документальной повести «Последние дни М. Горького» Иван Кузьмичев отмечает умонастроение Максима Горького, которое характеризует его отнюдь не только в «последние дни», а с самого начала всероссийской, а затем мировой известности: «Ему уже давно нет нужды думать о хлебе насущном, живет на всем готовом и не чувствует, не понимает тех, кто варит ему пищу, прибирает комнаты, чистит парковые аллеи, беспокоится о том, чтобы ему жилось сытно, тепло и удобно. Освобожден он от заботы о тех, кто о нем печется. Не он их нанимает на работу, не он рассчитывается с ними за их труд и, по правде говоря, он и не знает, кто, как и сколько им платит. Он даже не знает, во сколько обходится государству содержание его самого и его семьи, включая питание, жилище, расходы на транспорт, на топливо, на ремонт. Не знает и, в общем, не стремится узнать, во сколько обходится жизнь средней руки литератора в советской стране, да и его собственная жизнь. Он был бы очень удивлен и не поверил бы, если бы ему сказали, что он обходится государству в 30—40 раз дороже, чем средний литератор с семьей в четыре-пять человек. Притом литератор за все платит сам, а у него все оплачено из государственного кармана».

После переезда М.Горького из Италии в СССР его поселили в Москве в особняке Рябушинского, шедевре архитектуры модерна, подарили имение Горки под Москвой и дачу в Крыму. С одной стороны, все это показывает, что заслуги таких талантов все же ценились, с другой стороны, сами художники очень

быстро *омещанивались* — вопреки тому, что утверждали в творчестве. И дело не в их отношении к имуществу, а в отношении к обслуживающему персоналу, о чем и пишет И. Кузьмичев. Совсем иным было отношение к простым людям белорусских писателей в тех же Королищевичах и в Ислочи.

В 1949 г. творческой интеллигенции, наиболее известным в СССР людям, *бесплатно* предоставили квартиры в самом роскошном тогда доме — одной из «сталинских высоток» на Котельнической набережной. Современный писатель Лев Колодный, автор большого цикла книг «Москва в улицах и лицах», — ярый ненавистник Сталина. Но даже он признает, что самый красивый из жилых домов в Москве — именно этот. В нем 800 квартир. «В вестибюле потолки расписаны в технике гризайль, модной в XVIII веке. Холл украшают барельефы из фарфора цвета слоновой кости на синем фоне. Хрусталь. Бронза. Красота! Есть что посмотреть иностранцам. И все это появилось спустя семь лет после войны. Дом строили, как сейчас говорят, с инфраструктурой. Во дворе есть гараж на 200 машин. Над ним спортивные площадки. Двери первого этажа ведут на почту, в кинотеатр, сберкассу, большой гастроном. В отделке крупного магазина — никакой дешевки. Все натуральное».

Здесь жили в разное время: писатели Александр Твардовский, Константин Паустовский, Михаил Пришвин, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский; знаменитые артисты и режиссеры: Михаил Жаров, Фаина Раневская, Павел Массальский, Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Владимир Огнивцев, Галина Уланова, Клара Лучко, Людмила Зыкина, Роман Кармен, Николай Охлопков, Наталья Сац, композиторы Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Никита Богословский; многие деятели науки.

После разрушения СССР большинство представителей творческой элиты, кто остался жив, в доме на Котельнической набережной, как и в других престижных домах, квартиры или попродавали, или сдавали, переехав на дачи, — чтобы как-то выжить. Разместилась в дорогом жилье совсем другая «элита».

Примеры отличных бытовых условий у советских знаменитостей можно было бы множить. Так, «звездная пара» актеров Алла Ларионова (кинофильмы «Садко», «Анна на шее») и Николай Рыбников («Высота», «Девчата», «Весна на Заречной улице»), необычайно популярные в 1950—1960-х гг., имели пятикомнатную квартиру на восьмом этаже в Марьиной Роще, причем в их квартире даже был камин, в котором Рыбников жарил шашлык. Актриса Наталья Фатеева, ярая антисоветчица во все времена, о чем власти прекрасно знали, получила, тем не менее, квартиру в 113 квадратных метров. Когда ее бывшая подруга Наталья Кустинская «увела» от Фатеевой мужа, космонавта Егорова, то жила с ним в пятикомнатной квартире, где гостиная — в шестьдесят квадратных метров, а четыре комнаты — по двадцать пять, в ванной располагался бассейн. Обе актрисы известны массовому зрителю, главным образом, по кинокомедии «Три плюс два».

О дачах в писательской и актерской среде я также писала в предыдущем очерке. Не буду повторяться. И все же не могу не отметить, что дачи, собственные дома, их архитектура, садовый ландшафт лучше всего проявляют *индивидуальность* владельцев. Однако и некоторые *родовые* черты. С этой точки зрения не могу не отметить появившуюся несколько лет назад заметку в «СБ» нашей известнейшей журналистки Инессы Плескачевской о… заборах. Вопрос, ею поднятый, на самом деле, *принципиальный,* указывающий на архетипы.

Журналистка с благородным пафосом вещает: «Заборы, которые огораживают и скрывают нашу личную жизнь от соседей, — наше все». Правда, то же касается и России — трехметровые заборы огораживают частные дома и дачи. «Откуда в нас эта страсть к “не пущать”?» — задается гневным вопросом Плескачевская, наблюдая неспешную и открытую жизнь обывателей в Чехии, посиживающих в уличных ресторанах за кружечкой пива и демонстрирующих всему миру свои особняки как примету зажиточности. Естественно, ответ, как *всегда и всенепременно*, находится в проклятом советском прошлом: «Может

быть, уставшие от коллективизма на работе и от того, что «большой брат» всегда приглядывал за нами, мы создавали себе иллюзию (ведь на самом деле это всего лишь иллюзия) частного пространства, в котором нет никого, кроме нас и самых близких? Но стремление обособиться и выживать в одиночку так глубоко проникло в наши гены, что новые поколения продолжают строить заборы вокруг своих дач и домов — в надежде найти уединение и умиротворение».

Насчет генов, думаю, справедливо. Все остальное, к сожалению, поверхностно и конъюнктурно. Касательно и русских, и белорусов должно же быть понятно: всегда в ожидании нападений с запада и востока, они, естественно, стремились огородить себя оборонительными сооружениями — рвами, валами, стенами. Все древние поселения на территории нынешних восточных славян, начиная с эпохи Триполья, защищены от врага либо искусственными оградами, тынами, засеками, либо естественными преградами — реками, оврагами. В небольших по территории странах Западной Европы деревенское население в случае опасности бежало под защиту неприступных каменных крепостей, замков. Таких замков, кстати, в той же Чехии — сотни. Однако со временем эта страна, как и некоторые другие, скажем, прибалтийские, стала *лимитрофом*, проще говоря, предпочитала сдаваться врагу, чем сопротивляться. Мы же на своей территории сопротивлялись *всегда* — даже отдельными деревнями, домами. Отсюда — необходимость их обороны. Вообще вся частная жизнь в усадьбах, городских домах — от Китая до Испании — сосредотачивалась во внутренних дворах, где сами стены дома играли роль бастиона: как правило, на улицу даже не выходили окна. Как же объясняют наши выдающиеся журналисты эту особенность жилища народов Евразии?

Да, белорусы в большинстве своем интроверты. В них разумно совмещалась коллективная работа талакой и жажда личной изоляции. А заборы появились задолго до советского времени. Усадьбы наших магнатов и шляхты тоже огораживались, но по-разному. А если нет — значит, парк вокруг усадебного дома натурально переходил в лес, либо же границей владения являлась река. И насчет «большого брата» даже смешно говорить на фоне нынешней *обнаженности* всего и вся, нашей просвеченности для посторонних, видеонаблюдения на каждом шагу, отслеживания присутствия и прочее. Я понимаю вынужденную необходимость этого в нынешних криминальных (рыночных) условиях, когда личность — ничто, но нужно же видеть проблему во времени, нужно же уметь сравнивать.

Кстати, наша семья до начала 1960-х годов каждое лето ездила на родину мамы — в деревню Терюху Гомельской области (о ней я также писала). Там наш двор огораживался обычным штакетником ниже человеческого роста, а с трех его сторон пролегали торные тропинки, по которым за день проходили сотни людей — деревня большая. В такой мини-ограде была заключена некая идея моего отца — открытость миру, доступность писателя для простого человека. В самом деле, к нам «ходоки» из всей округи приходили каждый день. Но я даже в раннем детстве чувствовала неуютность от этой жизни «на сквозняке», под взглядами посторонних людей, которым, конечно же, было интересно происходящее во дворе известного человека. Что, в пять лет я тоже, уставшая от коллективизма (я никогда не ходила в детский сад), страдала от «большого брата»? На самом деле проявлялось естественное, даже не только исторически, а природно заложенное в нас чувство.

Любимый народом писатель Владимир Короткевич объяснял, каков типичный белорусский пейзаж: «поле, а за ним — лес». Иначе говоря: белорус любит охватить глазом достаточно широкое пространство, но оно обязательно, хотя бы с одной стороны, закрыто стеной леса. Вот откуда архетип «родного кута». Ведь «кут» (угол) — это уютность. Кстати, понятие личного пространства характерно не только для людей, но и для животных.

А на Западе такой, казалось бы, «беззаборной» открытостью, демонстрирующей личную свободу, тамошнюю главную ценность, очень умненько маскиру-

ют действительную жесткую зависимость от колоссального количества мифов, социально-психологических паттернов, ментальных стереотипов, твердо усвоенных законов.

Есть, конечно, и у нас достаточное количество дач, коттеджей без заборов или с открывающими внутренние усадьбы оградами. Значит, живут в них экстраверты. Однако и интересы интровертов необходимо уважать. Люди — разные, и их устремления неодинаковы. Наш дачный поселок в этом смысле показателен. Он выстроен первым в послевоенное время, земли на каждом участке — гораздо больше, чем полагалось уже по каким-то более поздним разнарядкам в садовых кооперативах. А земля-то и есть главная ценность. Ныне почти все дачи проданы нуворишам. Конечно, интеллигентские хибары они посносили и настроили трехэтажных дворцов. Но некоторые усадьбы, действительно, огорожены высоченными заборами, как и на Рублевке под Москвой, а у некоторых ограда колышками, и видно, что внутри. Понятно — зачем: чтобы завидовали. Это чувство у обывателей тоже ведь неистребимо: похвастаться богатством. У нас, наших соседей Мележей, художников Счастных, академика Хотылевой — обычная сетка, поставленная еще в советское время, или штакетник. То есть ничего мы не пытались скрыть либо «не пущать», просто создали видимость ограды от бегающих по поселку собак. Другое дело, что растительность уже разрослась, дворы закрывает. Мой отец, скажем, запрещал вырубать деревья, считая это святотатством.

Пожилой русский писатель Владимир Еременко, житель известнейшего дачного поселка Переделкино, где также половину дач захватили нувориши — вовсе не литераторы, но очень богатенькие личности, называет поделенных по имущественному признаку переделкинцев *подзаборниками* и *зазаборниками*. Видимо, публикация Инессы Плескачевской — интуитивный протест против *именно таких* зазаборников.

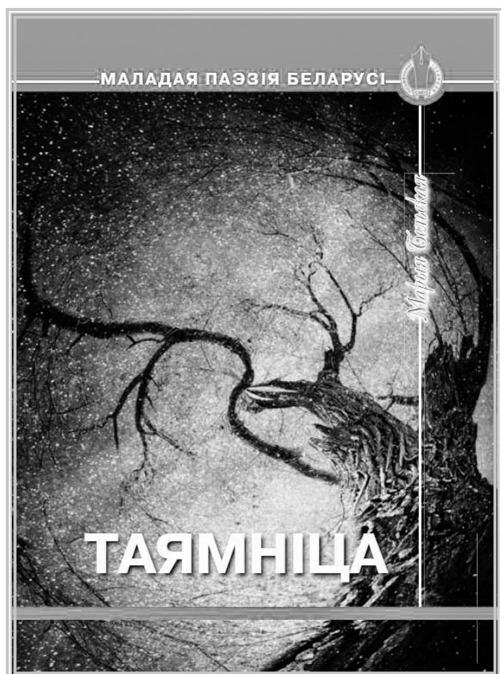
Но все же у наших родственников в селах, именно по деревенской *традиции*, — высокие заборы, ворота с улицы, стороны по бокам усадеб ограничены хлевами или глухими стенами соседей, а вот огороды, поля с четвертой стороны открыты и идут к речке или к лесу. И так все дома в деревнях: и в Терюхе, и в Новой Гуте, где сейчас таможня на границе с Украиной, и в поселке Чехов, где жили родители Шамякина. И все же везде об односельчанах забота оставалась: чтобы шли они по улице, наслаждаясь красотой, поэтому все фасады домов имели перед окнами палисадники с цветами. Это было «лицо» хозяйки, «лицо» дома — палисаднички лелеяли. Правда, я еще помню сохранившиеся довоенные, да, видимо, даже дореволюционные, хаты с призьбами. На них обычно сидели старушки. Однако постепенно и эти дома перестраивались и обзаводились палисадниками. Ясно, что такой тип усадьбы в Гомельской области и некоторых других местах Беларуси сложился исторически, под влиянием различных условий, обстоятельств. Причем я прекрасно знала дома и лесников (ведь внучка лесника), как о том вспоминает Плескачевская: действительно, они никак не огораживались. Все правильно: сам лес являлся защитой и давал ощущение своеобразного уюта.

Многие белорусские писатели — выходцы из деревни — до сих пор, даже в наш механистический век, не могут расстаться со своими деревенскими домами. В них давно никто не живет, родители умерли, а все равно невозможно продать — словно изменить Родине. Писатель Владимир Степан в эссе «Мой деревенский дом» пишет: «Иногда я думаю: зачем он мне, этот большой деревенский дом, требующий постоянного ухода, ремонта, волнений?» Правда, многие писатели, строя дачи, в частности, на Лысой горе, перевезли отчие дома в дачные поселки, и тем продлили строениям жизнь. «Отказаться от деревенского дома я не могу, — утверждает Владимир Степан. — Это как значительную часть личной жизни зачеркнуть, вымарать кусок своей биографии».

Еще и потому кощунственна — я возвращаюсь к началу своих заметок — поэма «Сказ про Лысую гору».

С точки зрения рецензента

«Дзіва яднання душы і прыроды...»



В 2016 году вышла в свет книга стихов Марии Шебанец (Бельской) «Таямніца». Это первая книга молодой поэтессы, хотя новичком в поэзии ее назвать нельзя. Участие и победы в конкурсах, публикации в коллективных сборниках впечатляют, однако сами по себе они мало могут рассказать об авторе. Истинную ценность для любителей поэзии представляют стихи Марии, свидетельствующие о том, что в Беларуси появился необычайно интересный и самобытный поэт.

Как известно, диалог с читателем — одна из важнейших творческих задач, которые ставит перед собой автор. В сборнике «Таямніца» она, безусловно, решена, ибо при чтении стихотворений возникает активный диалог читателя и автора. В чем же причина этого?

В современной белорусской поэзии немало стихотворений, повествующих о красоте природы и честных, трудолюбивых людях. Однако далеко не каждое может сравниться с произведениями Марии Шебанец своей искренностью, проникновенностью. Можно было бы указать, что главной темой ее книги является Родина, ее значение для каждого человека. Но сказать так — не сказать ничего, ибо эта тема для творчества Марии всеобъемлюща. Именно любовь к Родине неожиданно сообщает описаниям, казалось бы, простых деревенских будней и прекрасной белорусской природы монументальность, смысловой размах и особое значение. Многие образы становятся глубоко символичными, многие события — знаковыми. Например, поэма «Цэнтр сусвету» — не только «литературный памятник уходящему миру белорусской деревни», как определяет ее сам автор, не только в некотором смысле памятник истории и этнографии, но и — возможно, неожиданно для Марии — обнажение сути белорусского понимания мира. И это совершенно естественно, ибо творчество Марии Шебанец неотделимо от Родины — Беларуси.

В этом случае, кажется, будет уместна параллель с традиционным искусством. Как известно, свойства материала (дерева, металла, кости и проч.) непосредственно влияют на внешний вид произведений народных мастеров, определяют художественный

стиль того или иного изделия. Применительно к стихам Марии Шебанец лазурь белорусского неба, музыкальный шелест травы, хрустальный блеск озер, изумрудные оттенки лесов — вот что оказало воздействие на ее творчество и в конечном счете определило стиль стихотворений. Пожалуй, во всей современной белорусской поэзии мало найдется произведений, так органично связанных с природой.

Именно здесь истоки музыкальности стихотворений молодой поэтессы. Многие из них в будущем могут стать песней, например, вторая часть поэмы «Цэнтр сусвету» под названием «Дарога» (приведем первое четверостишие: «Ой, дарога, мая ты дарога! // Да грудзей прытулюся тваих. // Не судзі, не судзі мяне строга, // Што так мала слядочкаў маіх!»).

В целом творчеству Марии свойственно разнообразие интонаций: здесь и элегические нотки («Любы камень ты мой прыдарожны, // Я шырока цябе абдыму. // Колькі ўжо сустракаў і праводзіў // Ты мяне, мае слёзы, мой сум!»...), и мотивы народного сказа («Да светлай прасторы, // Да роднага поля, // Да радасці-волі, // Да хлеба і солі // — Імчыце!»...), и плавная повествовательность исторического произведения («Калі завіруха злуе і гудзе, // І час да усходу няблізкі, // Адзін старажытным гасцінцам ідзе // Міхал Клеафас Агінскі»...), и торжественность эпоса («Вось, сярод дыяментаў зялёнага неба, // Крочу я ў захапленні дзівоснай красой»…). В произведениях Марии Шебанец, как яркие жемчужины, рассыпаны интересные наблюдения за людьми. С любовью и легким юмором она повествует о белорусских «чудо-людях» («Ранак... Ну, да родных хатак, // Да дзядуляў хітраватых, // Іх бабуляў зухаватых — // Камандзіраў сцен шурпатых…», «Чародкі бабулечак першых // Праз дзверы так жвава кульгаюць…»).

Вкратце скажем о формальной стороне стихотворений из сборника. Подавляющее большинство написано классическими размерами. В этом смысле Мария проявила склонность к традиции, к ритмике великой поэзии прошлого. Однако при этом ее рифму нельзя назвать точной, иногда она принимает вид приблизительного созвучия («князь — шукаць», «вучэльні — натхненне»), а в некоторых случаях — банальна («неба — глеба», «поле — волі», «Радзіма — адзіны», «у свеце — вецер» и т. д.). Также укажем на обилие глагольных рифм; составные, экзотические и другие виды рифм почти не встречаются. Строфика этого сборника вполне традиционна, за исключением поэмы «Цэнтр сусвету», в которой Мария использует разнообразные виды строф.

Касательно образной составляющей творчества Марии можно отметить, что временами образы ее стихотворений ярки и неожиданны, временами — тривиальны («крыламі ветру», «затрапяталася сэрца, бы птушкай рухавай»). Тем не менее, все это — не недостатки, а особенности стиля поэтессы. Попутно заметим, что образы солнца и птицы относятся к числу наиболее часто встречающихся.

У поэзии Марии Шебанец есть свой секрет, своя «таямніца»: многим ее стихам суждена долгая жизнь в душах читателей.

Глеб ПУДОВ



Литературное содружество

Литературное побратимство[*]
Беларусь—Туркменистан

Встречи, знакомства, открытия

А вот недавно — новая бандероль из Туркменистана. На этот раз — с книгой, посвященной до сих пор незнакомой поэтессе Агульбеке Оразбердыевой… Но обо всем по порядку. История необычайно трогательная, нельзя не остановиться на ней отдельно.

В архиве памяти, каковым является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, есть интересный экспонат: ручной работы туркменский ковер с портретом командующего 1-м Белорусским фронтом Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. В музей ковер передала семья военачальника в 1968 г. Кстати, совсем недавно фотоснимок демонстрировался на белорусской выставке в Музее изобразительного искусства Туркменистана в Ашхабаде.

Какая история таится за ковром, вытканным туркменскими рукодельницами в 1943 г.?.. Начало истории — в Туркменистане. В 1941-м поженились молодые люди — односельчане из аула Саюналы Тахтабазарского этрапа — Агульбеке и Агаберды. Любовь объединила молодых. Агульбеке было двадцать с «хвостиком». Она работала учительницей в ауле Морчак. Заочно отучилась в Марийском педагогическом техникуме. Агаберды и его жена мечтали об учебе в институте. Но началась война. Агаберды пошел на фронт.

Агульбеке Оразбердыева учила детей. После школьных занятий бежала на работу в поле. Часто вела объяснительную работу, рассказывала о событиях на фронте. И писала мужу письма на фронт. А в письмах были стихи, что рождались у нее поздними вечерами. О чем говорила в них молодая туркменская женщина и, судя по всему, талантливая начинающая поэтесса? «Свое ты, враг, получишь!..», «В поисках вас», «Возвращайся!» — вот названия некоторых ее произведений. Писала Агульбеке о том, что фашистские гады скоро будут наказаны за все издевательства и зло, что принесли советским людям, о том, что она и все односельчане живут верой в возвращение домой своих мужей, сыновей, отцов.

Жители Морчака знали, что Агульбеке пишет стихи, часто просили ее прочитать новые произведения, переписывали для себя строки, тронувшие их, и хранили эти странички как самое дорогое, повторяли их, как молитвы-обереги. Вместе с другими женщинами Агульбеке собирала в Фонд защиты средства, ценности. Жители колхоза «Гузыл гошгун» собрали среди прочего 84 кг серебра. Сохранились кадры кинохроники с эпизодом, в котором молодая красивая туркменка в белом платке сдает собственные украшения. Это — Агульбеке. В конце 1943 г. работницы Марийского велоята собрали целый эшелон подарков для фронтовиков. Женщины, среди которых была и Агульбеке, выткали ковер с портретом Маршала Советского Союза К. Рокоссовского. Знали, что их

[*] Окончание. Начало в № 9, 10 за 2018 г.

подарок должен попасть на 1-й Белорусский фронт… Там, кстати, воевал и муж учительницы и поэтессы — Агаберды.

Вместе с другими туркменками поехала на фронт и Агульбеке. Ковер с портретом был вручен лично славному военачальнику. Рассказала туркменка и свою историю… Командующий фронтом дал приказ устроить встречу женщины с мужем. Был известен номер полевой почты. Агульбеке показала маршалу письмо, которое знала наизусть. Но Агаберды был на самом передовом участке фронта. Удалось в этой непростой боевой обстановке организовать только прямую телефонную связь. Муж и жена смогли поговорить на расстоянии. Можно только представить, каким теплом дышали их слова. Они ведь до ухода мужа на фронт прожили вместе только три месяца… С фронта Агульбеке вернулась чрезвычайно воодушевленная, взволнованная. Новые стихи так и сыпались из ее щедрой души и сердца. Как, например, стихотворение «Ищу тебя».

...Все было в новых произведениях: и нежность, и тревога, и боль, и конечно, любовь. Привезла Агульбеке в аул и патефон, который подарил туркменке маршал Рокоссовский. Этот патефон хранится в туркменской деревне и сегодня. А следом за возвращением делегации, которая навещала бойцов и командиров на 1-м Белорусском фронте, через несколько месяцев пришла в аул и печальная весть: погиб муж Агульбеке — Агаберды. Молодой поэтессе казалось, что этого просто не может быть. Для нее, как и прежде, звучал из полевого телефона взволнованный голос любимого человека: «Родная, милая! Что ты делаешь в этом пламени, в этом огне? Тебя может догнать пуля! Быстрей уезжай отсюда! Закончится война, и мы с тобой обязательно встретимся!.. Жди меня!..» Не дождалась. И сердце ее не выдержало. В 1949 г. молодая поэтесса умерла.

Земляки и теперь хранят в памяти образ Агульбеке Оразбердыевой. Известный туркменский поэт Агагельды Аланазаров подготовил и выпустил отдельной книгой ее стихи… Судьба простой туркменки все же состоялась — в любви к молодому человеку, в любви к Родине, в исполненных перед ней и перед любимым обещаниях. Перед родным и любимым Агаберды, которого она так преданно ждала с фронта.

Война связала с Беларусью судьбы многих туркменистанцев. Десятки солдат, офицеров, призванных в Красную Армию из городов и аулов Туркменистана, совершили подвиги, отстаивая свободу, независимость Беларуси, освобождая синеокую страну от немецко-фашистских захватчиков. Яркий пример — судьба Героя Советского Союза Ораза Анаева (1913 — 23 октября 1943), помощника командира сабельного взвода 55-го гвардейского кавалерийского полка 15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта. Родился в ауле Кодж (сейчас Балканский велоят Туркменистана) в крестьянской семье. В 1935—1937 гг. служил в пограничных войсках. Вернувшись домой, работал в Кизил-Орвате (сейчас Гызыл-арбат) в милиции. В 1941 г. был призван в Красную Армию. С 1942 г. — на фронте. Отличился при форсировании Днепра в районе деревни Нивки Гомельской области и удержании плацдарма на правом берегу. 21 сентября 1943 г. первым ворвался в поселок. В рукопашной убил немецкого офицера, расстрелял из автомата десять фашистских солдат. Когда подошли другие бойцы, начал преследование врага. И занял важный опорный пункт противника. 4 октября гвардии старшина Анаев у деревни Колыбань (Брагинский район Гомельской области) связкой гранат подорвал вражескую бронемашину. Были убиты семь гитлеровцев, уничтожено два пулемета. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. Оразу Анаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен герой в поселке Комарин на Гомельщине. Его именем названы улицы в Минске, Светлогорске, а также на родине — в Кизил-Орвате. На

одном из домов в Минске установлена мемориальная доска. Я очень надеюсь, что найдется кто-то среди белорусских писателей и напишет поэму или стихотворение о славном сыне туркменского народа. И знаю, что дорогами Беларуси в годы Великой Отечественной войны прошли и туркменские писатели. Среди них — военный журналист Аннакули Маметкулиев (родился в 1912 г.).

Родился он в селе Ак-Тепе Бахарденского района. После окончания краткосрочных курсов Военно-политического училища в Иваново-Вознесенске в 1942 г. был направлен на фронт. Служил в газете Западного, а позже 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда», которая издавалась и на туркменском языке. Был заместителем командира батальона по политической части, затем агитатором полка. Участвовал в операции «Багратион». Освобождал Минск, форсировал с наступающими частями Неман. Написал и во время Великой Отечественной войны издал отдельной книгой на туркменском языке в Ашхабаде поэму о Константине Заслонове. Еще раз книга увидела свет в 1985 г.

В составе частей 3-го Белорусского фронта принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и народный писатель Туркменистана Чоры Ашиев. Отрывок из его поэмы под названием «Джигиты» опубликован по-белорусски в сборнике «И вспомним былые походы» в переводе лауреата Государственной премии Республики Беларусь Владимира Скоринкина.

Чоры Аширов (1910—2003), который прожил долгую жизнь, наверно, всегда помнил Беларусь военных лет… Начав печататься еще в 1928 г., он оставил большое творческое наследие. Мне довелось несколько раз встречаться с Чоры Ашиевым в середине 1980-х в Ашхабаде. Знал его тогда как автора поэм и романов, посвященных социальным процессам туркменской деревни. И очень жалею, что не успел детально расспросить писателя о его участии в Великой Отечественной войне, о его встрече с Беларусью.

Еще одна писательская судьба славного сына туркменского народа связана с родиной Якуба Коласа и Янки Купалы. Речь — о поэте, прозаике и литературоведе Рухи Алиеве, который родился в 1908 г. в Ашхабаде. Печататься он начал еще в 1927 г., был, как говорится, из первого призыва туркменских советских писателей. До войны закончил педагогический институт в Баку (Азербайджан). Еще в 1936 г. опубликовал поэму «Комсомол». Автор монографии о Каминэ и других литературоведческих и историко-литературных работ. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от гвардии рядового до старшего лейтенанта. Был дважды ранен, контужен. Много писал о Беларуси, с которой связаны его фронтовые дороги.

Знакомство со стихами поэтов-фронтовиков, связанных с Беларусью военных лет, подталкивает к следующей мысли: почему бы не составить антологию поэтических и прозаических произведений на военную тему? Согласитесь, материала для этого предостаточно. Здесь был бы уместен и отрывок из повести Николая Калинковича про воина-туркменистанца Героя Советского Союза Ивана Васильевича Богданова, который получил высокое звание за подвиг на Белорусской земле. А также отрывок из романа Аркадия Мартиновича «Не оставляй следов своих», где описывается Туркменистан во время Великой Отечественной… И конечно же, стоило бы включить в своеобразную художественную антологию дружбы рассказы о совместном подвиге в борьбе с фашизмом писателя-фронтовика Ашира Назарова. Уроженец славной Мургабской долины, он в начале Великой Отечественной войны был рядовым солдатом. А закончил войну в звании майора. Был политруком, замполитом, заместителем командира мотострелкового батальона по политической части, агитатором политотдела дивизии. Участвовал в боях в Украине, под Сталинградом, на Курской дуге, в Беларуси, Прибалтике, Польше, Германии.

Что интересно, командиром 90-й стрелковой дивизии был Николай Григорьевич Лещенко, выпускник Объединенной Среднеазиатской военной школы им. В. И. Ленина. И прежде, и после он служил в Туркменистане. Великую Отечественную войну встретил, имея за плечами боевой опыт в Испании. За участие в интернациональной войне в Испании был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Думаем, офицеру-туркменистанцу Аширу при случае было о чем поговорить с командиром. С 9-й стрелковой дивизией Лещенко прошел до конца войны. А в середине 1960-х был назначен командующим Туркестанского военного округа. Кавалеру 19 боевых орденов (только орденов Красного Знамени имел четыре!), ему только в 1990 г. указом М. С. Горбачева было присвоено звание Героя Советского Союза. Мне в конце 1980-х гг. довелось встречаться с генералом армии М. Лещенко во время его визита в Ашхабад. Может быть, и Ашир Назаров знал о приезде военачальника, своего фронтового комдива в Туркменистан?.. Знаю, что писателя-фронтовика и сегодня помнят в Каракумском крае. Ашир-ага воспитал добрых, честных детей. Дочки Байрамгуль и Майя — преподаватели ашхабадских ВУЗов. Третья дочь Айлар — заслуженный мастер спорта. Сын Каръягды — журналист. В ауле Мульк-Бурказ именем Ашира названы улица и школа. Создан литературный музей имени Ашира Назарова. Будем надеяться, что в его экспозиции найдется со временем место и фронтовой памяти о Беларуси.

Классика — вот что является постоянным светом в развитии наших представлений о разных литературах. Классика — это устойчивое пространство, она выдержала испытания временем, разными драматическими коллизиями. Поэтому, желая понять сущность явления, нельзя забывать о классике. Вот и последние годы в развитии белорусско-туркменских литературных отношений характеризуются вниманием к классике туркменской поэзии.

Махтумкули — светоч туркменской поэзии. Его личность, его бессмертная поэзия издавна привлекают внимание многих поколений туркменов. Махтумкули — яркое имя, яркий творец среди поэтов Востока: Саади, Рудаки, Хафиза, Низами, Бабура, Машраба, Алишера Навои, Билала Назыма, Бердаха, Фурката, Абая, Зебунисы, Дильшод, Анбао-Атын… Он первый среди выдающихся поэтов Туркменистана — Азади, Магрупи, Зелили, Мятаджи… Родился Махтумкули в 1727 или 1733 г. (это уже в зрелом возрасте он взял себе псевдоним Фраги — «Разлученный», подписывал им большинство своих произведений) в районе Кара-Калы. Селение Хаджи-Говшан. В долине реки Атрек с притоками Сумбар и Чандыр. В предгорье Копетдага. В местах, где издавна жили туркмены гёклены. Учился в сельской школе — мектэбе, где преподавал отец — поэт Азади Давлетмамед. В семье имелась богатая по тому времени библиотека. Еще в детстве Махтумкули научился читать по-персидски и по-арабски. В семье юношу приучили к труду: шорничеству, кузнечному, ювелирному делу. В 1753 г. Махтумкули год учился в медресе у гробницы святого Идрис-Баба в Кизил-Аяке на Амударье в Бухарском ханстве. Через год направился в Бухару. Там поступил в знаменитое медресе Какельташ, где тоже проучился только один год. В медресе он подружился с туркменом из Сирии Нури-Казымом ибн Бахаром, высокообразованным человеком, носившем духовный титул мовлана. Вместе со своим новым знакомцем Махтумкули направился путешествовать по территории сегодняшних Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Они пересекли Афганистан, добрались до Северной Индии. В 1757 г. возвратились в Хиву. Тут Махтумкули поступил в медресе, построенное ханом Ширгази еще в 1713 г. И здесь поэт закончил учебу, начатую еще в двух предыдущих медресе. В 1760 г. умер отец, Махтумкули возвратился домой. Девушку по имени Менгли, в которую был влюблен поэт, в это время выдали замуж за другого человека, семья которого смогла

заплатить калым. Любовь к Менгли наполнила всю лирику Махтумкули. Новый удар поэту принесла гибель двух братьев, участвовавших в посольстве к могущественному властителю Ахмед-шаху (они попали в плен). И печаль о братьях, размышления о судьбе своих соплеменников стали основой поэзии классика. Вскоре Махтумкули женился. Очень любил своих сыновей, Сары и Ибрагима, которые умерли двенадцати и семи лет. Еще одно путешествие Махтумкули совершил после 1760 г. — на Мангышлак, в Астрахань, а затем по территории сегодняшнего Азербайджана и странам Ближнего Востока.

Махтумкули в значительной мере изменил туркменский поэтический язык, приблизил его к народному языку. Поэт начал использовать силлабическую систему, отказавшись от традиционной арабо-персидской метрики, свойственной прежде туркменской литературе.

Связь Махтумкули с Беларусью начинается еще с той работы, что когда-то была сделана нашим земляком Александром Ходько и помогла выйти поэзии классика туркменской поэзии в широкий мир Европы. Махтумкули посвящены статьи в белорусских энциклопедиях, в частности, в «Белорусской Энциклопедии» в 18 томах (т. 10, с. 226—227). В этой статье лаконично отмечено: «На белорусский язык произведения Махтумкули перевели Р. Боровикова, Р. Бородулин, А. Вольский, В. Жукович, Ф. Жичка, А. Звонак, В. Короткевич, А. Клышка, В. Ковтун, О. Лойко, П. Макаль, П. Приходько, М. Танк, В. Шаховец». Большинство этих переводов связано с изданием книги избранных стихотворений Махтумкули «Соловей ищет розу» (Минск, 1983), которая увидела свет в издательстве «Мастацкая літаратура» в серии «Поэзия народов СССР».

Известный белорусский поэт, прозаик, переводчик Казимир Камейша в беседе с журналистом газеты «Літаратура і мастацтва» (поводом стал разговор об издании новых переводов Махтумкули на белорусский язык) заметил относительно труда предшественников: «…Я добавил в содержание сборника лучшее, на мой взгляд, из предыдущей книги переводов «Соловей ищет розу». Названием для новой книги я взял строку Махтумкули: «Из кубка вечности мед». И далее: «Конечно, я просмотрел работу предшественников, что издавались в Москве. Но если по правде, мне встречались просто беспомощные переводы, далекие от оригинала, пропускались целые строфы. И я решил не обращать на них внимания, держался только подстрочников и стремился к близости с оригиналом. Учитывал я и то, что Махтумкули — поэт глубоко народный, что произведения его передавались не через печать, а из уст в уста, от сердца к сердцу…» Наилучшими Казимир Викентьевич посчитал переводы, которые осуществили Анатоль Клышка, Артур Вольский, Олег Лойко, Алесь Звонак, Владимир Павлов, Валентина Ковтун, Рыгор Бородулин, Владимир Шаховец, Петро Приходько. 81 стихотворение взято в новый сборник из первой книги. 15 переводов сделал Виктор Шнип, 11 — Микола Метлицкий. И 112 принадлежат Казимиру Камейше. «Сама форма стиха потребовала большого напряжения: четвертая строка первой строфы рифмуется с четвертыми строками следующих строф. Надо иметь большой словарный запас, чтобы, например, на одно и то же слово найти тридцать рифм. Я всегда выходил из этого положения и еще раз убедился, как все-таки богат белорусский язык», — делится своими размышлениями Казимир Камейша.

Книга поэзии классика туркменской литературы «Из кубка вечности мед» (Минск, 2014) увидела свет с предисловием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова: «Великий поэт и мыслитель туркменского народа Махтумкули Фраги своим бессмертным творчеством и самим своим именем вот уже около трехсот лет прославляет туркменов. Непревзойденным остается авторитет поэта, его место в исторической, общественно-политической и культурной жизни нации. Мах-

тумкули остался в душе народа величайшим проповедником вечных духовно-нравственных ценностей, прочно вошел в его сознание как ориентир, который безошибочно определяет, что есть в жизни добро и зло, и остался негасимым светочем для туркменов.

Поэтико-философское наследие Махтумкули навеки вошло в глубину сердца народа как песня о высокой любви к Всевышнему, Родине, человеку, природе и самой жизни. И потому недостаточно изучать и рассматривать творчество Фраги только с точки зрения литературы и художественного слова. Он — поэт-мыслитель, который в своих литературных произведениях развил философскую мысль, поднял художественное сознание, красноречиво описал обычную жизнь не только туркменского народа, но и народов мира. Тонко соединив свойственные человеку взгляды на мир, человечество, Родину и любовь, опираясь на самые совершенные способы мышления, Махтумкули глубоко проник в душу человека и навсегда остался в народной памяти.

Будучи мастером слова мирового масштаба, Махтумкули прежде всего национальный поэт туркменского народа. Ни с чем не сравнима его любовь к родному народу. Но именно беззаветная любовь к Родине и народу, глубокие раздумья, связанные с его судьбой, вывели Махтумкули за национальные рамки, благодаря чему он стал поэтом всего человечества. Потому что человек, любящий свой народ, способен любить и другие народы, человек, который чувствует свое достоинство, способен высоко поднять авторитет другого человека…»

Книгу переводов поэзии Махтумкули «Из кубка вечности мед» можно смело считать событием белорусского художественного перевода, явлением в расширении территории белорусско-туркменских литературных связей. Жаль только, что работа переводчика, да и сам факт издания книги не стали предметом широкого внимания литературных критиков. Как в Беларуси, так и в Туркменистане. Хотя, наверно, не каждая литература народов былого СССР может похвастаться тем, что ее переводчики и издатели дважды обращались к наследию отечественных классиков в формате такого широкого внимания.

А что касается информирования читателей журналистами общественно-политических изданий, то авторам газетных, журнальных публикаций можно только подивиться. Например, московский журнал «Туркменистан» в одном из номеров за 2014 г. пишет: «Свидетельством глубокого интереса к творчеству Махтумкули в Беларуси стала коллективная работа писателей и ученых двух стран по созданию первой (так и пойдет гулять убедительное утверждение: «ПЕРВОЙ». — *А. К.)* книги переводов классика восточной литературы на белорусский язык…» А чтобы назвать составителя книги Казимира Камейшу или инициатора издания Ганада Чарказяна — это уже и вовсе непостижимо для журналистов… Жаль, но такая неосведомленность никак не способствует связям между народами и культурами.

Будем надеяться, что «Из кубка вечности мед» — не последняя белорусская книга Махтумкули.

Том «Из кубка вечности мед» — знаю об этом наверное — нашел свое место в музее Махтумкули Ашхабадского строительного колледжа, куда его передал автор этих строк в декабре 2015 г. О чем свидетельствует и запись в моем журналистском блокноте от 10 декабря 2015 г.: «…Подарил музею колледжа туркменские выпуски «ЛіМа» и «Беларусі». А также том поэзии Махтумкули на белорусском языке. Пообещал, что все, что найду в связи с именем Махтумкули в мире, буду передавать в этот музей…» А передавать есть что даже только из Беларуси. На почетном месте в музее должны быть фотографии белорусских переводчиков. Прежде всего Казимира Камейши, Ганада Чарказяна, благодаря которым и состоялась вторая белорусская книга Великого Фраги; фотоснимки народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина, переводчиков

Артура Вольского, Владимира Павлова, Миколы Метлицкого, Виктора Шнипа, Владимира Шаховца и др.

…Интересным представляется и такой факт, который в какой-то степени объединяет «тему» Махтумкули с Беларусью. Правда, этот факт — из разряда литературно-краеведческих. Родовые корни одного из авторитетных переводчиков Махтумкули на русский язык — поэта Александра Равича связаны с Беларусью. Его прапрадед по отцовской линии Михаэл Иосиф Гузиков, известный как создатель классической модели ксилофона и как выдающийся музыкант-ксилофонист, родился в 1890 г. в Шклове, на Могилевщине. А второй русский переводчик Махтумкули — гениальный Наум Гребнев, накануне Великой Отечественной войны служил на государственной границе непосредственно у Бреста.

Недавно были сделаны переводы стихов Магрупи. Напомним, что Магрупи (Курбанали) — современник и друг Махтумкули, родом из племени эмрели. Он родился около 1740 г. Вероятно, в ауле Дурун, вблизи сегодняшнего Бохардена. Вырос в Ахале, в дальнейшем оставил родину и много путешествовал, участвовал в походах и боях в качестве военачальника. Есть предположение, что умер от раны, полученной в бою.

Магрупи прославился как автор широко известных дастанов: «Сейпельмялек и Медхалджемал», «Юсуп и Ахмед», «Тулум Ходжа», «Алыбек и Балыбек», «Давлетьяр», в которых отражалась идеология военно-феодальных верхов современного ему общества. Стихов, что достоверно принадлежат Магрупи, сравнительно немного, они или посвящены историческим событиям, или развивают нравственную тематику.

Лирические стихи Магрупи на белорусский язык переведены впервые хорошо известным в белорусской литературе поэтом и прозаиком, детским писателем, публицистом, переводчиком Виктором Гордеем.

Стихотворение «Разграбленный караван» вообще воспринимается как гимн определенной эпохе. Читая такие пронзительные строки Магрупи по-белорусски, думаешь о том, как много общего было в судьбах наших народов — туркменов и белорусов…

«Душа — царевна тела. Слово — его волшебное крыло», — сказал великий Махтумкули. Наверно, с таким же осмыслением открывали Магрупи и его современники-туркмены, искавшие свою судьбу.

Может быть, со временем Виктор Гордей или другой переводчик (заметна в белорусском художественном переводе инициативная творческая деятельность молодого литератора Адама Шостка, который интересуется восточными литературами) откроет для белорусского читателя и поэтический дастан Магрупи «Алыбек и Болыбек». Или другую важную работу Магрупи — дастан «Тулум Ходжа», в котором показаны интриги при дворе легендарного хана Тохтамыша (умер в 1406 г.). Или, быть может, переведут белорусы и лучшее произведение Магрупи — героическую повесть «Юсуп и Ахмед»... Будем жить надеждами на то, что именно классика станет дорогой для постижения важных событий в жизни туркменского народа.

А может быть, к переводам классической туркменской поэзии подключатся молодые поэты и переводчики Юлия Алейченко, Яна Явич, Татьяна Сивец, Рогнед Малаховский...

У Туркменистана и Беларуси, что видно, когда знакомишься с работами художников слова и мастеров других видов искусства, много общего. Общность проявляется многими неброскими штрихами. В этом я убедился, когда довелось в декабре 2015 г. познакомиться с творчеством туркменского художника Сапармамеда Мередова.

…Довольно часто случается, что знаешь творчество какого-то художника, не раз вглядывался в его картины или рисунки, но главного не замечал. Почему-то раньше не видел то, что открылось спустя какое-то время, а порой и через годы, даже десятилетия. Что-то подобное случилось со мной в осмыслении творчества талантливого

туркменского художника Сапармамеда Мередова. Его живописные полотна, репродукции его картин были мне знакомы. Неброское соединение красок было мне по душе и раньше. А вот душа и сердце приняли его творчество целиком и полностью совсем недавно.

Для таких метаморфоз, согласитесь, должны быть причины. И кроме внутреннего движения душевных струн (что и объяснить не так просто!) был на то первотолчок. Прежде я не знал Сапармамеда Мередова как графика. А тут вдруг… Поэт Касым Нурбадов, зная, что я собираю каждый факт, каждую мелочь, связанную с жизнью и творчеством светлой памяти народного поэта Туркменистана Керима Курбаннепесова (1929—1988), при нашей встрече в Ашхабаде во время Дней Беларуси в Туркменистане с уважаемым Сапармамедом коротко заметил: «У него же есть и портрет Керима…» Работа недавняя, наверно, поэтому она и запечатлелась в памяти литератора, который, кстати, как искусствовед является еще и членом Союза художников Туркменистана. А может, еще и потому, что очень впечатлила, взволновала его как человека, который не раз, в течение многих лет видел уважаемого Керима Курбаннепесова.

В любом случае у меня перед глазами неожиданно появился графический портрет «Шахир Керим-ага» (2011). И поплыли воспоминания. То рекой, плотным, насыщенным водным потоком, то журчащим ручьем. А в иные минуты стлались туманом. Мне показалось даже, что следом за лаконичными, выразительными линиями, которые генерировало художественное мышление графика (а прежде я знал его, повторюсь, только как живописца), я открыл нового Керима Курбаннепесова. И, похоже, это действительно так. Я познакомился с поэтом поздней осенью 1985 г. Автор «Деда Таймаза» и других бессмертных произведений уже болел. Перенес первый инфаркт. Много печали и тревоги было в его глазах в то время. А художник, по-видимому, познакомился с народным шахиром давно, много раньше открыл для себя и его искреннюю, сердечную поэзию. Вот и в портрете Сапармамеда Керим смотрит на мир широким взглядом. Улыбка у него сдержанная, но если и спрятана в ней некая ирония, она — открытая, и улыбка его — для всех и для самого себя. Мне кажется, его улыбка возвращает меня в те давние годы, когда и у меня было счастье ежедневных встреч с великим поэтом. И еще я вспомнил вот о чем… Во второй половине 1980-х в одной из ашхабадских газет я поместил статью «Глаза поэта». Про Керима Курбаннепесова. После прочтения его книги поэзии «Долг». Иллюстрацией к публикации стал снимок поэта, сделанный известным фотолетописцем туркменской литературы Омаром Сахатклычевым. Глаза… На том снимке (я помню!) были совсем иные глаза, а писал я как раз про эти, которые разглядел на графическом рисунке Сапармамеда Мередова «Шахир Керим-ага». Благодаря художнику, который подарил мне такое открытие, я родился еще раз. Родился с новой верой в жизнь. В ее светлые краски. В искренние и сердечные устремления искусства и литературы.

Образно говоря, глазами Керима Курбаннепесова, глазами его таланта я стал рассматривать и другие открытия художника. Из того же 2011 года — графический портрет Башима Нурали… Известные и неизвестные мне персонажи туркменского искусства, туркменской культуры стали близкими и родными. В штрихах и неброских линиях я почувствовал тепло, увидел свет. Это непонятной силы притяжение тепла и света помогло мне по-новому взглянуть на живопись Сапармамеда Мередова. Благодаря графике художник стал мне во много раз ближе, более открыт и понятен. У нашего белорусского художника Леонида Щемелева есть интересный портрет легенды белорусской литературы, автора произведений на все времена — «Черного замка Ольшанского» и «Дикой охоты короля Стаха» Владимира Короткевича. В мыслях я ставлю этот портрет рядом с портретом Сапармамеда Мередова «Ата Ковшутов». Мне знакомо творчество

туркменского писателя Ата Ковшутова. Скажу даже больше, его проза, как и проза Владимира Короткевича, — мне по душе. И два портрета, два открытия, два прочтения (Щемелевым — Короткевича, Мередовым — Ковшутова) мне тоже очень по душе. Теперь уже живописные, богатые на цветовые решения работы. Но снова самой яркой портретной деталью, сблизившей мое мышление, мое представление с глубинным соединением жизни и искусства, стали глаза. И у белоруса Короткевича, и у туркмена Ковшутова, двух великих художников, произведения притягивают, берут в плен прежде всего глазами. Открытыми, искренними, вдумчивыми глазами писателей-философов.

Эволюция моего освоения творческих поисков Сапармамеда Мередова продолжается. Я восхищенно всматриваюсь в Туркменистан, в его пейзажи благодаря мышлению художника, благодаря его личному осмыслению красоты родного края. И начинается уже новый этап понимания художественных достижений туркменского живописца, графика, и — скульптора. Кстати, о Мередове-скульпторе… Его скульптуры (я видел работы, сделанные художником в 1970-е гг.) удивляют, завораживают своей стилистикой, грациозностью. Вслед за графикой, живописью они говорят о безграничности художественного мышления художника с ярко выраженным мировоззрением, со своими глубокими убеждениями в жизни и искусстве.

Изат Клычев… Да, припоминается и яркая личность легендарного туркменского художника Изата Клычева…

Великая Отечественная война оставила в жизни народного художника Туркменистана Изата Клычева (1923—2006) яркий и судьбоносный след. На фронт он пошел добровольцем в 1942 г. Солдатом отдельной роты связи воевал под Воронежем. Прошел дорогами Беларуси, форсировал Вислу, Одер. День Победы встретил в Берлине. Вот строчки из одного наградного листа на И. Клычева: «Ефрейтор И. Клычев, находясь в должности старшего линейного наблюдателя, не раз показывал примеры мужества и бесстрашия в работе на боевых линиях связи. При обслуживании линии связи в районе Хотча — Дольна — Гнедкув, где были часты разрывы, много раз ему приходилось восстанавливать обрывы под огнем противника в минимальные сроки.

Особенно отличился т. Клычев ночью 22 октября 1944 г. Участок перехода постоянной линии через р. Висла был подвергнут артиллерийскому обстрелу противником. Один провод был перебит осколком снаряда. Тов. Клычев со своим товарищем вышел на повреждение. В холодной до плеч воде, под разрывами снарядов, он смог быстро ликвидировать обрыв вставкой провода, чем содействовал бесперебойной связи…» Награда за подвиг — орден Отечественной войны II степени.

Другие фронтовые награды — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Рождения 1923 года, он был и всю творческую жизнь оставался таким же солдатом, как и белорусские ровесники-художники, прошедшие через войну: Михаил Савицкий (родился в 1922 г.), Леонид Щемелев (родился в 1922 г., форсировал Припять, был тяжело ранен у Мозыря), Виктор Громыко (родился в 1923 г.), Александр Соловьев (родился в 1926 г., воевал в Прибалтике, награжден орденом Красной Звезды...).

Белорусы много и плодотворно работали в военной теме. Конечно, этому способствовали не только участие в войне, личный пережитой опыт, но и общая атмосфера республики, края, где все, буквально все напоминало о войне.

В Туркменистане, в Ашхабаде, мне довелось многие картины, портреты Изата Клычева увидеть своими глазами. Конечно, любимый красный цвет художнику навеяла родная сторонка. Судьба никогда не баловала эту одаренную личность. Немало испытаний пришлось пережить ему с самого раннего детства. Отец Изата Клычева — Аннаклыч — мулла, образованный человек. Еще до революции он, как

учитель, показывал детям действующую модель Солнечной системы с вращением вокруг Земли и Луны. В 1933 г. Аннаклыч был репрессирован и вместе с семьей выслан в холодный северный Казахстан. В лагере на глазах десятилетнего Изата отец и мать умерли. Мальчику помог стать на ноги старший брат Рашид.

В 1938 г. Изат Клычев поступил в школу-интернат при Ашхабадском художественном училище. Первой настоящей учительницей для него стала Юлия Прокофьевна Донешвар, русская художница. После Великой Отечественной войны — учеба в Ленинграде. В мастерской Бориса Владимировича Иогансона создал дипломную работу «В пустыне Каракум». И вот что интересно: чтобы создать ее, Изат пошел работать рядовым рабочим в геодезическую экспедицию по Каракумам. Прокладывая трассу будущего канала, целое лето — на пятидесятиградусной жаре, находил время делать рисунки, наброски, этюды.

«Я являюсь воспитанником русской культуры, получил там образование и в зрелом возрасте дышал духовной атмосферой России. Но люблю Туркестан, люблю свои Каракумы. И первое, и второе для меня неразрывно связано в одно целое», — писал Изат Клычев. Художник, которому Каракумы виделись в красном цвете, вырос в профессионала высокого класса. С 1960-х у него начали учиться земляки-последователи. О его живописи спорили. Некоторые критики искали в его работах опасный по тому времени формализм. Но были и счастливые моменты, поддержка коллег, высокие оценки… В 1964 г. Изат Клычев уже народный художник СССР. В 1967 г. за серию «Моя Туркмения» его удостоили Государственной премии СССР. 15 лет (!) Изат Клычев представлял родную республику в союзном парламенте. В 1983 г. стал Героем Социалистического Труда.

И сегодня, вглядываясь в «Ковровщиц» великого мастера (работа относится к 1975 г.), я думаю о силе цвета, красок, выбранных Изатом Клычевым. Другим Туркменистан я и не представляю. Испытав на себе притяжение этого горячего пустынного края, в котором сердца местных жителей являются оазисами доброты, душевной силы, я всегда с любовью рассматривал оригиналы и репродукции «Девочки с вишнями», «Осенней песни», «Пустыни», «Легенды», «Невестки», «Белуджев», «Вышивальщиц»… Невозможно отвести взгляд, невозможно смотреть его картины торопливо…

Среди портретов Изата Клычева — хорошо знакомые мне писатели Каюм Тангрикулиев и Сейитнияз Атаев. У последнего из них, фронтового разведчика, прошедшего Великую Отечественную войну на самых передовых ее рубежах, я как-то спросил: «В чем тайна притяжения такого великого живописца, как Изат Клычев?» И вот что несколько десятилетий назад, целую вечность от меня сегодняшнего, ответил командир батальона фронтовой разведки Сейитнияз-ага: «А ты знаешь, как пахнет пустыня? Ты видел тюльпаны в предгорье Копетдага? Ты слышал шепот листвы в Фирюзе? А какими красками видится в твоих глазах хлопок?.. В ответах на все эти вопросы кроется тайна притяжения таланта великого Изата Клычева, его художественных открытий, его прочтения Туркменистана и туркменов…» И сегодня, находясь в удивительном пространстве притяжения красок Изата Клычева, продолжаю верить словам, оценкам рзведчика 1-го Белорусского фронта, почетного старейшины народа Туркменистана Сейитнияза Атаева.

Поверьте и вы… Посетите музеи и галереи, откройте страницы альбомов и монографий — и, глядя на работы любимого мной Изата Клычева, вы получите заряд силы и энергии. И тоже полюбите Туркменистан.

Но и в Туркменистане многое делается и делалось на протяжении минувших десятилетий для освоения белорусского художественного слова.

Эта работа — заслуга тех личностей, которые глубоко поняли взаимную связь литератур наших стран, внимательно отнеслись к творчеству братьев по литературному цеху. Один

из таких ярких персонажей на ниве белорусско-туркменского побратимства — народный писатель Туркменистана Каюм Тангрикулиев. Родился в 1930 г. в крестьянской семье. После окончания средней школы поступил на филологический факультет Туркменского государственного университета. Преподавал в разных высших учебных заведениях. Литературную деятельность начал в 1950-е гг. Основал журнал «Корпе» («Малыш»), долгое время издававшийся на двух языках — туркменском и русском. Еще в 1971 г. был отмечен Государственной премией Туркменской ССР имени Махтумкули за книгу «Дутар поет о счастье». Книги туркменского мастера детской литературы издавались в ведущих издательствах Москвы — «Малыш», «Детская литература», «Радуга», «Молодая гвардия» и др. Всего издано около 200 книг К. Тангрикулиева на 45 языках народов мира общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. Писатель является автором учебника по детской литературе, написал шесть монографий, посвященных туркменской детской литературе, более ста статей. Перевел на туркменский язык произведения многих поэтов постсоветского мира.

...В той части моей библиотеки, что посвящена белорусским интернациональным связям, его книги находятся на особой полке. Здесь собраны издания, которые позволяют прикоснуться к двум страницам моей жизни, к судьбам двух народов… И обе страницы дороги мне почти в равной степени — и Беларусь, и Туркменистан... Первая — за подаренную жизнь, за родной язык... Туркменистан же — за гостеприимство, за друзей, которых здесь встретил... Но речь не о том. Есть на этой полочке несколько книг, написанных народным писателем Туркменистана Каюмом Тангрикулиевым. А дружба наша началась… в Беларуси. Собирал в то время материалы о переводах белорусской поэзии на туркменский язык. Посоветовали (а было это в начале 1986 г.) поинтересоваться у Каюма Тангрикулиева.

— Обращайся запросто… Не стесняйся. Молодежь он любит, — посоветовал тогдашний директор издательства «Могариф» Нарклыч Атаев.

И вот я в кабинете главного редактора журнала «Корпе».

— Спрашиваешь, кого печатали из белорусов?.. Ну, безусловно, Василя Витку… Сейчас готовим белорусский номер — будет и Огнецвет в нем, и детская проза Василя Хомченко, да и много чего еще… В «Пионере» видел стихи Миколы Чернявского, рассказы Василя Ткачева… В журнале работает ответственным секретарем Пирнепес Авезлиев — хороший друг Беларуси. Пирнепес и гостил у вас несколько раз, и писал стихи про Беларусь, про синеглазое озеро Нарочь… Говорил, что есть мысль написать отдельную стихотворную книгу про Беларусь.

Во время первой встречи Каюм-ага рассказывал больше о других, чем о себе. Но писателя мне представили его книги, многие литературно-критические статьи о его творчестве, его биография. Каюм Тангрикулиев — лауреат Почетного диплома имени Х. К. Андерсена, лауреат Государственной премии Туркменистана имени Махтумкули, народный писатель Туркменистана… А сколько вышло книг из-под его пера! Сколько переведено на другие языки!..

Публиковались стихи и проза Каюма Тангрикулиева и у нас в Беларуси. Дважды поэтические произведения туркменского шахира выходили в Минске отдельными книгами — «Мой арбуз» и «Песни Каракумов». Произведения Каюма Тангрикулиева публиковались и на страницах журнала «Беларусь». Сподвижники туркменского поэта по дороге к белорусским малышам, переводчики его произведений — Евдокия Лось, Артур Вольский, Микола Чернявский.

Во время наших встреч Каюм-ага не раз высказывал желание побывать в Беларуси.

— Сожалею, что не был в Хатыни, хотя столько слышал о ней. Вот и альбом, буклеты есть у меня. Да разве может это заменить живые впечатления? К тому же в Беларуси у меня много друзей: Василь Витка, Павел

Ковалев, Валентин Лукша, Владимир Липский… Жаль, что уже не придется встретиться с Евдокией Лось. Весть о ее смерти была для меня просто ужасной. С Евдокией Лось мы часто бывали в совместных поездках по республикам, на Неделях детской литературы. Переводил я и ее детские стихи на туркменский язык. У Евдокии учился и редакторской науке. Наш «Корпе» — дитя в сравнении с «Вясёлкай», которую некоторое время редактировала Лось.

Каюм-ага на минуту умолк. Потом вышел из-за письменного стола, достал из шкафа знакомую мне книгу. Да, не ошибся, сборничек Евдокии Лось «Василек на меже». Сборник, вобравший поэзию ее последних лет. Внимание аксакала туркменской литературы к своему творчеству Евдокия Лось почувствовала самое серьезное. Стихи нашей поэтессы публиковались на страницах газеты «Эдебият ве сунгат» в 1972 г. Вместе с произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова. В сборнике «Василек на меже» есть и туркменское стихотворение «На смерть Берды Кербабаева». Написан он в форме письма-обращения к Ата Атаджанову, Товшан Эсеновой, Каюму Тангрикулиеву. Этих народных шахиров южной республики Евдокия Лось хорошо знала, дружила с ними, им и высказала свою печаль.

А книжку «Василек на меже», изданную после смерти поэтессы, Каюму Тангрикулиеву прислала сестра Евдокии — Мария Яковлевна, которая заботливо хранит литературное наследие поэтессы.

Много рассказал во время наших встреч Каюм-ага о Евдокии Лось, о своих впечатлениях от ее поэзии. Возможно, когда-нибудь обо всем этом напишу…

Как-то я припозднился с работы (было это еще в Ашхабаде, теперь, правда, у туркменской столицы новое название — Ашгабат). Жил я тогда на квартире у чутких, внимательных хозяев. Прихожу домой — сообщают, что мне несколько раз звонили по телефону. Спрашиваю, кто. Протягивают листок бумаги с записанным номером. Так, Каюм-ага почему-то беспокоится. Звоню. Трубку снимает сам хозяин:

— Еду в Беларусь, готовь землякам подарки…

Помню, сколько радости было от предстоящей поездки во время подготовки к ней. Каюм Тангрикулиев часами принуждал меня рассказывать все, что только знаю о современной белорусской литературе: ехал он на писательский съезд. А вернувшись, Каюм-ага рассказывал, как хорошо встретили его в Беларуси. Немного посуровев лицом, спрятав веселость, Тангрикулиев рассказал и о поездке в Хатынь. Прочитал по-туркменски стихотворение, которое написал в Минске. Познакомил с содержанием, пересказав стихотворение по-русски. Скоро «хатынское» стихотворение Каюма Тангрикулиева «Самый известный в мире аул» зазвучало и по-белорусски. Перевод осуществил Рыгор Бородулин.

Творчество народного писателя Туркменистана по большей части посвящено детям. Стихи его — солнечные, светлые. Пленяют они юных читателей многих стран. И сама личность Каюма Тангрикулиева — из тех, что объединяют художественные миры разных народов.

Из недавних примеров литературного побратимства — работа сегодняшних туркменских литературно-художественных масс-медиа.

Более пяти лет выходит в Ашхабаде журнал переводной литературы «Дунья эдебияты» («Всемирная литература»). Созданный по Указу Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова журнал призван знакомить сегодняшних читателей с достижениям других литератур на туркменском языке. Листая номера этого издания, тираж которого на сегодняшний день почти 10 тысяч экземпляров, можно встретить тексты произведений таких всемирно известных писателей, как Ричард Бах («Чайка Джонатан Ливингстон» — эту повесть перевел Эзиз Окаев), Мухтар Ауэзов, Карел Чапек, Михаил Зощенко, Вислава Шимборска, Шандор Петефи, Андре Моруа, Расул Гамзатов, Про-

спер Мериме, Чарльз Диккенс, Александр Куприн, Иван Бунин, Валентин Распутин… Что примечательно, среди переводчиков — не только признанные мастера туркменского художественного слова, как Набаткули Реджепов, Атамурад Атабаев, Какабай Курбанмурадов, Ахмет Курбаннепесов, Атаджан Таган, Камек Кулиев (он предложил замечательное прочтение прозы Мухтара Ауэзова), но и многие молодые писатели. Это связано еще и с тем, что редакция старается размещать переводы, сделанные непосредственно с оригинала. Фактически журнал «Дунья эдебияты» становится лидером туркменской переводческой школы. Представлена в журнале и белорусская литература. В четвертом номере за 2012 г. появился рассказ Якуба Коласа «Тэкипбир». Если перевести это слово на русский язык, а потом сделать перевод-кальку на белорусский, это рассказ «Упрямый». Произведения с таким названием у Якуба Коласа мы не знаем. По словам сотрудника редакции Максата Бяшимова, перевод был сделан с русской публикации. Переводчица — Агулгазель Шагулыева, работающая в женском журнале «Зенаб калбы» («Сердце женщины»). Помощь ей в редактировании текста перевода оказывал редактор отдела прозы журнала «Дунья эдебияты» Аннамухамет Киршенов. Иллюстрацией публикации занималась художница Агулданды Черкезова. Осталось выяснить настоящий текст рассказа в белорусской и русской публикациях, чтоб и в дальнейшем не путать исследователей-литературоведов.

Стоит заметить, что в минувшие десятилетия произведения Якуба Коласа не единожды издавались в Туркменистане. В 1941 г. — книга стихов в переводе на туркменский язык Ата Ниязова, в 1981 г. — сборник рассказов в переводе М. Хумедова. Произведения Якуба Коласа публиковались в туркменских газетах и журналах в 1962, 1963, 1972, 1977, 1982 гг. Конечно, к юбилейным датам народного песняра Беларуси или, как в случае с публикацией 1963 г. в журнале «Пионер», — накануне юбилея. Переводчики поэзии и прозы Якуба Коласа на туркменский язык — А. Магтумов, С. Авезбердыев, М. Сеидов, А. Курбаннепесов, Т. Садыков… Кстати, в Туркменистане опубликовано более десяти статей о творчестве Якуба Коласа, о его жизни. Среди авторов известные колосоведы Ч. Мозальков, В. Ивашин, и туркменские писатели, литературоведы Б. Кербабаев, М. Холадов, К. Бердыев, Р. Алиев, С. Мередов. Одна из первых публикаций относится к 1942 г. — 3 ноября в газете «Совет Туркменистаны» («Советский Туркменистан») была опубликована статья «Якуб Колас». Один из ее авторов — народный писатель Туркменистана Берды Кербабаев.

В журнале «Дунья эдебияты» также помещены стихи Максима Танка в переводе на туркменский язык Атамурада Атабаева. Прежде (в 1989 г.) в Ашхабаде был издан сборник стихов Максима Танка на туркменском языке в переводе Сапара Ураева. Переводчиками Максима Танка в разные годы были известные туркменские писатели: Керим Курбаннепесов, Бердыназар Худайназаров, Ахмет Курбаннепесов, Шадурды Чарыкулиев, Алаберды Хаидов, Мамед Сеидов, Байрам Жутдиев и другие мастера слова.

«Дунья эдебияты» опубликовала и стихотворение по-белорусски «Судьба туркмена» славного Махтумкули в переводе Владимира Короткевича.

Такие вот три встречи с белорусской литературой состоялись на страницах авторитетного литературно-художественного журнала Туркменистана.

— Сейчас мы всерьез рассматриваем возможность осуществить специальный выпуск нашего журнала, который представит читателям Туркменистана белорусскую литературу на языке Махтумкули, — говорит Максат Бяшимов. —Думаю, что этому выпуску будет отведено как минимум 60—80 страниц из 224, на которых сейчас выходит каждый номер. Это более четвертой и почти третья часть издания. Вместе с достижениями белорусской литературы мы хотели бы обратить внимание и на классические

произведения. Надеемся, что кто-то из белорусских литературоведов напишет большую вступительную статью о белорусской литературе. А в случае, если мы будем переводить повесть кого-то из современников, то ждем, что сам автор представит собственное творение. Такие у нас соображения относительно будущего белорусского номера в «Дунья эдебияты».

Что ж, будем надеяться, что проект реализуется в нынешнем или следующем году. Все основания для этого есть. Традиции белорусско-туркменских связей, сложившиеся в прежние времена, для этого дела самое лучшее основание.

Белорусско-туркменские литературные отношения пополнились еще и такой важной страницей. В Ашхабаде в журнале «Каракум» (августовский номер за 2015 г.) опубликована подборка произведений писателей Беларуси. Открывается она статьей о переводческой работе Миколы Чернявского и представлении им в Беларуси детской поэзии Туркменистана. Надо заметить, что Микола Чернявский давно и плодотворно пересоздает туркменскую поэзию, адресованную юному читателю, на белорусский язык. В поле зрения белорусского переводчика произведения Азата Рахманова, Пирнеписа Авезлиева, Акджэмал Омаровой и другие.

Ответственный секретарь журнала «Каракум» Бигуль Анабаева перевела рассказ Алеся Бадака «Идеальный читатель». Она же переводчица рассказа «Подарок» Анастасии Кузьмичевой, которая живет и работает в Минске и пишет прозу на русском языке. Между прочим, содержание рассказа «Идеальный читатель» Алеся Бадака самым тесным образом связано с Ашхабадом, Туркменистаном. Сам автор на этот счет высказался в печати: «…Бывает, что рассказы создаются на подсмотренном или подслушанном сюжете, на который потом нанизываются диалоги, мысли, размышления. А бывает наоборот: сюжета еще нет, но есть интересные идеи. Рассказ «Идеальный читатель» относится как раз к последнему случаю. Каждого писателя беспокоит вопрос, кто такой идеальный читатель, зритель, слушатель. И я не знал, как все эти мысли и размышления оформить в стройный сюжет, пока не попал в Ашхабад на международную книжную выставку. Почти целую неделю прожил в лучшей гостинице города, которая и фигурирует в рассказе. Больше всего меня поразила своей необычностью туркменская кухня. И вдруг я понял, чего не хватало, чтобы появился сюжет давно задуманного произведения. Мои мысли вертелись вокруг литературы, искусства, а эта поездка склонила меня немного в иную плоскость. В каждой сфере есть идеальные потребители таланта, если этот талант, безусловно, есть…» И еще: «Трудно сказать, что объединяет белорусов и туркменов. Но у нас каждый год в рамках Дня белорусской письменности проходит международный «круглый стол», на который приглашаются писатели из разных стран мира, многие становятся нашими частыми гостями. Люди порой не знают ни русского, ни белорусского языка. Я тоже не знаю языков, на которых говорят наши гости. Но когда мы порой оказываемся без переводчиков, то очень просто и легко понимаем друг друга. Нас разделяют не только границы стран, разделяют нас границы между сердцами, мы просто не знаем друг друга. И в этом плане роль литературы исключительная, она сближает народы».

Заметим, что журнал «Гарагум», который сегодня выходит в нейтральном Туркменистане, — правопреемник прежнего литературно-художественного издания «Совет эдебияты» («Советская литература»), истоки которого в 1928 г. Среди белорусских авторов журнала, выступавших на его страницах в прежние годы, — Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк, Алесь Адамович, Николай Калинкович, Михась Карпенко и много других.

Взаимопереводы — основа для развития отношений. Первотолчком всегда становится внимание самобытных литераторов к инонациональной литературе. Как, например, внима-

телен был к литературам Северного Кавказа русский переводчик Семен Липкин. Или примером привязанности, служения одной литературе является Валерий Брюсов, собравший фундаментальную книгу «Поэзия Армении с древних времен до наших дней». Не случайно в 1923 г. его отметили званием «Народный поэт Армении». А имя Валерия Брюсова носит Ереванский лингвистический университет. Можно вспомнить и Георгия Шенгели — талантливого переводчика Махтумкули. По переведенной им книге «Избранные стихи» Махтумкули (Москва, 1945) мир знакомился с великим Фраги. И разве только талант Арсения Тарковского смог расширить эти первые широкие представления о Махтумкули новым обращением к гениальной поэзии. Как свидетельство — присуждение Арсению Тарковскому Государственной премии Туркменской ССР за замечательную работу. В белорусской литературе также много примеров самоотверженного служения переводу иных литератур. Вспомним хотя бы Язеэпа Семежона, Василя Сёмуху, Петра Битэля, Владимира Попковича, Якуба Лопатку, Андрея Ходановича, Ивана Чароту… Очень много сделали на переводческой ниве Аркадий Кулешов, Максим Лужанин, Владимир Короткевич, Василь Витка, Микола Чернявский, Василь Жукович, Юрась Свирка, Алесь Рязанов, Эди Огнецвет, Казимир Камейша, Степан Гаврусев. Великим старателем переводческого дела в последние годы выступает Микола Метлицкий.

В 1960 — 1980 гг. и в Туркменистане, и в Беларуси был заложен фундамент для обстоятельного знакомства читателей с литературой братского народа. Способствовали этому самые разные декады, праздники, способствовало внимание к юбилеям классиков. Если заглянуть в наши энциклопедические издания, библиографические справочники, можно найти немало интересных фактов. Вышел на туркменском языке роман Петруся Бровки «Когда сливаются реки». Отдельными изданиями вышли на туркменском языке произведения Василя Быкова, Янки Брыля, Ивана Чигринова, Ивана Шамякина, Валентина Лукши и других белорусских писателей. Статистика говорит, что в 1918—1986 гг. на туркменском языке увидело свет 11 книг белорусских писателей (точнее, тех книг, которые первоначально написаны по-белорусски) общим тиражом 110,5 тыс. экземпляров. Туркменская литература за это время была представлена в Беларуси 13 книгами на белорусском языке общим тиражом 287, 7 тыс. Для сравнения: на белорусском языке за этот период увидело свет 169 книг украинских писателей. А в Украине — 224 книги белорусских поэтов, прозаиков и драматургов. Таджикская литература была представлена 10 книгами, тогда как в Таджикистане вышло 24 книги белорусских авторов. Интересно, что сейчас в Таджикистане заметен явный всплеск интереса к переводам белорусской поэзии и прозы. Вышли два коллективных сборника, которые знакомят с современной белорусской литературой. Изданы отдельные книги Г. Марчука, М. Метлицкого, А. Бадака, Ю. Сапожкова…

…После 1986 г. в Минске увидела свет еще и антология детской туркменской литературы «Цветы Каракумов», коллективная книга туркменской поэзии, где в одном томе представлены К. Курбаннепесов, А. Атаджанов, Б. Худайназаров, А. Хаидов, сборники произведений для детей Н. Байрамова, А. Аланазарова (точнее, две его книги), том новых переводов поэзии Махтумкули. Как видим, статистика (и, возможно, она еще не полна) приближает нас к 20 книгам туркменских авторов по-белорусски. Это показательно. Белорусы интересуются туркменской литературой. И все же, как и у нас, в Беларуси, так и в Туркменистане такая работа, организация взаимопереводов требует системности, целостного представления о национальных литературах, об их развитии на современном этапе. Нужны своеобразные «плацдармы», на которых и лидеры переводческого дела, и рядовые, обыч-

ные исполнители многое могут сделать. Несомненно, исключительной удачей в этом плане является то, что в Туркменистане существует журнал «Дунья эдебияты» («Всемирная литература»). Помочь может и ситуация с образованием в Беларуси и Туркменистане. В Минске, в областных центрах Беларуси, а еще в Барановичах, Пинске, сегодня высшее образование получают около 10 тысяч студентов-туркменистанцев. Конечно, в большинстве они овладевают специальностями, далекими от литературы. И все же традиции воспитания, традиции литературного образования в Туркменистане настолько взаимосвязаны с усвоением национальной литературы, что, видно, если не каждый студент, приехавший из Туркменистана в Минск, то определенно каждый второй знает своих классиков, популярных поэтов и прозаиков. Мне довелось провести эксперимент на протяжении нескольких последних лет. На улице, около общежития Белорусского национального технического университета (как и у медицинских учреждений, куда студенты приходят на практические занятия), я, представившись, заявив, что знаю Ашхабад, Туркменистан, что некоторое время жил там, задавал туркменским юношам и девушкам вопросы такого характера: «Знаете ли вы Махтумкули, Керима Курбаннепесова?» На меня смотрели с удивлением и тут же отвечали: «Как можно не знать?» — и даже читали стихи — и классика Махтумкули, и почти современника Керима Курбаннепесова. Демонстрировали записи на телефоне песен на стихи названных поэтов и просто декламацию их поэтических произведений. Так почему, в таком случае, не презентовать приобретения в области белорусско-туркменских отношений перед студенческой молодежью? Такие проекты, поддержанные Посольством Туркменистана в Республике Беларусь, несомненно, способствовали бы расширению круга интересующихся как белорусской литературой, так и туркменской.

Пришло время и для проведения в Минске «круглого стола» (некоторый запас для подведения итогов уже есть) на тему «Туркменская литература в Беларуси: начало XXI века». Но важно, чтобы участие в нем приняли не только белорусские переводчики, белорусские литературоведы, но и представители туркменской литературы, а может, даже сотрудники журнала «Дунья эдебияты». Да и факт издания огромного тома переводов Махтумкули на белорусском языке (он состоялся благодаря переводческим усилиям Казимира Камейши) требует детального обсуждения, внимательного изучения. Этот труд можно считать уникальным явлением для сегодняшних дней. И разве не главную роль в осмыслении таких явлений, фактов литературного побратимства на современном этапе, как и самой истории литературных связей, должен сыграть Институт литературы Национальной Академии наук Беларуси, Союз писателей Беларуси, редакции литературно-художественных масс-медиа.

Перевод с белорусского
Олега ПУШКИНА.



ГОНЧАРОВ Глеб Владимирович. Родился в 1965 г. в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт и Белорусский институт правоведения. Автор романа в стихах «Каятан Чабор», поэм «Анёл Януш», «Цвет нікацiяны», «Гіпербарэйская легенда», повестей, рассказов и др. Лауреат различных литературных премий. Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Печатался в периодических изданиях Беларуси и России. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

ШАТЫРЁНОК Ирина Сергеевна. Родилась в г. Молодечно. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книг «Нешкольные рассказы», «Старый двор моего детства», «Пестрые повести о любви», «Банные мадонны», «Слово о слове» и др. Лауреат премии конкурса им. А. Дубко Гродненского облисполкома. Живет в Гродно.

АНТАНАС Мария (Попкова Мария Игнатьевна). Родилась в 1948 г. в д. Подкняженье Шкловского района. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Печаталась в периодических изданиях, коллективных сборниках, автор книги поэзии «Нязбытнаю ласкаю».

Победитель республиканского конкурса на лучший очерк. Живет в Минске.

МЕДВЕДЕВА Екатерина Александровна. Родилась в 1980 г. в Бресте. Окончила филологический факультет Брестского государственного университета. Автор книг сказок «Стеклянное, оловянное, деревянное», «Разломашки мастера Люфта», «Ключ от елочного сундука». Победитель международного литературного конкурса «Детский Портал — 2006» (Украина), Республиканского литературного конкурса «Мы рождены для вдохновенья» (Беларусь). Живет в Бресте.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Леонидович. Родился в 1953 г. в Ленинграде. Учился в Белорусском политехническом институте. Печатался в литературной периодике. Живет в Минске.

ЩЕРБАКОВА Елена Евгеньевна. Родилась в 1975 г. в Минске. Окончила Минское медицинское училище № 1. Автор поэтических сборников «Твой позірк», «Мелодыя дажджу», книги сказок для детей «Чароўнае люстэрка». Живет в Минске.

КАРНАУХОВА Ирина Александровна. Родилась в 1958 г. в г. Барановичи Брестской области. Окончила Минское музыкальное училище им. М. Глинки, Минский государственный педагогический институт им. М. Горького. Автор двух десятков поэтических сборников, в том числе для детей.

Лауреат Минской областной премии за сборник «Воскрешайтесь любовью», награждена медалью СПБ «За вялікі ўклад ў літаратуру». Живет в Минске.

ДЮКОВА Нина Михайловна. Родилась в 1947 г. в г. Высокое Брестской области. Окончила лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в г. Высокое Брестской области.

ЭННА Франко (Каннароццо Франческо). Родился в 1921 г. в г. Кастроджованни (сейчас Энна) на Сицилии (Италия). Поэт, драматург, сценарист, журналист. Автор множества романов, пяти сборников поэзии и др. Обладатель премии «Euno» от «Kiwanis Club» в Энне. Умер в 1990 г. в г. Лугано (Швейцария).